

Алиса Ханцис

А любви не меняли

Часть 1. Арахнофил

1

Я познакомился с ней в парке. Мы немного поболтали, а потом я вдруг увидел ее руку – ту самую руку девчонки-подростка из моего прошлого. В тот миг я забыл обо всем на свете и стал думать, как заполучить эту руку. Через пару недель я держал ее в своей, а еще чуть позднее мы вместе переступили порог моего дома.

Его я встретил полгода спустя и на полсотни метров южнее. В темноте было трудно угадать его возраст: ему могло быть и четырнадцать, и двадцать. Я отвел его к себе домой, придерживая за плечи.

Я вспоминаю об этом, стоя на балконе моей спальни. Балкон выходит в тот самый парк, и если я курю перед сном – а я делаю это нечасто – то всякий раз думаю, как же мне повезло.

Затушив сигарету, я возвращаюсь в комнату. Они лежат в постели и ждут меня. Я откидываю одеяло, забираюсь внутрь и касаюсь пальцами теплого гладкого тела.

Я догадываюсь, о чем вы сейчас подумали. Значительная часть того, что вы могли себе вообразить, опираясь на эти полторы сотни слов, организованных в четыре абзаца, не соответствует действительности. Но знаете, что самое удивительное? В каждом из этих предложений содержится правда, и ничего кроме правды. Иллюзию создают умолчания. Художники меня поймут: ведь лепить объем предмета на рисунке можно одними только тенями и пустотами. Я сам не художник, предел моих возможностей – «палка, палка, огуречик». Но мне не нужно им быть, как не нужно быть писателем, чтобы рассуждать о читательском восприятии. Достаточно обычной любознательности.

Тем не менее, я не собираюсь пускаться тут во все тяжкие и нагонять многозначительного туману: я, признаться, и сам не люблю, когда автор книги морочит мне голову, а в конце торжествующе восклицает, что это был только сон. Я расскажу вам свою историю так, будто вы сидите напротив меня с чашкой чая или с бокалом в руках. Обещаю ничего не привирать, а вот перескакивать с пятого на десятое буду непременно – такой уж меня характер.

Итак, я познакомился с ней в парке. Был январь – разгар лета здесь в Австралии – и крутые пригорки по другую сторону ручья стояли сухие и бледные. Тот, западный склон был почти незастроенным. Лишь в самом верху лепились друг к другу новенькие таунхаузы с видом на небоскребы Сити, а за ними угадывались высоковольтные провода между башнями

ЛЭП. С нашей, восточной стороны ручья пустой земли уже не оставалось: пологий холм был весь поделен на клетки деревянными перегородками, как свинарник. Посередине каждой клетки торчал типовой дом семидесятих годов, с кирпичным гаражом, тремя-четырьмя спальнями и газовым камином, облицованным декоративной плиткой. Мой дом был поновее и, в отличие от соседей, щеголял двумя этажами. Метрах в ста от него мы и встретились тихим вечером, незадолго до заката. Долина уже вся лежала в тени, но от нагретой за день земли тянуло жаром, и всех, кто вышел в этот час погулять, ждало разочарование. Народу было много: по асфальтовой дорожке вдоль ручья катили велосипедисты, объезжая семьи с колясками и подростков на скейтах. На свободном пятачке между дорожкой и глухими заборами частных владений резвились собаки: ловили мячики, упоенно нарезали круги по лужайке и, быстро утомившись, валились друг подле друга в колючую выжженную траву. Этим собак я знал наперечет, как и их хозяев, и поэтому сразу обратил внимание на незнакомую пару. Поджарый статный пес волчьей масти бежал рядом с маленькой девушкой, задрав морду и не сводя с нее взгляда. Узкая остроухая голова словно приклеилась к ее бедру; язык свисал набок из пасти, и я готов был поклясться, что вижу, как слюна капает ему на воротник. Меня привычно передернуло, но, если не брать во внимание эту последнюю деталь, зрелище было красивое. Девушка перешла на шаг; пёс сделал то же самое и сменил теперь рядом всё с той же экзальтированной преданностью. «Гуляй!» – сказала она и хлопнула в ладоши. Друг человека, будто с цепи сорвавшись, тут же улетел вперед вдоль ручья.

– Здорово вы это делаете! – громко сказал я.

– О, спасибо!

Она все еще немного задыхалась от бега – наверное, поэтому бодрый тон этой фразы прозвучал заученным, будто ей сто раз приходилось отвечать на такие комплименты, и это ее задолбало. Акцент у нее был очень сильным, но угадать его по одному слову не смог бы даже я. Лицо было скуластым и плоским, как блюдце, с очень тонкими чертами, так что казалось, будто между ними остается слишком много свободного места. Маленький рот, длинные щелки глаз. Короткая стрижка делала непропорционально большим высокий загорелый лоб с нарисованными ниточками бровей. Лет ей могло быть сколько угодно в диапазоне от двадцати до сорока.

– Что это за порода?

– Помесь овчарки и хаски.

– Должно быть, серьезная собака. Много с ней хлопот?

– Нет, он совсем даже легкий собака. Легкий в работе. Быстро обучается и любит быть занят.

Несмотря на обилие ошибок в грамматике и произношении, говорила она бегло. Акцент я всё никак не мог опознать. Азиатские страны я сразу отметл: родной язык ее был явно европейским. Разговаривая со мной,

девушка то и дело бросала быстрые взгляды на собаку. Потом сказала: «Простите», – и посвистела, смешно вытянув губы.

– Он очень любопытный, хочет со всеми дружить. А люди пугаются.

Пес подбежал и послушно уселся рядом с хозяйкой. Та воскликнула: «Молодец!» – и крепко потрепала его по холке.

Тут-то я и увидел ее руку.

Наша память любит пошутить: подсовывает сны вместо реальности, до неузнаваемости искажает детали; и всё-таки я помнил эту маленькую кисть, с тонким запястьем и ямочкой на нем – там, где сходятся пястные кости. Она становилась видна, если пальцы двигались или сжимались в кулак. Я помнил даже форму ногтей, прямоугольных и чуть выпуклых. И подстрижены они были так же коротко.

Но ведь такого не бывает. Это совсем другой человек.

– Я в этом парке всех знаю, а вас никогда не видел. Вы недавно переехали?

Она объяснила, что живет в соседнем районе, чуть дальше вниз по течению ручья. Этих последних слов про ручей она, разумеется, не произносила, но если бы я сам описывал направление, я бы сказал именно так. Вам придется привыкнуть к моей манере повествования – или к манерам, если мне так захочется, потому что за пределами точной цитаты персонаж любого текста – даже газетной статьи – подчиняется воле автора. Я могу написать, к примеру, «он сел в машину», а могу ведь и по-другому: «он запрыгнул в свою издавшую виды Тойоту», или «залез в тачку», или «нырнул в темное, пахнущее кожей нутро». Такая власть – как, впрочем, и любая – таит в себе соблазн ею злоупотребить, но я этого делать не собираюсь. Да, так вот: там, ниже по течению, тоже был парк, и в нем моя новая знакомая выгуливала своих подопечных прежде. Но этот кобель был особенным, вот и приходилось забираться всё дальше и дальше от дома, нагружать его долгими прогулками и изнуряющей дрессировкой. Такая уж работа у собачьего инструктора.

– У вас замечательная работа, – сказал я серьезно. – Наверное, очень благодарная.

Много позже, в одном из наших разговоров, она заметила, что по-русски выражение «благодарная работа» звучит кривовато и употребляют его редко. А вот «неблагодарная работа» – сплошь и рядом. Почему в английском чаще используют вариант с позитивным значением, а в русском – с негативным? Наверное, потому что мы скорее пессимисты, предположила она. Меня тогда улыбнуло это «мы»: русской крови в ней не было ни капли.

– Ну, я вас отпущу, вам далеко идти обратно. А я живу тут буквально за углом. Может, как-нибудь еще встретимся. Кстати, я Морис. Американцы любят произносить на французский манер – Мори́с.

– Как Равель? – спросила она и, спохватившись, прижала руку к груди: – Я Дара.

– Вы знакомы с Равелем, Дара?

– Немножко.

Я сказал, что играю на виолончели и что иногда мы устраиваем камерные концерты на моей веранде. Её интерес показался мне искренним, и я подумал грешным делом, что мы и правда сможем увидеться еще. Интрига так себе, верно? Вы ведь уже знаете, что мы встретились. Но мне важно описать то, что я тогда чувствовал – без этого картина будет неполной.

А чувствовал я себя полным дураком.

2

Дом мы с Соней купили три года назад. Ей было двадцать семь, по съемным комнатам она мыкалась с самого окончания школы, и родители периодически начинали проедать ей плешь, искренне не понимая, как такая красивая девушка может жить одна и не думать о будущем. Родителей Соня любила – точнее сказать, находилась в сложной и мучительной эмоциональной зависимости от них. Я подвернулся очень удачно, поскольку мне тоже надоело переезжать и каждый раз замазывать за собой дырки в стенах: не то чтобы я какой-то особенный дятел, просто я люблю уют и ненавижу плохую звукоизоляцию. Ну и, конечно, вкладывать деньги в свое собственное душло гораздо приятней, чем платить дяде. Мы начали искать дом, который устроил бы нас обоих. Я уже тогда был фрилансером, и мне было все равно, где поселиться, лишь бы было тихо и зелено, с какой-нибудь речушкой или парком поблизости. У Сони требований было больше, и я предоставил ей выбор района. Нам хотелось именно дом, а не квартиру, чтобы раз и навсегда забыть этот унижительный тетрис, в котором выигрывает тот, кто сумеет напихать как можно больше икеевских трансформеров на квадратный сантиметр жилья. Однако найти дом по доступной цене оказалось непросто – ну и Соня, конечно, привередничала чисто по-женски. Любовь всей ее жизни – гнедой мерин весом в полтонны – нуждался в качественном жилище не меньше нас, а хороший постой для лошади можно найти только за городом. Тратить на дорогу к любимцу больше часа Соня не хотела. Так мы оказались в этом районе, рассеченном пополам автострадой. Своей западной границей он упирался в заболоченный ручей, где квакали лягушки, и это мне сразу понравилось. Мы прочесали все риэлтерские агентства в округе, потолкались по аукционам, подбили наш общий баланс и прослезились: идиллическая жизнь под аккомпанемент лягушачьего хора привлекала не нас одних. Новые дома, стерильные и безобразные, стояли как самолет; всё остальное было, как правило, раздолбанным и стоило лишь немногим дешевле. Мы махнули рукой, хотя продолжали отслеживать рынок чисто по привычке – просто листали за утренним кофе сайты с недвижимостью. «Смотри-ка», – Соня послала мне ссылку в мессенджер. Ну и нафига нам четыре спальни? – поинтересовался я, пробежав глазами описание. «Тебе не угодить: то мала, то велика», – иногда она выражалась в точности как ворчунья-жена, хотя не была ни тем, ни другим. Ладно, написал я, давай съездим.

Дом стоял в самом конце полукруглого аппендикса, который круто спускался от основной улицы в долину ручья. Из-за склона дом получался двухэтажным, хотя на улицу глядел только один этаж, а всё остальное лежало уровнем ниже. Впоследствии я не раз думал, что его планировка оказалась символичной в контексте тех событий, которые начали происходить тремя годами позже. Но об этом я расскажу в свой срок. Как и вся местная застройка, дом был каркасным курятником в один кирпич, но, в отличие от соседей, хотя бы оштукатуренным. У него была здоровенная веранда и балкон, с которых открывался вид в парк; был приличных размеров задний двор, скрипучие полы из благородного дерева, резная балюстрада лестницы и тому подобные ништяки. Мы с Соней бродили по этим гулким пустым хоромам и пытались натянуть сову на глобус, а конкретно убедить себя, что мы действительно хотим здесь жить: цена была на удивление вменяемая для четырех спален, хотя и на пределе наших возможностей. При этом ни детей, ни даже собак у нас не было даже в заводе, а Сонину лошадь мы не смогли бы сюда перевезти по чисто бюрократическим причинам.

– Рынок сейчас на подъеме, – сказала Соня задумчиво. – Знаешь, сколько такой дом будет стоит лет через пять? – Она помолчала и добавила: – Слушай, а ты можешь попробовать цену сбить?

Она сказала это так, будто я был суперменом. В ответ я сделал вид, что для меня это обычное дело – пойти и спасти мир в перерыве между обедом и ужином. На наше счастье, агент нам достался совсем желторотый, и я отправился его убалтывать, призвав в сообщники линию электропередач, висевшую прямо над домом. Третьяк языком – это лучшее, что я умею, и схватка закончилась, не успев начаться. Через два дня мы подписали контракт, а еще через два месяца вышли из офиса риэлторов, как из загса – с обморочным счастьем на лицах и заветной коробкой, где позвякивала связка ключей. Мы купили по дороге бутылку шампанского и, выстрелив пробкой в сторону заката, выпили ее до дна, стоя на веранде, потому что сидеть там было еще не на чем. Сонины волосы, рыжие, как это солнце над холмами, растрепались от ветра, и я живо увидел, как она – полусонная, в пижаме – выходит утром из своей спальни с окнами на восток. Спальни мы уже поделили, и самую большую она уступила мне.

С этой самой веранды я однажды увидел Дару. После нашей первой встречи я часто думал о ней и крутил головой во все стороны, когда отправлялся лазить по холмам: вдруг наши пути снова пересекутся? Как я потом узнал, она тоже вспоминала меня, выгуливая своих собачек – больших и маленьких, черных и пегих, и всякий раз огорчалась при мысли, что я могу ее не приметить, потому что буду искать Локи – серого кобеля с голубыми глазами.

– А почему ты хотела меня увидеть? – спросил я как-то раз. – Чем я тебя зацепил?

Она сказала: «Ты был...» – и полезла в телефон за словарем. Английское прилагательное, которое она искала, в обратном переводе на рус-

ский означало «очаровательный», но Дара имела в виду его синоним. Очень похожие смыслы, пыталась она мне объяснить, но вот если сказать о мужчине «очаровательный» – выйдет какой-то педик, а ты был обаятельный. Я ничего не имею против педиков, но обаятельным быть, наверное, прикольной. А все-таки – что именно? Мне понравилось, как ты на меня смотрел, начала она, подумав. Внимательно и при этом дружелюбно. И ты высокого роста. Дара, ты смеешься? Метр семьдесят шесть! А еще, сказала она, проигнорировав мое возмущение, ты похож на первых британских колонистов. Я видела на портретах – такие лица сейчас редко встречаются: они все сплошь бородатые, и при этом молодые и красивые. Им очень идут эти густые темные бороды и горящие глаза. Ты той же породы. Я не могу быть той же породы, возразил я. У меня мама итальянка, и зовут меня Маурицио, но в Австралии даже китайцы называют себя Сарами и Джонами. Я был высокого роста в школе и сутулился от смущения, и до сих пор так делаю, хотя мне уже тридцать семь. Всё, что ты во мне видишь – не более чем морок. Ты просто влюбилась в мой голос – с первой же секунды, когда я с тобой заговорил.

Я помахал ей с веранды, и она помахала в ответ, держа в другой руке поводок с вихлявшейся на конце белой собачонкой. Немного помедлив, чтобы не производить впечатление чрезмерной заинтересованности, я спустился и открыл калитку, которая вела с заднего двора прямо в парк. Собачонка рвалась с поводка, подтягивая от нетерпения. Была она лохматая до такой степени, что не было видно глаз, один нос торчал.

– А где же ваш серый волк?

Дара объяснила, что работает с Локи только два раза в неделю. Очень мало, добавила она с сожалением, но хозяева считают, что и этого хватит, ведь сами они так любят свою собаку и так балуют ее. Локи питался кормами марки премиум и целыми днями грыз самые лучшие косточки, сидя на заднем дворе хозяйского дома. Оставлять его внутри было невозможно: за восемь рабочих часов он разносил всю обстановку в хлам, после чего принимался за стены. Любящие владельцы не подозревали, что в родословную щенка, купленного на сайте с объявлениями, где продается всё от грузовиков до чайных ложек, с большой вероятностью затесалась бельгийская овчарка – чокнутый профессор собачьего мира, способный как ошастливить человечество, так и уничтожить его в один присест.

– У них бешеный интеллект и бешеная энергия, – рассказывала Дара, пока мы шли втроем по дорожке. – Они вроде акул: если останутся, сразу гибнут.

У Локи на фоне безделья развился невроз: он начал истерически лаять, а как-то раз показал зубы прохожему. На его удачу, именно в это время Дара искала подработку и колесила по улицам на велосипеде, бросая в почтовые ящики свои рекламные листовки. Ей позвонили, и в тот же вечер она взяла пса на поруки. Он был счастлив: впервые в жизни у него появилась работа. Теперь дважды в неделю он был служебной собакой, которая по движению брови инструктора падает наземь, делает сто отжиманий

и бежит трусцой пять километров так небрежно, будто вместо сердца у неё пламенный мотор.

Думаю, излишне пояснять, что всех этих слов Дара не произносила, но суть я постарался отразить с предельной точностью.

За время нашей беседы собачонка успокоилась. Я заметил, что как только она начинала тянуть поводок, Дара останавливалась и терпеливо ждала, пока он ослабнет, после чего двигалась дальше. Я похвалил успехи ее нового питомца, но Дара ответила со вздохом, что его хорошие манеры никому не нужны, хозяева платят только за передержку и выгул, когда уезжают. Просто у нее профдеформация, как у училки, чья рука тянется к автомату при слове «звонит». Видеть не могу, когда с собакой не занимаюсь, добавила она и погрузилась.

– Так значит, вы не только инструктор? – спросил я, чтобы не молчать.

– Да, я гуляю, присматриваю, дрессирую, консультирую. Всё делаю.

– А своей собаки у вас нет?

– У меня был ризеншнауцер, но он умер.

Я сказал «Мне очень жаль» – так искренне, как только мог, но она уже погасла и закрылась. Я решил хорошенько запомнить слово «ризеншнауцер» и никогда не употреблять его в присутствии Дары. Потом я из любопытства погуглил – здоровенная такая зверюга, черная, бородатая и с длинными ногами, прямо как я.

– Ну, мы пойдем дальше, – сказала Дара. – Приятно было с вами поболтать.

Иногда у нее полностью исчезали ошибки: так бывает, когда пользуешься готовыми конструкциями. Можно многое узнать о человеке по его речи – в особенности если твой язык ему не родной. О собаках Дара говорила без усилий, пусть и не совсем грамотно. С ней можно было обсудить музыку, книги, путешествия – ей хватало словарного запаса. А если она начинала поминутно лезть в телефон – это значило, что она пытается рассказать о себе самой. Даже обо мне ей было легче говорить.

3

Соню я нашел в интернете. Она уже довольно давно сидела в одном паблике, где тусовались те, кого прятал от непонимания общества новый зонтичный бренд под названием «асексуалы». Я забрел туда на очередной волне саморефлексии. Волны такого рода накатывали довольно редко, но всегда утаскивали меня в марианские впадины разной степени маргинальности. Обычно я выбирался из них без потерь и приобретений, а в этот раз выловил Соню. Асексуалы оказались очень милыми: все, с кем я развиртуализировался, были общительными и вообще адекватными, с какой стороны ни посмотри. Соня была из тех, кто в принципе может вступать в половые связи, но ровно ничего от них не получает, кроме чувства удовлетворения партнера. Потребности в романтических переживаниях она тоже не испытывала, из-за чего долго парилась: ведь принято считать, что все де-

вочки только и мечтают о любви. Когда я спросил, какими тремя словами она может себя охарактеризовать, она сказала «странная», после чего надолго зависла. По натуре она была не склонна к самокопаниям, и ей нечасто попадались собеседники, в одинаковой степени любящие говорить и слушать. Мы поболтали с ней часа три, сидя в кафе, и к исходу этого разговора я знал о ней больше, чем иной муж знает о жене после трех лет супружества. Я напросился к ней на конюшню, поскольку у меня никогда не было знакомых с настоящей лошадейю – и уж тем более я не мог предположить, что иметь лошадь настолько захватывающе.

Еще через неделю Соня сказала:

– Слушай, а можно, я буду говорить, что ты мой бойфренд?

– Фигня вопрос. Кстати, если вдруг захочешь съехаться с кем-нибудь, обращайся. Я сосед тихий и посуду за собой всегда мою.

Так мы и оказались вместе под крышей нашего спичечного дворца с четырьмя спальнями. Мы обнаружили, что оба любим винтажную мебель, и в Сонины выходные стали ездить по комиссионкам в поисках всякой милой рухляди. Планировка дома была такова, что получалось две гостиные: сверху и снизу. Для верхней мы купили бамбуковые кресла, невесомые и состоящие из одних завитушек, как орнаменты в стиле модерн. В нижней гостиной мы устроили лежбище котиков, составив вместе два дивана и повесив напротив них телевизор. Раздвижные стеклянные двери вели на веранду с дощатым полом. Соня накупила растений в горшках, и они послушно цвели и благоухали, расползаясь вверх и вширь, так что всякий, попадая к нам, чувствовал себя как в райском саду. Здесь мы любили завтракать и пить кофе в хорошую погоду, приветственно кивая знакомым – бегунам, собачникам и всем, кто проходил мимо нашего дома, торчащего над вереницей разномастных заборов подобно крепости, открытой для всех.

Агенты по продаже недвижимости любят словечко «перетекает» – они вставляют его к месту и не к месту, когда хотят придать своему тексту связность: «залитая естественным светом гостиная перетекает в столовую, совмещенную с кухней, в которой вы найдете» – ну и так далее. В нашем доме я впервые ощутил перетекание личного пространства в общественное. Такого не бывает, когда живешь в обычном квартале, зажатый между улицей и соседями. Случайные гости не заходят к нам с парадного фасада: он для почтальонов, родственников и назойливых приставал, которые пытаются или что-нибудь всучить тебе, или выцыганить – интернет-провайдера, вечное спасение или тупо денег. А из парка в наш двор залетали мячики, дети, которые эти мячики искали, а иногда собаки и их хозяева. Самая драматическая история произошла вскоре после того, как мы вселились. Я стриг газон на заднем дворе и так разошелся, что решил подровнять еще и кусок лужайки снаружи. Муниципальные службы работали спустя рукава, и не нам одним доводилось наступать в собачью кучку, невидимую в высокой траве. И вот я елозил газонокосилкой, напялив наушники от шума, и тут мимо меня в открытую калитку что-то влетело, а затем

туда же метнулась незнакомая мне женщина с перекошенным от ужаса лицом. В наступившей через пару секунд тишине я услышал грохот на веранде и полузадушенный мяв где-то сбоку от дома. Когда я вошел во двор, всё уже было кончено: худенький уиппет стыдливо прятал глаза, зажав голый хвост между ногами, а его хозяйка собирала осколки цветочного горшка, сброшенного на лестницу. Она была до крайности сконфужена, так что мне самому стало неловко. Пять лет мы гуляем в этом парке, призналась она, и ни разу не видели тут кошек. Потому и отпускаем собаку побегать, она вообще-то очень послушная у нас, но перед кошками не может устоять. Это понятно, сказал я, и на старуху бывает проруха. Мы вместе обыскали весь двор – виновник переполоха благополучно скрылся, и инцидент можно было считать исчерпанным. Но на другой день Соня нашла в почтовом ящике трогательную открытку с приглашением на кофе. Так мы познакомились с чудесной парой, с которой я потом не раз музицировал: он играл на гитаре, а она на флейте. Сам я всего лишь любитель, но совместная игра – это вид взаимодействия, а мне всегда нравилось взаимодействовать с людьми всеми доступными способами.

Виолончель была связана для меня с мамой. Они ходили друг на друга даже внешне: мама была фигуристая, с благородным профилем и сочным грудным контральто. По ней сохла, думаю, половина пассажиров корабля, который привез ее сюда из Кампании вместе с родителями и младшим братом. За ней волочились все ребята в Маленькой Италии – бедном и пестром северном пригороде, где они поселились. В шестнадцать лет она бросила школу, потому что родителям нужна была помощь в бакалейной лавке. По вечерам, когда лавку закрывали, она шла на танцы, где вскоре познакомилась с моим отцом. Они поженились, когда ей было восемнадцать. А где же тут виолончель, спросите вы? А нигде. Иммигрантам в конце шестидесятых было не до баловства, а уж молодой семье и подавно. Но потом, когда родные и знакомые стали советовать ей отдать сына в спорт, она никого не послушала и отдала меня на музыку.

Мама заметила мою музыкальность раньше, чем я сам ее осознал. Я проявлял к музыке не больше склонности, чем обычный ребенок, но она была нужна мне, как инструменту нужен корпус – для гармонии. Я был, как теперь принято говорить, высокочувствительным мальчиком – а тогда меня называли «неженка», «плакса» и тому подобными словами. Дело осложнялось тем, что огромный мир притягивал меня невероятно; мои глаза и руки находились в вечном поиске, и попытки обуздать эту любознательность заканчивались фрустрацией: я принимался исступленно тереть лямки своей маечки или швы на трусах. Эта привычка, а также склонность постоянно и громко разговаривать сам с собой беспокоили мою маму, которая – надо отдать ей должное – всегда была исключительно здравомыслящей. Она не спешила следовать чужим советам – к примеру, напоить ребенка валерьянкой, когда станет совсем уж неспособен. Яркие впечатления так взвинчивали меня, что я исторгал слова целым каскадом фонтанов. Мама научила меня петь вместо того, чтобы говорить, и это был

первый шаг к освобождению. Я был потрясен открывшейся мне красотой речи. Любую фразу теперь можно было раскрасить всеми цветами радуги; слово, произнесенное с разной интонацией, обретало сотни новых оттенков. Я упивался этой музыкой: пел по ролям свои любимые детские стишки, подражал голосам персонажей из мультиков. По счастью, мама была дальновидной и не стала отдавать меня в хор: голос рано или поздно сломается, и я останусь, в лучшем случае, со знанием нотной грамоты и с ностальгической тоской о навеки утраченном серебристом дисканте. Вместо этого она начала как бы невзначай включать записи классической музыки и наблюдать за моей реакцией. Рок меня перевозбуждал, а поскольку у нас дома его некому было слушать – мои старшие сиблинги были к нему равнодушны, – маме удавалось поддерживать ровный и мягкий звуковой фон. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что со мной носились как с писаной торбой, и моя нынешняя, достаточно благополучная жизнь – во многом мамина заслуга. Но я опять отвлекаюсь.

Итак, мама отдала меня на виолончель, потому что ей показалось, что ребенку нравятся звуки более низкого регистра. Между тем, ребенка эти звуки не просто привлекали – они его гипнотизировали. Я мог провести полчаса, просто возюкая смычком по струнам и чувствуя всем телом, как отзывается на мои неуклюжие прикосновения лакированный фанерный ящик, эротичности которого я тогда не осознавал. У меня обнаружился отличный звуковысотный слух, и корявость собственной игры вскоре стала меня раздражать, понуждая заниматься всё с большим рвением. Занятия успокаивали мои вечно нервные руки, придавая пальцам силу и уверенность. Конечно, все понимали, что настоящим музыкантом мне не стать – даже мама. Но когда я мучился с трудным пассажем, она говорила мне: отдохни чуть-чуть, Морено. Посиди минутку тихо. У тебя получится.

«У тебя получится» – я мысленно повторял эти слова много позже, в минуты отчаянья; повторял маминым голосом – не потому, что ее не было рядом: слава Богу, мама до сих пор жива и здорова. Просто я воспитан в традициях, где с родителями не говорят об интимном. Я могу говорить об этом с кем угодно – вот хоть с вами. Только мама никогда об этом не узнает.

4

В нашем доме две спальни смотрят окнами на запад, одна на восток и одна на юг. Обнаружив это, я сразу вспомнил сказки про муми-троллей, которые любил в детстве, и стал называть спальни именно так – по странам света. Южная была самой маленькой, и ее узкое оконце упиралось в соседский забор. Я решил приспособить ее под студию, поскольку гараж к дому не прилагался: со стороны улицы у нас нефиговый уклон, так что к парадному входу надо спускаться по длинной бетонной лестнице. Вторую западную спальню мы держали пустой на случай гостей. Она тоже была маленькой, зато из нее можно было попасть на балкон, куда вели такие же элегантные французские двери, как и из моей. Соня заняла восточную

спальню с видом в палисадник, где торчала коричневая пальма на фоне склона, устланного мясистыми суккулентами. Я уже говорил, что наш дом обращен на улицу только верхним этажом? Получалось, что визитер сразу же попадал в ту часть дома, которая должна, по идее, быть приватной. Мы с Соней постарались, как смогли, создать психологическую и эстетическую границу между зонами: длинный холл мы превратили во вторую гостиную, где вся обстановка – бамбуковые кресла, подчеркнуто пустой журнальный столик, часы на стене – не вызывала бы желания засидеться и в то же время радовала нескромный глаз, не позволяя устремляться дальше, в сторону спален. Барьер работал отлично: все, кто рано или поздно стал своим в этой приватной части дома, попали к нам с другой стороны – через парк.

Я рассказываю вам про границы отчасти для того, чтобы вы не думали, будто мы тут все такие нараспашку. Мы позволяем посторонним входить в нашу жизнь исключительно на наших условиях: так работает здоровая психика. Мы раскрываемся до тех пор, пока нам комфортно это делать. Даже я, с моим длинным языком, умею смолчать, если нужно. Бывает, что молчание само по себе красноречиво – вы мне напомните, я об этом после расскажу. А сейчас надо вернуться к нашему дому. Как можно догадаться, Дара была среди тех, что вошел в него через задний двор.

Был душный пасмурный день. Система охлаждения у нас в доме испарительная и при высокой влажности становится бесполезной. Я открыл все окна, чтобы хоть немного разогнать стоячий воздух: ночь накануне была жаркой, и стены не успели остыть. Видимо, из-за духоты я быстро устал от своего текущего задания и решил сделать передышку. Отдыхать просто так я не умею, гулять было еще слишком жарко. Я расчехлил инструмент и уселся с ним в глубине веранды – так, чтобы в спину мне из комнаты дул слабый сквознячок. Он обтекал меня и летел дальше в парк, унося с собой менуэт Боккерини. Конечно, в исполнении струнного квартета он звучал бы куда выразительней, но людям в парке было неважно, что я играю не свою партию. Большинство из тех, кто проходил мимо, даже не замечал музыки, но иногда я ловил удивленный взгляд или улыбку, брошенную мне через забор. Сочные звуки виолончели стекали с моих пальцев, золотились, как мед, отдавали сладостью, как слова моего первого, почти утраченного уже языка. *Анданте грациозо. Меццо форте* после повтора темы, и почти сразу *диминуэндо*. Вся музыка была для меня итальянской – в той или иной степени.

Когда я в очередной раз бросил взгляд на наш забор, за ним стояла Дара. Она делала вид, что смотрит на собаку, которой мне видно не было, – а значит, оба мы могли сколько угодно притворяться, будто заняты каждый своим делом. Впрочем, у меня было преимущество, и я не замедлил им воспользоваться.

– Привет, – сказал я, выйдя к ним. – У Локи сегодня хороший день?

Дара расцвела: ей было приятно, что я помнил детали нашего разговора. Пес, бегавший без поводка вокруг нее, мимоходом обнюхал меня и

сунулся в открытую калитку. Дара отозвала его неожиданно твердым голосом, но я сказал: да пусть заходит, там ничего опасного нет. Кстати, может, ему воды налить? Вон язык на плечо.

– Ой, спасибо, – с живостью отозвалась она. – Я взяла с собой бутылку, но он почти всё уже вылакал, а до поилки далеко.

Тут надо отметить еще одну деталь относительно расположения нашего дома – деталь, которая представляется мне столь же многозначительной, сколь и его планировка. Парк, о котором идет речь, тянется вдоль ручья на несколько километров, то сужаясь до ширины обочин по обе стороны дорожки, то распахиваясь бескрайними лужайками, полого взбирающимися на холмы. На всем протяжении парка есть всего два островка цивилизации, с беседками от дождя и солнца, общественными жаровнями и питьевыми фонтанчиками. Выходов на улицу тоже не много, так что мы, счастливые жители домов на первой линии, чувствуем себя в какой-то степени ответственными за гуляющих. Один из наших соседей даже выставил у своего забора старую ванну, где скапливалась дождевая вода – для собак, птиц и прочей живности. Но в те дни, о которых я рассказываю, ванна стояла сухой, а хозяева были в отъезде.

Я закрыл за нами калитку, чтобы Локи не выбежал наружу; сказал Даре: «Вы присядьте пока», – и ушел в дом. Виолончель лежала на стуле, и я заметил, что гостья с любопытством ее рассматривает. Я вынес графин и два стакана. Дара смущенно поблагодарила меня и наполнила водой силиконовую мисочку, которая складывалась для хранения в удобный блин. Локи опустошил ее в два счета и, все еще тяжело дыша, улегся на дощатый пол.

– Можно погладить? – спросил я для поддержания беседы.

– Да, он дружелюбный. Только лучше не по голове.

– Почему?

– Собаки не любят, когда их трогают за голову.

– Странно, я никогда такого не слышал. В детстве мы собак гладили где попало.

– Когда я в школе училась, щенят полагалось тыкать мордой в их кучки и лужицы, – сказала Дара. – А еще детей бить ремнем.

В ее голосе не было упрека, но прозвучало это не очень-то вежливо. Я не стал развивать тему, а вместо этого наклонился и погладил шерстяной, ритмично пульсировавший бок.

– Трудно играть на виолончели? – спросила Дара: ей как будто хотелось сгладить неловкость.

– Трудно первые несколько лет. А вообще зависит от природных данных, конечно. Мышечная память и все такое. Хотите попробовать?

Она согласилась легко, словно ждала этого предложения. Бережно приняла инструмент, обхватив левой рукой за талию, как партнера в танце; взяла смычок кончиками пальцев, но, ощутив неожиданную тяжесть, перехватила крепче. На запястье проступила ямочка, и это вызвало в моем теле странное чувство: будто кто-то провел мне этим смычком поперек

туловища повыше пупка – или, если бы я был виолончелью, у самой подставки. Именно это последнее Дара и сделала. Инструмент отозвался чуть скрипучим, но в целом очень неплохим До большой октавы, после чего смычок непослушно и весело отскочил от струн.

– Прыгает! – удивленно воскликнула она. – Как мячик.

– Надо просто прижимать сильнее. И вести длинно, до конца.

Я положил ладонь на ее руку, стараясь не думать о том, что это *та самая*, правая рука. Она целиком утонула в моей, и сразу как-то по-особенному сильно ощутился жар летнего, удушливого дня, не сулящего облегчения и после наступления темноты. Смычок полз по струнам бесконечно долго, и ползла через всё мое тело капля пота, скользнувшая с шеи в вырез рубашки. Дарина щека розовела, и мне подумалось, что ей хочется пить.

– Вот так, – сказал я. – Попробуйте сами.

Я взялся за графин – он был приятно прохладным – и наполнил оба стакана. Не успел я это сделать, как калитка приоткрылась, и в нее просунулась девичья голова в бейсболке.

– Заходите, – Я помахал ей, не дожидаясь вопроса. – Только осторожно, у нас тут большая собака.

Эта последняя, как по команде, встрепенулась. Я забрал у Дары виолончель и сунул ей взамен стакан с водой. Две соседские девчонки вошли, держа на руках по мопсу – черного и рыжего, с обезьяньими морщинистыми личиками и вселенской печалью в глазах. Я перекинулся с их хозяйками парой обычных фраз, и они, обогнув веранду, затопали наверх к боковой калитке, ведущей в палисадник. Я дождался, пока щелкнет задвижка, и пояснил:

– Они напротив нас живут, ну и ходят иногда через наш двор. Мопсам тяжело по жаре ковылять, а тут в обход далеко.

– И любой может вот так калитку открыть? – осторожно уточнила Дара.

– Конечно, там же защелка стандартная.

– И на ночь не запираете?

– А что у нас брать? Ну стырят кресла с веранды, не велика потеря.

– Можно табличку повесить, – предложила она с улыбкой. – Осторожно, злая собака. Воры боятся. Даже если мелкая порода – скорее к соседям залезут.

– А я не хочу, чтобы лезли к соседям.

– Да, – тут же согласилась она. – Это справедливо.

Локи за время нашей беседы успел исследовать двор и стоял теперь у калитки, бросая недвусмысленные взгляды на свою наставницу. Мы оба, не сговариваясь, ухватились за этот повод, чтобы расстаться без церемоний, словно общение тяготило нас. Конечно, это было неправдой, хотя именно с того дня мои мотивы для поддержания знакомства стали казаться сомнительными мне самому. Но остановиться я уже не мог.

5

Люди творческого склада, к которым я себя отношу безо всякой натяжки, обычно не любят рутины, а если они еще и сангвиники – не любят вдвойне. Моя жизнь без жесткого режима превратилась бы в кошмар. Мне повезло, что меня рано научили нехитрым, но чрезвычайно ценным навыкам: делить задачу на более мелкие, делить время на отрезки, преодолевать день как полосу препятствий, рассчитывая силы и чередуя нагрузки с отдыхом. Методом проб и ошибок я нашел тот ритм, который, с одной стороны, эффективно меня выматывал, а с другой – помогал добиться максимальной работоспособности и, как следствие, морального удовлетворения. Я вставал в промежутке между половиной седьмого и половиной восьмого, приводил себя в порядок и спускался на кухню. Кофе я варил исключительно в своей *Бьялетти* и за много лет так насобачился, что Соня утверждала, будто у меня получается вкуснее, чем в эспрессо-машине. Поэтому она старалась тоже встать в это же время: кофе в нашем доме подавался строго дважды в день. Даже для гостей я не делал исключений, а если сам попадал в гости в неурочное время, то пил только вино или воду: количество кофеина в организме мне приходилось дозировать миллиграммами. Утром я пил кофе с каплей молока, вечером – с каплей ликера, всегда из одной и той же фарфоровой чашки, белоснежной с золотым горлышком, раскрытым широко, как раструб у медных духовых. Можно было предположить, что руки мои, благодаря здоровому образу жизни, окрепли настолько, чтобы такая хрупкая вещь чувствовала себя в безопасности, но увы: примерно раз в год чашка срывалась с края раковины или неловко подворачивалась мне под локоть, стоя на столе. Тогда я отправлялся к маме за новой, пользуясь этим поводом, чтобы ее навестить. Мама жила в трех тысячах километров от меня – в Северном Квинсленде, и у нее в сервизе еще оставалось штук пять или шесть таких чашек.

Соня пила кофе из большой кружки с лошадкой, разбавляя его соевым молоком. Если она работала в первую смену, то не завтракала и брала с собой ланчбокс, чтобы перекусить в перерыве. Работала она массажисткой в салоне красоты и любила свою профессию почти так же сильно, как и своего мерина. Парадоксальным образом, отсутствие сексуального влечения сочеталось в ней с редким телесным чутьем. Она была кинестетиком по типу восприятия, все движения ее казались ловкими и полными грации. Нигде Соня не чувствовала себя так хорошо, как в своем теле – молодом, белокожем, будто бы светящемся изнутри, с невероятно пышными, мелкокудрявыми волосами и пятым размером груди. Ей хотелось, чтобы все вокруг чувствовали себя так же. По каким-то тончайшим, одной лишь ей ведомым признакам она распознавала в других физический дискомфорт – будь то тесная обувь или головная боль. Она знала топографию и механику тела и могла бы, наверное, стать отличным врачом, если бы вовремя сумела прислушаться к своим желаниям. Но пришлось потратить время на изучение какой-то финансовой белиберды в институте, поругаться с родителями, уйти в никуда и потом ошупью ползти на свет: закончить

курсы, найти работу, и снова учиться, осваивая всё новые техники. Она очень уставала и, возвращаясь с работы, ложилась на диван и задирала выше головы отекающие, гудящие ноги. Я приносил ей чаю и садился рядом смотреть телевизор. Иногда мы болтали, но Соне быстро начинало казаться, что я перенапрягаю связи, и она строгим голосом предписывала мне заткнуться. Я не возражал: твердость и податливость сочетались во мне так же, как огонь и вода. На черно-белом круге с двумя гетерохромными зрачками я был текучей линией, разделяющей Инь и Ян. Я в равной степени относил себя к экстравертам и интровертам, к местным и понаехавшим. Я был леваком в политике и традиционалистом в жизни. Да вы и сами можете заметить мою двойственность по тому, как я смешиваю в речи два стиля, которые сходятся вместе только в литературе: высокий и низкий, книжный и разговорный. Если бы я и правда был персонажем романа, меня наверняка сделали бы амбидекстром – ужасная пошлятина; да еще сдвинули бы дату моего рождения к самой границе между Водолеем и Рыбами. Я родился двадцать девятого февраля, в гороскопы не верил и всякий раз забывал, есть у меня в этом году день рождения или нет. Праздновал-то я все равно именины.

Эту, с позволения сказать, амбивалентность я видел и в Даре. Было что-то почти волнующее в той дирижерской легкости, с которой она делала знаки своим четвероногим ученикам. Лохматая овчарка весом в полцентнера срывалась с места, подлетала к ней и садилась у ноги, скалясь в подобострастной улыбке. Повелительница собачьих сердец, Дара как будто бы умела быть настойчивой и в отношениях с мужчинами – во всяком случае, мне так показалось, когда в очередную, якобы случайную нашу встречу она завела разговор о музыке, и, не успев я и глазом моргнуть, как уже приглашал ее переступить порог нашей нижней гостиной, и доставал из футляра инструмент, и удивленно наблюдал, будто со стороны, как, усадив ее на табурет, сажусь на стул позади нее, кладу левую руку на гриф и обхватываю коленями ее бедра. Моя щека почти касалась ее щеки, но она вдруг застыла и сдалась. Вся ее внешняя уверенность и бравада были порождением лишь одного чувства – отчаяния. Это я понял потом, а в тот момент подумал, что она испугалась, и мягко повел ее рукой по струнам, чтобы успокоить ее. Я играл скрипичную сонату Цезаря Франка в переложении для виолончели. Играл и думал, что прямо сейчас обманываю Дару всей этой нежной лирикой – своей близостью, проникновенной музыкой – потому что совсем скоро мне придется ей сказать, что у нас ничего не получится.

Пиши я книгу, тут было бы самое время сделать паузу: вставить пустую строку или перейти к новой главе, чтобы подогреть интерес читателей. А мне не жалко, я мог бы прямо сейчас вам всё выложить, чтобы не уходить от темы слишком далеко. Проблема только в том, что Дара узнала об этом лишь месяц спустя, а я все-таки пытаюсь соблюсти хронологию.

Вы спросите: а что это он поминает, к месту и не к месту, всё это писательство – неужели сам грешен, графоманит потихоньку? Да нет, просто

у меня тоже своего рода профдеформация: я ведь на жизнь зарабатываю чтением. Я один из тех, чьи голоса вы слышите, когда включаете, дома или в дороге, запись аудиокниги. На одних книжках, конечно, не проживешь – приходится наговаривать хренову тучу всего, но я люблю свою работу. И хотя у меня язык без костей, я стараюсь никогда не произносить того, за что мне потом может быть стыдно – даже если заказчик сулит золотые горы.

Половое созревание у меня было бурным, драматическим и довольно ранним. Четырнадцатилетие я встретил неуклюжим задохликом очень высокого роста, вечно взвинченным и агрессивным. Чуть позже я научусь виртуозно и многоэтажно ругаться сразу на двух языках и буду пользоваться этим умением всякий раз, когда приспичит дать кому-нибудь в табло – альтернатива особенно ценная, если этот «кто-то» – я сам. Но пока голос у меня ломался, я больше помалкивал, чтобы не производить впечатление совсем уж нелепое. А в четырнадцать лет я внезапно стал обладателем шикарного баритона – вернее, таким он казался на фоне школьной разногласицы. Позже, будучи поставлен на опору, он раскрылся, явив всю палитру обертонов, которыми наградила меня природа. А вот основной тембр и гибкость – это то, чем я с самого начала цеплял девчонок, руководителей самодеятельности и всех, от кого мне было что-нибудь нужно. Любую, самую невинную фразу я мог проинтонировать так, чтобы у слушателя побежали по спине мурашки, как от виолончельного нижнего До. Разумеется, я попал сперва в школьный, а потом в университетский театр. Для сцены у меня было недостаточно пластики: телом гораздо труднее управлять, чем голосом – но опыт, который я там приобрел, оказался бесценным. Я впервые задумался, чем хочу заниматься в жизни. Учился я на бакалавра искусств, и свою альма матер по сей день вспоминаю с нежностью. Однако своё истинное призвание я открыл случайно.

Здесь мне все-таки придется сделать небольшой перерыв, чтобы глотнуть воды и перевести дух. Работа у чтеца легкая лишь на первый взгляд: как и всякое искусство, она требует постоянного труда. Об этом я как-нибудь тоже расскажу, вы только напомните мне, если не трудно.

6

К любой цели могут вести минимум два пути: прямой и окольный. Если вы из тех, кто уже в шесть лет выбрал себе будущую профессию и ухитрился не передумать до окончания школы – вас можно назвать везунчиком. Чаще всего бывает иначе – вспомните хотя бы Соню. Мой прямой путь выглядел бы так: пара лет театрального училища, а то и вовсе онлайн-курсы на Ютубе – и можно зашибать бабло. Верите? Не верьте, я вас дурачу. Никто не становится актером озвучания вот так, с бухты-барухты. Девяносто девять процентов приходят в эту профессию из смежных, а бывает, что и совсем не связанных с актерством областей человеческой деятельности. Мой путь можно, пожалуй, считать максимально прямым из всех возможных.

В школе я не проявлял особой склонности ни к одному предмету, зато прекрасно умел валять дурака и легко сходился с людьми. Моя сестра пошла в туристический бизнес, и я думал, что тоже могу заняться чем-нибудь в таком духе: «Посмотрите налево, посмотрите направо». Но мама очень хотела, чтобы я окончил университет. У нас в семье ни у кого не было высшего образования, и на меня была возложена миссия прервать эту печальную традицию. На самом деле, мама верила, что искусство сделает из меня хорошего человека – и, смею надеяться, оказалась права.

В качестве профильного направления я выбрал средства массовой информации и добавил к ним лингвистику, чтобы уж загрузиться по полной. Я всегда был в первых рядах, если предлагалось купить козу – именно так я стал обладателем ипотеки, а затем и семьи, не имея постоянного заработка. Лингвистика доводила меня до белого каления, но именно там, на лекции по фонетике, я встретил Зака. Он тоже учился на двух специальностях – второй было писательское мастерство. А еще мы оба были музыкантами-любителями. Именно это так быстро нас сдружило. Зак по натуре был сдержанным и тихим, похожим на Шостаковича своими круглыми очочками, непроницаемым лицом и неизменной фигой в кармане. Он рано начал лысеть и к тридцати годам был уже как коленка – что, на мой вкус, только придавало ему импозантности. Мне нравилось, что мы с ним дополняем друг друга – и внешне, и по темпераменту. Он никогда не спешил, но ухитрялся успевать больше меня. Именно Зак открыл мне дверь в литературу – в настоящую, большую литературу, которой я до того времени не знал, будучи занят то учебой, то личными страданиями, а также поддержанием себя в физической форме и тому подобной прозой жизни. Зак сделал очень простую вещь: научил меня слушать аудиокниги.

Как в детстве я был покорен внезапно услышанной музыкой речи, так и теперь меня пленили красота и богатство литературного языка: сравнения, метафоры, звукопись. Я слушал книги в автобусе – и вечно проезжал свою остановку; слушал за приготовлением ужина – и всякий раз то ронял что-то, то чиркал ножом по пальцу. Со временем я, конечно, приоровился, а попутно нахватался чужих приемов и научился копировать стилистику, как иной актер пародирует региональные акценты. Для наших театральных капустников в универе я писал скетчи и сам же их исполнял на радость публике. Зак часто приходил на репетиции и садился во второй ряд, наблюдая за нами. В то время он уже пробовал себя в роли сценариста и делал совместные проекты с приятелем, учившемся на киноотделении. Для одного из таких проектов им нужен был закадровый текст, начитанный в той особой манере, какая ассоциируется сегодня с телевидением годов пятидесятых. Вы помните эти голоса, холодные и стерильные, как пальцы хирурга; их чеканное произношение и чуть брезгливые интонации красавца-мужчины, уверенного в своей неотразимости. Сейчас такое уже не в моде, и моим товарищам пришлось бы долго чесать репу и рыскать по картотекам в поисках живого бронтозавра. Но тут им подвернулся ваш по-

корный слуга, который незадолго до того начал ходить на курсы сценической речи.

Мой средний регистр, которым я обычно разговариваю, – мягкий и теплый. Обертон придает ему окраску, которую слушатели чаще всего описывают эпитетом «шелковистый». Вам придется поверить им на слово, потому что изнутри своей черепной коробки мы слышим свой собственный голос не так, как другие, а любая запись хоть немного да искажает тембр. А вот в нижнем регистре у меня прорезаются металлические нотки. Послушайте тромбон: на самом верху он может быть проникновенным, как гавайская гитара, а в другом конце своего диапазона становится властным и грозным – ни дать ни взять Джекилл и Хайд симфонического оркестра! Вот я тоже так умею. Чуткое ухо Зака, который был очень неплохим пианистом, подсказало ему, что я мог бы попробовать сымитировать нужный тембр, а остальное я поймаю без труда. Так и вышло. Короткометражка была, как сейчас помню, подражательской и наивной, но я до сих пор горжусь, что в титрах стоит мое имя. А это амплуа – старомодный диктор в галстук и с аккуратно выбритыми баками – не раз еще пригодилось мне для работы с обучающими материалами, где нужно быть деловым, спокойным и в меру авторитарным.

Однако я забегая вперед. По окончании универа я почти сразу попал на радио, где уже тусовался прежде в качестве практиканта. Сперва я начитывал рекламу, но благодаря безупречной дикции и способности не теряться при любых накладках оказался в отделе новостей. Зак к тому времени доучивался в магистратуре и был подающим надежды молодым писателем, чьи рассказы печатались в журналах. Мы по-прежнему регулярно встречались, играли дуэты, выпивали и разговаривали. Компаний больше трех Зак не выносил и жил один в съемной каморке напротив университета. Как-то раз он предложил мне записать аудиоверсию сборника рассказов – чисто для себя. Мы засели в студии на радио и начали пробовать. Вот тогда я и подумал впервые, что он в меня влюблен.

Мы с ним никогда не касались этого вопроса. О том, что он гей, я знал от других – он не скрывал этого, но и не афишировал. Я периодически грузился на тему, а не гей ли я сам, но Зак мне тут был не помощник: всегда подчеркнуто сухой и корректный, он за все годы нашей дружбы ни взглядом, ни словом не выдал себя. Но я чувствовал это, видел это в его рассказах, будто бы созданных, чтобы я их озвучил. Так композитор пишет оперную арию для своей жены. Она, эта ария, может быть сложной и требующей виртуозного владения голосом, но кто, как не он, влюбленный в это колоратурное сопрано, которому рукоплещут все меломаны мира, знает его возможности?

Возможно, я слишком самонадеян. Пусть так. Но когда, три года спустя, вышел его первый роман, я уже знал, кому он доверит вдохнуть в него жизнь. Роман, короткий, как мини-юбка на школьнице, и такой же провокативный, наделал много шума, и двадцатипятилетний автор немедленно зазвездился. Вы, конечно, побежите сейчас его гуглить, но фи-

гушки: ведь я намеренно изменил его имя и, частично, словесный портрет. Я не хочу его компрометировать. Вряд ли он ответит мне такой же любезностью, но мне плевать – мою репутацию ничто не испортит, ведь я наполовину итальянец, а значит, владею искусством *la bella figura*: всегда выглядеть достойно, с какой стороны ни посмотри.

Вы заметили, что я ни разу не уклонился от темы, рассказывая эту историю? Мне самому интересно, как так получилось. Вероятно, дело в том, что я до сих пор переживаю, хотя не признаюсь в этом даже самому себе. Мы с Заком дружили почти двадцать лет, и всё рухнуло за какие-то пять минут. Так нелепо и несправедливо. Но – придется произнести ужасную банальность – если бы я мог заново прожить эти пять минут, я бы снова сделал то, что сделал тогда.

7

После нашей с Дарой совместной игры на виолончели было глупо и дальше делать вид, будто она всякий раз оказывалась возле моего дома случайно, а я всей душой прикипел к Локи. Мы начали встречаться – главным образом, для совместных прогулок: мы оба чувствовали себя спокойней на нейтральной территории, словно пытались доказать окружающим, что не замыслиаем ничего предосудительного. С Соней мы всем местным знакомым представлялись как друзья, живущие в складчину: так было проще объяснить отдельные поездки и прочие несовпадения ритмов. Вы можете возразить, кому какое дело: в свободной стране, в нынешнее время человек волен поступать так, как ему хочется. Неправда – вы в этом еще убедитесь. Но тогда я не знал, куда выведет эта дорожка, и всего лишь вел себя так, как меня воспитали.

Нашу долину с одной стороны пересекала автомагистраль, чью тяжесть несли бетонные опоры моста, а с другой – железная дорога. Ажурный стальной виадук соединял заросшие репейником склоны. Наш, восточный, был более пологим, и мы взбирались по нему и шагали вдоль железнодорожного полотна. Это было интересней, чем идти по улице: Дара отпускала Локи с поводка, и он нырял в высокую траву, раздвигал ее грудью, как пловец, и жмурил свои стекляннистые бледно-голубые глаза. Иногда он вдруг замирал на месте, а затем скидывал переднюю часть туловища в коротком прыжке и впечатывался лапами в землю. *Мышкует*, говорила Дара, и пыталась перевести мне с помощью длинного описания это емкое слово. Он ловит кузнечиков, думая, что это мыши, притаившиеся под снегом. Значит, сейчас он чувствует себя хаски? – спросил я однажды. Кого в нем больше? А кого больше в тебе? – с неожиданной прямоотой парировала она.

Такие вопросы всегда ставили меня в тупик. Я жил в этом городе с самого рождения. В семье у меня говорили по-английски, лишь мама ворковала с нами на родном языке, пока мы, дети, были совсем маленькими. Отец не перечил ей: возможно, он знал, что мы быстро всё забудем. К тому времени, когда я пошел в школу, брат и сестра говорили между собой толь-

ко по-английски. Мы росли на тех же фильмах и книжках, что и наши ровесники. Мы почти ничего не знали об Италии и, признаться, не горели желанием узнать. И всё-таки мы были другими. Нас дразнили словами, которые казались обидней всяких «жиртрестов» и «четырёхглазых», потому что апеллировали не к сугубо индивидуальным и, зачастую, временным чертам, а к чувству причастности, первобытному и могучему. Нас вынуждали стыдиться не масти своей, а семьи, и это было гораздо больнее. Через много лет я вспомню это чувство уже по другому поводу, и оно снова вызовет у меня желание дать в морду обидчику.

«Как можно быть таким невоспитанным, Морено», – сокрушалась мама, узнав об очередной драке в школе. Потерять свой достойный облик, свое доброе имя – всё, что обозначается словосочетанием *la bella figura*.

Потеря лица, как у японцев? – уточнила Дара. Нет, не совсем. Мы не будем делать харакири, если на столе окажется недостаточно еды, и гости уйдут самую малость голодными. Если быть совсем точным, мы просто не допустим такого. Мы не наденем футболки с дыркой, даже если она любимая, а на улице темно. Мы носим шорты и шлепанцы на пляже, а в остальных случаях щеголяем в безупречно сидящих костюмах, даже в жару. Всё это, конечно, относится к сферическому итальянцу в вакууме, но поверьте: мы действительно всерьез озабочены тем, какое впечатление производим на окружающих. Причем неважно, в какой среде мы находимся – на работе, на отдыхе, в дороге. Все, с кем нас сводит жизнь, должны унести с собой едва заметное, как аромат сигары или шлейф дорогих духов, чувство удовольствия. Уметь понравиться и новой соседке, и начальнику, и кассирше в магазине – настоящее искусство. Быть предупредительным, уважать старших, поддерживать в безупречной чистоте и свой дом, и своё тело и душу – всё это мама вбивала в нас с пеленок и очень в этом преуспела. Кем я, по-вашему, должен себя считать? Да, итальянским я владею на уровне “*potresti affettarlo non troppo sottile per favore*”¹, и Шекспир мне понятнее Петрарки, но... Тут я замолчал, потому что сформулировать то, что должно было стоять на месте этого многоточия, мне никак не удавалось.

– Я думаю, это неважно, кем ты себя считаешь, – сказала Дара. – Важно, что всё это у тебя внутри, по-настоящему. Ты настоящий.

У Дары была сестра, старше нее на три года. Её звали Юмжид. Я никогда не слышал такого имени и не знал, что есть такой народ – буряты, хотя для среднестатистического австралийца я знаю очень много. Полное имя Дары было Дарима. Кроме имен и внешности, в сестрах не было ничего специфически бурятского. Жили они в только что построенном заводском городе, куда стекались искатели удачи со всей страны: русские, татары, немцы и представители других национальностей, чьих названий я не запомнил. В семье Дары говорили по-русски, хотя мама была из деревни и язык помнила. На фотографиях сёстры выглядели настолько разными, насколько вообще могут выглядеть две девушки одной и той же расы. У Юмжид было овальное лицо с высокими скулами, губами фотомодели и глаза-

¹ Порезьте, пожалуйста, не слишком тонко (*ит.*)

ми индейской воительницы – не хватало лишь украшения из перьев на блестящих, как вороненая сталь, волосах. Она занималась бальными танцами и, как многие позднесоветские девочки, любила всё западное: диснеевские мультики, импортную жвачку в яркой упаковке и Майкла Джексона. На вопрос о будущей профессии Юмжид, перекинув косу с груди на спину, небрежно отвечала, что будет переводчицей. По-английски она говорила так, будто родители у нее были дипломатами, хотя мама работала в детсаду, а отца не было вовсе. Поступать она уехала в Москву, куда вскоре переманила и Дару. Позже сестер закрутило каждую своим водворотом, обе вышли замуж и разошлись друг с другом окончательно – сперва во мнениях, а затем и в пространстве. Дара с мужем решились на иммиграцию, а Юмжид вдруг потянулась к корням – с такой же страстью, с какой предавалась своим прежним увлечениям. Красиво рассталась со своим бизнесменом, забрав половину их совместного имущества; переехала в Улан-Удэ, открыла магазин, торгующий одеждой и украшениями в национальном стиле, и начала сниматься для обложек в островерхих соболиных шапочках с ниспадающими вдоль щек подвесками из серебра. Она была теперь буддисткой и вегетарианкой – и то, и другое ей удивительно шло. О Дарином отъезде в Австралию Юмжид высказывалась крайне неодобрительно: сама она проводила отпуска не в Европе, а в Монголии, и даже научилась там скакать на лошади, как настоящая степная кочевница.

– На лошади мы тебя тоже научим ездить, – сказал я с преувеличенной беззаботностью. – Ты еще дашь ей фору: она-то небось не умеет без седла.

Я вернул Даре телефон, на котором смотрел фотографии Юмжид. Она приняла его молча и снова обняла ладонями чашку. Мы сидели в кафе – в одном из тех неприглядных снаружи маленьких кафе, что скрывались посреди унылых жилых кварталов к востоку от нашей долины. Заросшие бурьяном дворы перед рано постаревшими деревянными лачугами, уродливые таунхаузы – и тут же, на соседней улице – вдруг дивной красоты печная труба, обложенная двухцветным кирпичом, и ряд магазинчиков, где между кебабной и почтой притаилась итальянская кондитерская. Здесь пекли весьма недурные ромовые бабы, вафельные трубочки *канноли* и даже *сфольятелла* – рогалики из хрустящего чешуйчатого теста, начиненные сырным кремом. Ты непременно должна попробовать: это же сладости моей родины, сказал я, когда мы с Дарой оказались тут впервые. Она выгуливала очередную собачку, а мне надо было купить овощей в лавке на углу. Она спросила тогда, почему я не взял себе кофе, и я начал потихоньку рассказывать одну историю за другой, как рассказываю вам. Дара принимала их близко к сердцу: слушая меня, то хмурила брови, тонкие и изогнутые на манер ласточкиного крыла, то охотно смеялась шутке или чуть подавалась вперед, будто боялась не разобрать слова, сказанного вполголоса. Я стал замечать, что у нее удивительные глаза – будто выведенные пером каллиграфа; и как один иероглиф вмещает в себя тысячу смыслов, так и Дара казалась мне непознаваемо сложной. Она по-прежнему почти

не говорила о себе. Я читал между строк, но видел лишь поверхностное: давнюю и не изжитую до сих пор обиду на сестру, в чьей тени ей пришлось оказаться; чувство потерянности в новом обществе, которую я ощущал по тому лишь, как в ее речи проскальзывали невежливые обороты – не от природной грубости, а просто от недостатка общения в здешней культуре, где прямолинейность не в чести. Мне легко рассуждать об этом: я ведь двулик, как Янус, бог дверей, ключей и очага. Однако подобрать ключ к самой Даре оказалось не так легко, как я думал.

8

Свою лошадь Соня навещала несколько раз в неделю, наматывая каждый месяц по полтыщи километров. Я предложил как-нибудь съездить всем вместе – провести день за городом и заодно познакомить девушек друг с другом. Они быстро нашли общий язык, как умели находить его с четвероногими. Я сидел на заднем сиденье белоснежной Сониной «либерти» и смотрел, как летят за окном выгоревшие на солнце равнины по ту сторону городской черты, а Соня, по-мужски небрежно подруливая кончиками пальцев, рассказывала Даре историю своей лошади, похожую на сюжет из Диккенса. Ранние годы Бадди были покрыты мраком, как родословная подкидыша, хотя, в отличие от этого последнего, о чистопородности лошади можно судить с относительной уверенностью. Бадди был отличным образцом американского кватерхорса, что не помешало ему оказаться в руках какого-то мудака и превратиться из коренастого, сильного и добродушного животного в скелет, покрытый язвами. Копыта у него отросли так, что стали загигать кверху, как носки шутовских башмаков. Он был чудовищно обезвожен, но железный организм неприхотливой ковбойской лошади не давал ему умереть, растягивая страдания на месяцы и годы. Сколько именно Бадди провел в своем стойле, следствию выяснить не удалось. Оставшийся неназванным хозяин отделался штрафом в шестьсот долларов. Реабилитация животного обошлась благотворительному фонду несоизмеримо дороже. Когда Соня увидела у них на сайте фотографию Бадди с черной челкой над умильным круглым глазом, он уже наслаждался вольным выпасом в своей временной приемной семье. Было ему около десяти лет, шрамы на блестящей коричневой шкуре уже затянулись, и он был готов переехать в свой постоянный дом, буде таковой найдется: лошадь не щенок, в хорошие руки ее пристроить гораздо труднее. Соня долго не думала, и с тех пор – вот уже шестой год – они с Бадди не расставались. Она даже отдыхать ездила с конным трейлером на прицепе.

– Постой трудно найти, – сказала она, заруливая на пяточок парковки; гравий хрустел под колесами, и лошади в дальнем конце выпаса уже наострили уши. – То далеко, то дорого, то всё в репьях. Тут тоже недешево, зато двадцать минут – и на месте.

Я помог Соне выгрузить и оттащить к воротам мешки с витаминным прикормом, а Даре поручил необременительные мелочи вроде каски и хлыста. Бадди и обе его соседки поджидали нас у хлипкой на вид прово-

лочной ограды. Я не был здесь полгода или около того и успел забыть, до чего они огромные, эти кроткие на вид, сонно смаргивающие, шумно фыркающие лошади с замшевыми губами, которыми они немедленно стали тянуться к нашей морковке.

– А ты не любишь их кормить? – с удивлением спросила Дара, принимая у меня из рук пакет.

Я объяснил, что уже накормился в свое время: даже после реабилитации Бадди продолжал бояться бородатых мужчин, и Соня предложила использовать меня как терапевтическое средство. Вооруженный морковкой, я терпеливо ждал, пока лошадь, снедаемая страхом и вожделением, подходила всё ближе, в нерешительности переминалась с ноги на ногу, шевелила ушами, пока наконец не осмелилась принять лакомство из моих неловких рук. Нам пришлось сделать это много раз, прежде чем Бадди привык ко мне, заслонив моим обликом чью-то гнусную рожу, запечатленную в его сознании. Да, сказала Дара, собаки тоже такие: им важны ассоциативные связи, желательно с чем-то приятным, вроде куска мяса. Я бы добавил, что человек не далеко ушел в этом смысле от своих меньших братьев. Любой из нас способен пасть жертвой случайного порыва, вызванного призраком или отзвуком, часто не осознаваемым и потому опасным. Сам я, не будучи исключением, питаю слабость к любым мелочам, связанным с моей мамой. Женщина по имени Анджела немедленно получает у меня кредит доверия – который, впрочем, моментально испаряется, стоит носительнице проявить несовместимые с этим именем качества: например, вульгарность. День маминой святой – четвертое января – кажется мне овечьим духом праздника в большей степени, чем Новый год, ведь именно в этот день мама, вечно хлопочущая по хозяйству, будто Золушка, превращалась в королеву. Я даже во сне могу узнать аромат маминых духов, меня пленяют низкие женские голоса – одним словом, я являюсь отличной иллюстрацией того, как работают ассоциативные связи в человеческом мозгу. Но развивать эту тему вслух я не стал – главным образом, из уважения к присутствовавшим дамам. Вместо этого я попросил их не обращать на меня внимания и делать что вздумается, а я, если напечат голову, пойду в тень книжку почитаю.

– Он лошадей боится, – засмеялась Соня в ответ на Дарин вопрос. – Сам большой, а любит всякую мелюзгу.

– Какую мелюзгу?

– Я тебе потом покажу, – пообещал я мрачно, уместив в эту реплику сразу две, полностью омонимичные, но наполненные разным значением и адресованные разным собеседницам.

В насмешливом Сонином утверждении была доля истины: всё большое подавляло меня, будь то необъятные степные просторы или стеклянные многоэтажки. Я был не против любоваться большим на расстоянии – что и делал сейчас, стоя у ограды тренировочного загона, где Соня демонстрировала Даре свое владение лошадиным языком. Её ноги, обтянутые жокейскими штанами и обутое в высокие ботинки, исполняли на

утрамбованном песке незатейливый танец, и Бадди подхватывал каждое па, будто дрессированный, хотя его никто этому не учил. Соня гоняла его вокруг себя на корде, другой рукой на отлете держа свой дирижерский хлыст. «Смотри, – говорила она Даре, чуть задыхаясь: ей приходилось без остановки топтать ногами, чтобы лошадь не сбивалась с ритма, – сейчас я попрошу его перейти на галоп». Она сменила простой ритм своего танца – и-раз, и-два – на трехтактный, и лошадь послушно сделала то же самое, побуждаемая врожденным чувством общности: ты бежишь, и я бегу.

– А у собак тоже есть такое? – спросил я, когда мы ехали домой.

Дара сказала, что никогда подобного не видела и надо еще попотеть, чтобы научить собаку так зеркалить. Но вообще-то, добавила она, язык тела у них на удивление похож: и те, и другие зевают и облизывают губы, когда нервничают, а ушами способны передать всю гамму чувств, от страха до удовольствия.

– Вислоухим, должно быть, тяжело, – заметил я. – Сразу все полутона из гаммы выпадают.

Мне нравилось видеть ее оживленной, слушать, как они с Соней взахлеб обсуждают зоопсихологию, и рисовать в воображении уютные картинки: мы втроем сидим у нас на веранде, попивая *санджовезе* под телячьи отбивные, в приготовлении которых я был большой мастер. Одним словом, настроение у меня было хорошее, поэтому когда Дара, внимательная к мелочам, припомнила мне Сонины слова про мелюзгу, я решил ее потроллить.

– Пауков люблю, – сказал я зловеще.

– Да, – подтвердила Соня с водительского места. – У него в спальне все стены их портретами увешаны.

9

У меня, как и у каждого из вас, бывают хорошие дни и бывают плохие. О хорошем я только что рассказал. Плохой мог выглядеть, к примеру, так. Я встал в свои обычные семь с чем-то, позавтракал вместе с Соней и сходил за продуктами в местный магазинчик, какие мы в детстве называли *шопино*, будучи свято уверенными, что это итальянское слово. Вернувшись домой, я сделал голосовую зарядку и немного поработал, после чего у меня как раз осталось время подстричь газон, привести себя в порядок и отправиться на обед к моему брату Тони. По субботам у него собиралась почти вся наша семья, включая кузенов и племянников. Мы засиживались до самого вечера, а в оставшиеся пару часов я успевал прибраться в доме и быстрым шагом прогуляться по парку, чтобы было легче уснуть. Подойдя к балконной двери задернуть шторы, я вглядывался в темное небо со сладостной надеждой увидеть в его глубине стремительно растущую яркую точку. Я представлял, как к Земле летит бродячая планета-убийца, и это наполняло мое сердце радостью. Вот было бы здорово покончить со всем одним махом.

Мне придется сделать это – приоткрыть дверцу, ведущую на пыльный чердак моего сознания. Проницательные умы, начиная с поэтов эпохи Романтизма и заканчивая современными психологами, в красках живописали многообразную орду чудовищ, которые скрываются в каждом из нас. Сей пестрый bestiary уже довольно хорошо изучен, каждой твари дано научное название, и многие из них перестают казаться нам такими уж отвратительными, будучи помещенными под лупу (к этому парадоксальному эффекту я еще вернусь в свой час). Однако любой здоровый человек в большинстве случаев предпочел бы не видеть неаппетитной изнанки своего ближнего, и его трудно в этом упрекнуть. Поэтому я постараюсь сделать экскурсию по задворкам моего мозга максимально щадящей, пусть даже в ущерб ее увлекательности.

Я не сомневаюсь, что Бог прекрасно знает о моих малодушных мечтах, которым я время от времени предаюсь, глядя в ночное небо. Меня оправдывает лишь уверенность в том, что ни разу за свою относительно долгую и местами турбулентную жизнь я не позволял себе помышлять о самоубийстве всерьез. Не знаю, чему я этим обязан – природному жизнелюбию или глубоко укоренившейся боязнью согрешить; а может, и вовсе прозаическим, но оттого не менее трогательным желанием не огорчать маму. Она никогда не ругала меня по-настоящему, а только вздыхала, узнав, что я с кем-то подрался, или завалил экзамен, или с непостижимым упрямством оставался один в свои двадцать-тридцать-почти что сорок лет. Я в ответ тоже вздыхал и ковырял пол носком ботинка, поскольку рассказать маме правду я не мог.

Самая болезненная правда, какую мне доводилось выслушивать самому, была сказана моим отцом. Высокий, плечистый, с соломенной шевелюрой, он был австралийцем в третьем поколении, а более глубокими корнями уходил куда-то к Вильгельму Завоевателю, что в глазах маминых родителей одним махом перечеркивало все его достоинства. Мама, однако же, при внешней мягкости была способна на самый неожиданный фортель и пригрозила уходом из дома, если родители не дадут согласия на их брак. Те побушевали и сдались, потребовав единственно, чтобы будущий зять перешел в католичество. Условие было выполнено быстро и без звука со стороны моего будущего отца, который впоследствии вел себя в точности так же при малейшей тени разногласия. Воображение, вероятно, нарисовало вам образ забитого подкаблучника, но ни разу за свое детство я не усомнился в его мужественности. Общались мы мало: он был более близок с моим братом, чем со мной, да и времени у него не оставалось. Сколько я его помню, отец очень много работал. Он был электриком, а также трудоголиком и перфекционистом, без конца проходившим какие-то переподготовки на дополнительные лицензии. Возвращаясь с работы, он, вместо того, чтобы валяться на диване с пивом, без конца что-то ремонтировал в доме, остервенело катал по саду газонокосилку и подстригал фигурные кусты. В воспитательный процесс он не вмешивался: мама сама решала, на каком языке с нами разговаривать и наказывать ли нас за проступки. Ма-

минным широким жестом мы втроем были отправлены в одну и ту же школу – то есть, смешанную. Чуть позже она одумалась, и в средней школе мы уже учились раздельно, как подавляющее большинство детей католиков. Я почти подошел к обещанному рассказу; потерпите еще чуть-чуть.

Уже известные вам детали моей повести позволяют с большой вероятностью предположить, что атеистом я не являюсь. Вы бы окончательно в этом убедились, если бы увидели меня сидящим за столом с четками в руках, хотя их воздействие на меня – скорее успокаивающее, чем душеспасительное. Тем не менее, вопрос веры для большинства людей – не менее интимный, чем область эротических фантазий, и всё, чем я могу с вами поделиться, – это сухая выжимка, содержащая тот минимум информации, который необходим для понимания контекста (прошу прощения за стиль: я, кажется, слишком много начитываю в последнее время обучающих материалов). Суть в том, что церковь как институт встала мне поперек горла уже в старшей школе, однако это никак не повлияло на моё мировоззрение. Как и всё хорошее в моей жизни, базовые ценности, в том числе духовные, для меня неразрывно связаны с мамой. Я перестал ходить на исповедь вскоре после поступления в вуз, чем, безусловно, ее огорчил, но глупо было бы думать, что я сделался после этого атеистом.

Мне было лет тринадцать, когда произошел тот злополучный разговор с отцом. Не помню, с чего он начался и как вообще получилось, что мы оказались с ним вдвоем на нашей кухне. Это не единственный случай, когда событие длиной в полминуты разрезало мою жизнь, как бритвой, на четкие, с ровными краями «до» и «после», и то, что непосредственно предшествовало «до», тут же затягивалось пеленой. Психологи считают, что наше сознание таким образом пытается смягчить травму; охотно им верю. Так или иначе, я что-то ляпнул и в ответ внезапно получил от отца, как пощечину: «Я никогда не верил в вашего бога, понял? Это всё было только ради твоей матери».

Как сильно я хотел дать ему тогда в морду – в тринадцать лет я всем хотел бить морду, вы помните. Я так и не простил отца до самой его гибели, которая произошла меньше чем через год. Он разбился на своей рабочей машине при неясных обстоятельствах, въехав в одинокий столб. Дело было за городом, куда он в тот день не собирался; алкоголя в крови не нашли, свидетелей на пустынной боковой дороге тоже не обнаружилось. Никаких записок, никаких следов.

Прошло много лет, прежде чем я начал понимать своего отца. Отчаянное стремление доказать, что он достоин моей матери, в конечном счете сожрало его целиком. Он из кожи вон лез, чтобы мы жили лучше всех, чтобы у нас была самая идеальная лужайка, самый ухоженный дом, оснащенный всеми модными наворотами вроде встроенного пылесоса. Он пытался стать своим в маминой семье, слиться с ней, как хамелеон сливается с веткой: научился носить костюмы, пить вино вместо пива и ловко орудовать кухонным ножом. Я очень поздно, уже в университете, по-настоящему осознал тот факт, что отец был сиротой. Его воспитала какая-то тетка, и у

него, по большому счету, не было в жизни никого, кроме этих чужих, шумных, свысока глядевших на него людей. Женись он на австралийке, всё было бы иначе. Это и называется любовью? – мысленно спрашивал я его. Мои родители действительно любили друг друга. Мы были счастливой семьей. Как же так вышло, что я стою теперь перед окном своей спальни и мечтаю о том, чтобы сдохнуть вместе со всей этой никчемной планетой? Ответ лежит на поверхности, и отец кивает мне со своего облака. Всё началось там, в моем благополучном детстве. На непосредственного, открытого и вертлявого меня надевали, слой за слоем, хорошие манеры, религиозную мораль, чьи-то завышенные ожидания, которые щедро питал мой обаятельный облик и которых я не мог не оправдать по причине своей чрезвычайной совестливости. Под всей этой кольчугой отчаянно билась живая душа – голодная и изнывающая. Только мне было известно, чего она хотела. Никто не способен был даже понять моей потребности, не то что удовлетворить ее.

10

Если бы я писал на основе этой истории роман, то наверняка изменил бы некоторые детали – так, чтобы они работали на сюжет или помогали раскрывать характеры героев. Скажем, вместо скучной лингвистики мы с Заком могли бы вместе изучать психологию: это объяснило бы для читателя мои познания в области человековедения, а уж склонности Зака к отдельным сферам этой науки и вовсе расцвели бы на фоне наших совместных бдений над талмудами вроде «Половой психопатии» Рихарда Крафт-Эббинга, вышедшей в конце девятнадцатого века и до сих пор снабжающей ученых ценными материалами по теме. А теперь мне придется мекать, бекать и чесать затылок в попытках придумать внятные мотивы для моего друга, который после своих первых творческих опытов, сентиментальных и безвредных, начал писать какую-то жесть и продолжает делать это до сих пор. Я, пожалуй, поступлю иначе: не буду пытаться влезть ему в голову, как лезу к другим героям этой истории, а перейду сразу к сути в надежде, что эта суть захватит вас настолько, что вы простите мою неоряшливость.

Я уже назвал первый роман Зака провокативным и, пожалуй, ограничусь этим, чтобы не давать вам слишком явных подсказок. Все последующие его книги так или иначе касались табуированных тем. Сборники рассказов куда реже становятся предметом обсуждений; экранизировать рассказы тоже никто особо не спешит, так что я могу обсуждать их относительно свободно. Малая форма всегда притягивала меня: Мопассан и Чехов, О.Генри и Кортасар – все имена, какие первыми приходят мне в голову при мысли о любимых писателях, я чаще видел на обложках сборников, а не солидных романов с золочеными корешками. Рассказы я больше всего люблю и читать, и начитывать: первое – из-за самой природы этого жанра, где все жилы натянуты до предела и отброшена вся шелуха; второе – вероятней всего, потому, что по натуре я скорее спринтер, чем марафонец. Для

меня гораздо утомительней было бы сниматься в сериале: день за днем приходиться на площадку, гримироваться и разгримировываться, – чем отыграть напряженную сцену с одного дубля и переключиться на совсем другую, пусть и эпизодическую роль. С Заком мне всегда было интересно, какими бы чудовищными ни казались слова, которые он заставлял меня произносить.

Не знаю, есть ли в этом какой-то умысел, помимо чисто художественных задач, но почти все его рассказы написаны от первого лица, и это лицо всегда мужское. Любой психолог скажет вам, что мужчины составляют подавляющее большинство (доходящее в некоторых источниках до девяноста девяти процентов) так называемых парафилов – людей с необычными половыми пристрастиями. А поскольку именно они чаще всего становились для Зака объектами самого пристального изучения, можете себе вообразить ту степень актерского мастерства, которая от меня требовалась. Вообразили? А теперь забудьте. Всё совсем не так.

Назовите это красивым словом «эмпатия» или одной из форм моей злосчастной высокочувствительности – суть от этого не изменится: я способен погружаться в других людей с той легкостью, какая обычно присуща женщинам и писателям. И вот парадокс: трудней всего мне представить, что испытывают настоящие актеры, когда перевоплощаются в своих персонажей. Сам я никудышный актер, ни одной крокодиловой слезинки не выдавлю. Я просто становлюсь ими – каждым из героев, с которыми сводит меня жизнь – а потом возвращаюсь к самому себе, как возвращаешься домой заядлый путешественник. Он смывает с себя пот и грязь, заряжает батарейки для камеры, развешивает по стенам самые яркие моменты этого отпуска и начинает мечтать о новом, сидя за столом в своем пыльном бухгалтерском отделе. Вы понимаете меня? Какими бы странными ни были все эти извращения, ожившие под пером моего друга, – мне становилось чуточку легче, когда я произносил последнее слово рассказа и нажимал на «стоп». Не спешите с диагнозами: я вовсе не являюсь латентным фетишистом или зоофилом, выпускающим пар таким невинным способом. Не скрою, я не раз прислушивался к реакциям своего организма – больше из любопытства, чем из страха – но так и не нашел ни одной парafilии, которая хоть сколько-нибудь меня волновала. Меня волновали эти люди; их чувства, их незащищенность перед стихией, бушующей у них внутри, – и их обреченность. В таких историях не бывает счастливых финалов. Одни герои гибнут потому, что дали выход своим страстям, другие – потому что не сделали этого. Гибнут не всегда в физическом смысле, но разве это важно? Важно другое: каждый раз, думая о них, я понимаю, что мне-то еще повезло. Я мечтал не о сладостной боли от плети-семихвостки, не о мертвенно-бледной красавице на никелированном столе. Я всего лишь хотел с кем-нибудь себя разделить.

Давайте я опять использую аналогию с домом. Вот есть дом и его хозяйка, и все вокруг, казалось бы, любят их: пользуясь гостеприимством, срезают путь через их двор, обмениваются рассадой, хвалят интерьеры. А

хозяйка думает только о том, чтобы кто-нибудь однажды залез к ней в спальню через окно с ее молчаливого согласия.

Это метафора, вы понимаете. Сам я никогда не страдал от недостатка внимания такого рода, при этом моя спальня с паучьими портретами на стенах – невиннейшее место на свете. Во всяком случае, в первые три года нашего с Соней домовладения там ни разу не произошло ничего предосудительного, не считая моих мыслепреступлений, описанных выше. Давно отброшены все попытки разделить с кем-нибудь это изломанное, больное тело. Но у меня еще оставалась моя душа.

Чтобы вам было понятней, расскажу об одном далеком лете. Мне было то ли шесть, то ли семь, и родители в первый и последний раз взяли меня с собой в отпуск. Они любили путешествовать на машине: ехать куда глаза глядят, завернуть на винодельню, устроить пикник у пересохшей речушки, остановиться в сонном городке, состоящем из одной улицы, а наутро двинуться дальше – в сторону океана или гор, которые сами по себе были не так уж важны, а служили чем-то вроде прикрытия, ведь нельзя же просто сказать родным, что ты хочешь проветриться, бросить машину на окраине поля, упасть в высокую траву и представить, что тебе снова семнадцать. Конечно, с детьми это не так просто, и меня обычно оставляли бабушке, но не в этот раз. На второй день путешествия всем стало ясно, что брать меня с собой было плохой идеей: от избытка впечатлений я с трудом засыпал, не затыкался ни на секунду и не мог высидеть даже часа езды. Повернули домой раньше времени и вдруг увидели табличку, зовущую переночевать на ферме. Родители рассказывали, что стоило им въехать в ворота, как я тут же уснул мертвецким сном. Пришлось нести меня на руках и укладывать в постель в дощатой избушке, куда нас поселили.

Наутро, посвежевший и готовый на подвиги, я отправился исследовать бескрайние просторы фермы. У хозяев в это время гостил внук примерно моих лет, и его снарядили за мной присмотреть. Я помню его с необычайной ясностью. Он весь казался белым, как крольчонок – моя сестра потом твердила, что он альбинос, хотя это полная чушь: глаза у него не были красными, а брови, ресницы и пушистые волосенки просто выгорели на солнце. Майка на нем тоже была белая, а штанов не было вовсе, и я очень удивился, что ему разрешают разгуливать в одних трусах, да еще при посторонних. Он показал мне загоны с козами и курами, ржавый скелет какой-то исполинской машины в кустах и запруду, где водились рачки. Помню, как меня терзала смесь любопытства и тревоги: резкие запахи, которые приносил ветер с далекого пастбища, сама эта невообразимая даль с будто бы игрушечными коровами – всё было мне в новинку. Я рос в так называемом «хорошем районе», где не было ни пустырей с лиловыми репейниками, ни заброшенных построек на окраине промзоны, где могли безнаказанно лазить мои сверстники из районов поплоче. А мне оставалась разве что проезжая часть нашей улицы с подстриженными по линейке кустами да задний двор, где царил такой же образцовый порядок и где было негде даже сделать тайник.

Никогда прежде я не видел ничего более потрясающего, чем этот тайник. Белобрысый мальчик в трусах тут же сделался для меня богатейшим из царей. О, чего только там не было, в этой огромной жестянке, закопанной под деревом! Целёхонький стеклянный шприц без иглы; шикарная позолоченная зажигалка, холодная, тяжелая и, увы, не работающая; безглазая собачка из твердой резины. Хозяин тайника был добрым мальчиком и не мешал мне, пока я с восторгом погружался в его коллекцию, курьезную и эклектичную, как музейные собрания викторианской эпохи. Самым поразительным экспонатом в ней оказались не очки с треснувшими стеклами, не сережка в виде крошечной подковы и даже не баночка с остатками сладковато пахнущей пудры. Мои руки нащупали что-то мягкое на самом дне жестянки – это была пара ярко-розовых туфель из очень гладкой ткани, с пришитыми сбоку лентами. Были они красивые, но изрядно перепачканные, и в следующий миг я понял, почему. Мальчик аккуратно вытянул их у меня из рук, уселся на землю и просунул пыльную ступню в узкий твердый носок. Туфли были ему велики, но он принялся с такой уверенностью наматывать на щиколотку ленту, что я подумал: и так сойдет. Он надел вторую и встал. Глаза его были опущены – он то ли смущался, то ли сам не мог оторвать взгляда от своих преобразенных ног. Щеки его порозовели, и я остро ощутил жар удовольствия, нахлынувшего на него.

У каждого из нас есть такой тайник. Мы носим в себе сокровища, милые нашему сердцу: впечатления, воспоминания, сны и мечты, понятные только нам и обреченные исчезнуть вместе с нами. Всю жизнь я искал кого-нибудь, с кем мог бы поделиться хотя бы малой долей того, что лежит в моей жестянке под деревом. Всякий знает, как трудно рассказывать другому свои сны и как скучно слушать чужие. Что уж говорить о наших причудах, о когнитивных искажениях и ассоциативных связях – такое будет выслушивать разве что психолог да редкие чудачки вроде меня. А я, тем временем, опять наговорил вам с три короба, но так и не добрался до сути. Попробую в следующий раз.

11

Была у меня одна навязчивая фантазия, в которую я никогда никого не посвящал. Год или два назад я стал представлять, что было бы, стань я таким же талантливым писателем, как Зак. Я написал бы свой сборник рассказов и сам его начитал, а потом выложил в сеть. Оттуда он однажды перекочевал бы в плеер к какой-нибудь трепетной тонкой душе, и она влюбилась бы в автора и написала бы ему письмо. Банально и мелодраматично, правда? Погодите, я еще не сказал главного: эта поклонница должна быть незрячей. Я перебрал не меньше тысячи вариантов и пришел именно к такому выводу: для счастья мне нужен человек, лишенный самого соблазна обмануться моей внешностью. А голос – что голос? Колебания воздуха, иллюзия; всякий знает, что сладкозвучный оперный тенор почти наверняка будет пухляком, а за прелестницей из службы «Секс по телефону»

может скрываться синий чулок. Кому, как не слепому, лучше знать, что голос – всего лишь верхний слой луковицы, то, что доступно с самой дальней дистанции? Знакомство более близкое невозможно без прикосновения кончиков пальцев к лицу. А для этого понадобится чуткость.

Я придумал множество сюжетов на эту тему, меняя обстоятельства нашей встречи, род занятий героини и прочие детали. Это доставляло мне немало удовольствия и помогало хоть отчасти скрасить мою благополучную с виду, но по факту весьма незавидную жизнь. А в реальности всё получилось иначе: вместо слепой поклонницы судьба преподнесла мне Дару с ее рукой.

Я честно пытался забыть об этой руке. Иногда мне это удавалось, и я видел лишь Дарины глаза, смущенную улыбку и привычку хмурить брови, когда что-то в моем рассказе её особенно трогало. Но как только мне подвернулся повод, я тут же сделал ход конем, не успев зажмуриться от страха. Дара обронила, как сложно жить без машины – иной раз приходится даже врать клиентам, потому что кто отдаст собаку в передержку, не будучи уверенным, что ее быстро отвезут к ветеринару в случае чего? А машина осталась у мужа после развода, и сама она так и не сдала на права, хотя муж учил ее немножко водить. Что ж ты молчала, сказал я пылко, давай научу. Перед глазами тут же возникла картинка: мы сидим в салоне бок о бок, и её рука... о господи, картинка эта позорно разбухала, расплываясь, как темное пятно на детских штанишках. Зачем я это ляпнул? Из меня же учитель, как из коровы балерина. Я же буду орать. Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает!

Потом я немного успокоился. В конце концов, пока она сидит на водительском месте, а я на пассажирском, мне ничего не грозит – ну разве что машину поцарапаем, велика важность. Я повторял это, как мантру, и первые уроки прошли на удивление гладко: мои навыки в области голосового инструктажа прокачаны до десятого уровня, а Дара оказалась способной ученицей, собранной и аккуратной. Я, конечно, иногда начинал вопить как резаный, но Дарин муж делал то же самое, когда ему мерещилось, что трамвай, ползущий впереди, вот-вот затормозит и зафигачит им по бамперу. В общем, я размяк и стал фантазировать на тему реконструкций. Бегают же бородатые мужики с деревянными мечами, воображая себя средневековыми рыцарями, так почему другой бородатый мужик не может перенестись на пару десятилетий назад?

Но легко быть реконструктором, когда результат зависит только от тебя. Даже если бы я нашел точно такой же «Пульсар» восемьдесят шестого года, если бы из лобового окна на меня летела такая же страшная и упоительная темнота с ритмичными проблесками фонарей – как бы я смог срежиссировать главное, не прибегая к конфузливym объяснениям и просьбам? Как бы она посмотрела на меня после этого? Я рисковал и друга потерять, и не получить того, чего жаждал. Страх и надежда разрывали меня, я снова и снова перебирал все возможные сценарии – так мечется по лабиринту крыса, почуяв сыр. В конце концов, я оставил идею полноцен-

ной реконструкции и придумал компромисс в виде русской рулетки. Я взведу курок и вложу свою судьбу в бриллиантовую руку Дары. Пусть в этом римейке моей истории за рулем будет она, а не я.

Я отрепетировал свои реплики так, чтобы отскакивало от зубов. У меня не было никакой уверенности в том, что эта затея вообще сработает; но худшее, что могло произойти – недоумение, конфуз. От такого не умирают. Зато джекпот, случись мне его выиграть, был бы сравним с сундуком сокровищ, закопанным под радугой. Да что джекпот – если бы мне удалось высечь из себя хотя бы одну искру, чтобы раздуть пламя, я бы берег его как зеницу ока. Помните, как в одном фильме про первобытное племя: там весь сюжет крутился вокруг переносного очага, грубо сколоченного из костей – бесценная вещь для тех, кто не умеет добывать огонь сам. Пусть бы мне пришлось провести остаток жизни в вечном страхе, что он погаснет, но это всё-таки была бы жизнь.

Да, я сам знаю, что начинаю злоупотреблять метафорами. Рассказывать эту историю оказалось на поверку трудней, чем я думал. Но теперь уж деваться некуда: назвался гвоздем – полезай в стенку.

На следующем уроке я изо всех сил старался скрыть волнение: вёл себя тихо, следил одновременно и за лексиконом, и за дорогой. Ученица, в свою очередь, делала успехи, и это позволило мне в нужный момент похвалить ее, а затем, обреченно смежив веки, нажать на спусковой крючок.

– Знаешь, как у нас проверяют, насколько ты хороший водитель? Если можешь положить руку на колено пассажиру – значит, готов к экзамену.

Дара ничего не сказала ни в первую секунду, ни в следующую. Я быстро просканировал ее половину салона: она сидела напряженно, прикусив губу и стиснув руль так, что на левой руке обозначилась ямочка, видимая мне с невыносимой ясностью.

Это был полный провал.

Я перевел взгляд в лобовое стекло, откуда наплывал незнакомый пейзаж, и тут заметил боковым зрением неясный Дарин жест. Рука отделилась от руля, слепо потянулась куда-то вбок и вниз; пальцы чуть шевелились, точно пытались нащупать невидимую цель. Я перестал дышать. Миновав рычаг селектора, рука застыла, помедлила – и вернулась обратно на баранку.

– Я не могу, – разочарованно сказала Дара. – Не получается две вещи одновременно.

Мой вышколенный автопилот ответил ей какой-то ободряющей и в меру игривой репликой, а я в это время пытался понять, как мне оценивать результат, ведь сценарий такого не предусматривал. Надежда как будто бы оставалась, но ведь, если быть до конца честным, я хотел *не совсем* того, о чем просил. Хотя, наверное, и эта призрачная возможность была лучше, чем ничего. Я вздохнул, еще не подозревая о том, что Дара может придать этому значение.

Мы заехали в тихий жилой квартал, где немного поработали над параллельной парковкой. Эти маневры давались моей ученице с некоторым трудом, и вскоре она сказала, что совсем не соображает и, видимо, нам лучше на сегодня закруглиться. Мы поменялись местами, и я вырулил на оживленную дорогу. Дара молчала. Я о чем-то думал. А потом это произошло. Без прелюдий и предисловий, без малейшего движения головы в мою сторону. Я ощутил прикосновение ее руки, и кто-то в моей голове хладнокровно взял управление на себя. Пока я пытался совладать с истерическим пульсом, этот кто-то свернул в карман, ведущий на рампу автострады. Ветер ворвался в салон сквозь приоткрытые окна, мой ботинок втопил до ста, я помнил, что есть запас, что можно выждать немного, прежде чем быстро глянуть направо и перестроиться на два ряда, а уже после этого нажать круиз-контроль и опустить глаза – всего на миг – но там же было темно, в той машине, и вокруг тоже темно, откуда же я знаю, как она выглядела *тогда*, это рука, я ведь придумал всё это, а в тот момент я только чувствовал ее тяжесть – она оказалась неожиданно тяжелой и нестерпимо горячей, и от этого внутри всё свело, будто кто-то разорвал мне грудь и сгреб в кулак мои жилы, и ничего сильнее я в жизни не испытывал, а сейчас просто ничего, ну пожалуйста, пожалуйста, мы же разобьемся к чертовой матери!

Я перестроился левее и съехал с магистрали. У меня не было понятия, где мы. Дорога раздвоилась, я остался слева. Вокруг были какие-то промзоны без признаков жизни. Безнадёжно, серо и пусто. Я прижался к обочине, встал, заглушил мотор и заплакал.

12

Дара была счастлива. Она ждала этого много лет.

Можно сказать, что мы с ней оба жили книгами, только я – в буквальном смысле, зарабатывая ими на жизнь, а она любила книги абсолютно бескорыстно – если только не называть корыстным желание спрятаться от реальности. Она выросла в городе, заложенном незадолго до ее рождения. По ее описаниям мне представлялся этакий Метрополис: безликий, механистичный – вся жизнь его была подчинена вращению шестеренок на конвейерах завода, который он обслуживал. Город будущего – с широкими бульварами, многополосными дорогами и бесчеловечной архитектурой, вычерченный по линейке и поделенный на сектора. Вместо адресов с названиями улиц все пользовались номерами секторов и строений. Знать свой номер было жизненно важно, он был одной из составляющих твоей идентичности – даже в большей степени, чем национальность. Молодежные банды били друг друга не потому, что одна состояла из русских, а другая из татар – просто парни из двадцать шестого били смертным боем всех, кто жил в тридцатом, и наоборот. Девочек не били, но им лишний раз совастья за пределы своей зоны тоже не стоило.

Дара сидела дома и читала книжки. В них всё было иначе: тонкие чувства, высокие отношения, вздохи и робкие пожатия рук. Не то чтобы

она не знала, что в жизни тоже такое бывает: провожания домой из школы, стыдливые записки с признаниями – всё это было, но не у нее, а у сестры. К чести своей, Юмжид никогда не подчеркивала этого превосходства и охотно делилась с Дарой всем, чем считала возможным делиться. Она учила ее танцевать – и в Дариных мечтах стали появляться атлетически сложенные юноши, скользящие с ней по паркету бального зала; она брала ее с собой на вечеринки – и Дара послушно оттеняла сестру, а сама постепенно приходила к выводу, что романтический красавец, готовый закружить ее в танце, должен быть безногим. Или алкоголиком. Или отсидеть срок. Она уже тогда понимала, что идеальных героев не бывает даже в книгах – во всяком случае, в хороших книгах. С этим приходилось мириться, и она готова была взять себе яблоко с червоточиной, если другой бок этого яблока лоснился и алел. Это было бы гораздо лучше, чем яблоко, крепкое внутри, но невзрачное на вид: именно такой была она сама. А в мире всё должно быть гармонично – не зря ведь она родилась под созвездием Весов. Где-то в этом мире жил, еще не зная о ней, прекрасный байронический герой со шрамом через всю душу, и именно ей, Даре, суждено было этот шрам залечить. А значит, она должна быть постоянно начеку, чтоб не пропустить встречи. В любой компании она искала теперь невидимые знаки – когда сидела, стесняясь, на тусовках у сестры, или в вагоне поезда, везущего ее в Москву, или в аудиториях перед началом лекций. Поступила она на филфак, а конкретно на кафедру теории литературы: так педофил идет учиться в педагогический, чтобы быть поближе к детям. Эту циничную аналогию я поначалу держал при себе, а когда все-таки решил ее озвучить, Дара спокойно сказала: да, так и было.

На четвертом курсе подружка познакомила ее с художником, у которого подрабатывала моделью. В нем полнейшим образом были воплощены все черты архетипа, описанного выше: привлекательная внешность, мизантропия, сарказм и прочий демонизм. Дара без колебаний отдала ему всё, что имела, получив взамен стопку угольных набросков. Я видел их – обнаженное тело с покатыми плечами и мальчишескими бедрами было будто бы написано ударами хлыста, смоченного краской. Умей я рисовать, я соткал бы ее из бликов и нежно растушеванных теней. Я сказал ей об этом; она улыбнулась уголками губ и опустила веки, сделавшись похожей на Будду. Ей была неведома христианская стыдливость: телесное в ее сознании переплеталось с духовным в совершенной гармонии.

Их роман оказался коротким – не роман даже, скорее рассказ в десяток страниц, где пьяный бред с претензией на поток сознания чередовался с грубым натурализмом откровенных сцен и лирическими отступлениями, будто бы вставленными в книгу по ошибке. Когда стало ясно, что за последней страницей нет ничего, кроме пустого задника обложки – никакого «Продолжение следует», «Читайте в этой же серии» – Даре стало очень плохо. Вернее, это она тогда думала, что жизнь катится под откос и ничего хуже случиться уже не может. Из мрака появилась Юмжид, зажгла везде свет, поставила чайник и сильной рукой встряхнула сестру, как ко-

тенка за шкурку. Дара закончила университет и устроилась в книжное издательство. Поначалу она стояла с лопатой у конвейера и сортировала писательский самотек, сбрасывая откровенный мусор в топку, но скоро ее повысили до помощника редактора. Юмжид придирчиво следила за ее успехами, иногда подсовывая сестре своих кавалеров, вышедших из употребления, как прежде сплавляла ей надоевшие юбки и платья. Дара, покладисто носившая чужие наряды, в сердечных вопросах оказалась тверда, и сестра махнула на нее рукой. «Заведи тогда собаку, что ли, – посоветовала она. – Вступишь в клуб, там мужиков полно. Только обязательно служебную, поняла? Чтобы мужики были серьезные».

Так у Дары появился Дарси. Имя нужно было непременно на букву Д: щенок был чистопородным шнауцером, черным, как сапожная вакса, с жесткой бородкой, пока еще юношеской, и огромным любящим сердцем. Жизнь тут же наполнилась смыслом, а Дарина съемная квартира – погрызенной обувью, пособиями по воспитанию собак, топотом, сопением и смехом. С работы она теперь бежала прямо домой и каждую свободную минуту проводила со щенком. Его надо было выгуливать, расчесывать и дрессировать, кормить здоровой пищей, прививать хорошие манеры и прививать от бешенства – всё ради того, чтобы в один прекрасный день обнаружить рядом с собой рыцаря без страха и упрека, без вредных привычек и тайных пороков, без *бывших* и без будущей свекрови. Когда он вставал на задние лапы, то был выше нее ростом. Он без колебаний отдал бы за нее жизнь. Никто другой не смог бы так ее любить.

Восемь лет Дарси ревниво охранял Дару от ухажеров: ему достаточно было повести кустистой бровью – и их как ветром сдувало. Лишь один ее знакомый вечно маячил на периферии зрения, по той простой причине, что был их ветеринаром. Средних лет, толстый и застенчивый, он встречал их с неизменной сердечностью – а встречаться им приходилось всё чаще: Дарси рано начал слепнуть из-за атрофии сетчатки. А потом он стал худеть и кашлять, и ветеринар, потея от волнения, показал ей снимок – узкий сетчатый кармашек на молнии, целиком занятый двумя белыми яйцеобразными предметами, источающими слабое сияние. Застежка молнии – позвоночник, а вот легкое, видите – оно увеличено. А вот это сердце – огромное и уже почти бесполезное. Прогноз – от одного до шести месяцев жизни. Мне очень, очень жаль.

Дарси умер внезапно и без мучений. Все мучения достались Даре. Разделить их ей было не с кем: собака – не человек, зачем так убиваться, лучше заведи другого щенка или возьми в приюте, сделай доброе дело, вон их сколько, бедолаг, а хочешь, пойдем с нами вечером на боулинг, развеешься. Ветеринар оказался единственным, кто пожелал быть рядом, тихо вздыхать, искать слова утешения и не находить их, а вместо этого говорить что-то другое, сбивчиво и мягко, встречать ее у метро и угощать пирожками из ларька. Он тоже был один, с разводом и алкоголизмом в анамнезе, и деваться друг от друга им было некуда – а то, что любовью там даже не пахло, ну так разве она в жизни бывает?

Когда он предложил иммиграцию, она согласилась: даже через полгода после смерти Дарси ей было больно ходить по тем же улицам и паркам, где они с ним гуляли. Бумажная волокита, самолет, чистый лист – пиши себя заново, тут тепло и море в полчасе езды, что еще надо? Муж зашел за учебники, обнаружив, что ему в самом деле придется получать квалификацию заново, что это не шутки: здесь он никто и звать никак. Видимо, это его и подкосило. А потом он впервые по-настоящему напился и впервые ударил ее. Она дала ему шанс одуматься, а на второй раз собрала вещи и ушла.

– Когда это было? – спросил я. Мы сидели в кафе у пляжа, накануне был День Святого Валентина, и на пляжной беседке реял, как флаг, обрывок красной ленточки, зацепившийся за колонну.

– Почти три года назад.

Значит, мы с Соней в это время обживали наш новый дом, а Дара только поступила в училище на собачьего инструктора, потому что ее собственный диплом тоже превратился в тыкву после пересечения границы. Английский ей давался гораздо хуже, чем когда-то сестре, но с собаками ей было легко – ведь их язык одинаков во всех частях света. Она сумела проявить твердость, без которой невозможно стать хорошим инструктором, и выбила из мужа официальный развод и раздел их нехитрого имущества. Сняла комнату, стала хвататься за любую работу. А потом встретила меня.

Она сразу всё поняла, стоило мне свернуть на автостраду: мои остекленелые глаза и моё молчание вмиг развеяли чуть сладковатый удушливый туман, который окутывал меня с момента нашего знакомства. Всё это время она мучилась и не могла угадать, что именно со мной не так. Яблоко дразнилось румяными боками без единой вмятинки – отравленное, смертоносное яблоко, иначе и быть не могло: свет мой, зеркальце, скажи, Дара смотрела на себя, и ей становилось страшно при мысли о том, каким маньяком я могу оказаться.

Я всё ей рассказал – впервые в жизни разъял на части и облек в слова путаный сгусток переживаний, похожий на сваленную в угол и забытую там рыболовную сеть: уже ненужную, прогнившую от сырости, но всё еще цепкую, с тяжелым стойким духом кислых водорослей. Дара приняла моё признание с нежностью и облегчением, а потом так же кротко приняла меня самого. Первым осенним днем она переехала к нам, заняв пустовавшую до той поры спальню с окнами в парк. Вечером того же дня я вышел на балкон, который нас теперь объединял. Запрокинув голову, я поискал глазами блуждающую планету-убийцу и, не найдя ее, улыбнулся в темноту.

13

Воспоминания детства похожи на солнечных зайчиков – не только яркостью своей, но и тем, что их бывает невозможно пригвоздить к месту, пометить месяцем и годом, если только речь не идет о Событиях с большой буквы, вроде первого причастия, отягощенных материальной составляющей – фотоснимками, подарками и призами. Мама, ты помнишь, спраши-

ваю я иногда по телефону, когда это было – та наша летняя поездка, тот разговор? Ты перед этим сильно болел, отвечает мама, а потом отец учил Тони боксировать и разбил ему нос – нечаянно, но Тони страшно рассердился, потому что решил, что теперь его разлюбит девушка, с которой он встречался. В каком он был классе? Точно не скажу, но это было в том же году – а может, в следующем.

Пусть вас не обманут позитивные коннотации словосочетания «солнечный зайчик», ведь даже у этого зайчика есть зубки, и воспоминания могут быть очень болезненными. Всякий любознательный ребенок покажет вам, как с помощью зеркала прожечь в бумаге дырку. Я был таким ребенком, и если дома мне запрещали совать пальцы в розетку, то в школе возможностей вляпаться в историю было гораздо больше. Я и вляпался. Шел мой последний год в «Святом сердце» – а значит, мне было одиннадцать лет. Со следующего класса я буду учиться в мужской школе, куда меня переведут от греха подальше – где логика, спрашиваю я вас, ведь там были одни мальчики, в этом туалете, но мамино решение уже ничто не могло отменить: она была уверена, что именно совместное обучение стало тому виной, что эти мальчики, старше меня на год-два, были развращены постоянным созерцанием голых коленок под форменными юбками, и то, что я стал свидетелем (она не могла произнести слова «участником», господи Иисусе, как с таким потом жить, а ведь я и был участником, и об этом ей было, несомненно, доложено), то, что я оказался жертвой их развращенности, было следствием ошибки, которую она допустила и которую должна теперь исправить во что бы то ни стало.

«Зачем ты пошел с ними, Морено, если ты уже знал, чем они там занимаются, если это было не в первый раз, как ты мог нас так опозорить?»

Мой язык не поворачивался сказать ей, что мне было просто любопытно, я ведь ни о чем таком не знал, в семье у нас с половым воспитанием было туго, на наших полках не водилось даже научно-популярных книжек с изображением голых неандертальцев, даже художественных альбомов, какие могли листать, хихикая и толкая друг друга локтями, героини кортасаровской «Сиесты вдвоем» – одного из самых пронзительных описаний кошмара взросления. Если что-то и промелькивало на телеэкране, я никогда не успевал рассмотреть деталей: мама налетала коршуном, ведь я был самым уязвимым ее птенцом, таким впечатлительным и нервным. Мои руки пугали ее особенно, ведь они могли забраться не только в розетку, Морено, положи руки на стол сию минуту. Но она зря боялась: я и не думал об этом, я вообще был наивным лопухом до того, как впервые оказался в этом туалете со старшими мальчиками, игравшими друг с другом в совершенно безобидные, как я сейчас понимаю, игры, которые обошлись мне так дорого, ведь тот момент, когда дверь вдруг с треском распахнулась и женский крик разбился о кафель на сотню призывов, стал рубежом, навсегда отделившим меня от невинного детства.

Я избавлю вас от подробностей, дабы не перегружать рассказ излишней физиологией – в этот раз нам от нее и так никуда не деться. Доста-

точно того, что я был унижен, будто меня привязали к столбу на рыночной площади с табличкой «Пидор» на груди. Стыд и вина сжигали меня, я готов был умереть, лишь бы не идти на исповедь, лишь бы не видеть маминых слез. Вам это может показаться глупым: взрослые склонны недооценивать детские страдания, но я страдал тогда искренне и со всей силой своей обнажившейся – будто кожу содрали живьем – души. Я и не подозревал, что всё это – только начало.

Моя высокочувствительность проявляется не только в том, что я острее других реагирую на звуки и запахи, на эмоциональные стимулы, голод и стресс. Я тонкокожий в самом приземленном смысле, мой эпидермис доставляет мне массу неприятностей, и аллергические реакции – это далеко не самое ужасное. Я даже бороду отпустил исключительно для того, чтобы не бриться, потому что отрастающая щетина колола меня изнутри. Особенным чистюлей я при этом не был, и именно этот факт позволяет мне утверждать, что описанный выше печальный опыт стал причиной всех последующих мучений. Давайте уже перестанем ходить вокруг да около и зачитаем приговор этому несчастному.

Меня тошнит от любых (прописью: *любых*) телесных жидкостей в любых объемах, включая мои собственные, и этот эффект многократно усиливается при попадании вышеупомянутых субстанций мне на кожу. Точка, перевод строки.

И вот он я: шестнадцатилетний болван, только что переживший своё первое, острейшее, почти парафилическое влечение к другому человеческому существу, оставившее в памяти след настолько глубокий, что его можно, пожалуй, назвать влюбленностью – при всём моем трепетном отношении к этому слову, смысла которого я долго не мог разгадать. Во мне кипит и пузырится дьявольский коктейль из гормонов – тот самый коктейль, о котором никто из нас не просит, бармен сам сует нам в рот соломинку, другой рукой придерживая за шиворот для надежности, а на дверях табличка «Закрыто на учет», и ты знаешь, что никто не придет на помощь, это аттракцион для тебя одного, и это жутко и жутко интересно, и волнующе, и еще как-то, не передашь словами. У меня горят глаза, я похож на первых колонизаторов, мужественных и бесстрашных, от моего голоса девушки сами собой укладываются в штабеля, и мне даже делать ничего не надо, только щелкнуть пальцами. А потом – бэмс! – я налетаю головой на стену, потому что меня мутит от поцелуя, будто мне в лицо сунули осклизлую лягушку. А теперь представьте всё остальное, вернитесь к предыдущему абзацу и поплачьте у меня на плече (в метафорическом смысле, разумеется, ведь слезы – такая же противная жидкость, не лучше других).

В какой-то степени мне повезло, что я не запаниковал сразу, а сумел взять себя в руки (опять же, исключительно в переносном значении: я вхожу в число тех исчезающе редких людей, кто не мастурбировал ни разу в жизни). Я понял, что должен придумать стратегию – тогда мне казалось, что без секса жить невозможно, и мой мозг заработал с исключительным

усердием. Даже очередная ухмылка судьбы – аллергия на латекс, которую я обнаружил при обстоятельствах невиданной трагикомической силы – не сломила меня. К третьему курсу универа я научился играть роль нежного любовника, озабоченного исключительно тем, чтобы доставить удовольствие партнеру. Моему воркованию позавидовал бы любой голубь, при этом сердце мое было сердцем бойца, преодолевающего минное поле – и дело тут не только в готовности терпеть физический дискомфорт ради краткого триумфа, но и в том бесконечном наборе приемов и хитростей, позволяющих мне пересечь это поле и остаться в живых. Я должен был избегать поцелуев и предотвращать любые попытки приласкать меня самого, причем делать это требовалось как можно более незаметно и мягко – мне ведь ни в коем случае нельзя было терять своей *la bella figura*. Можете себе представить, как меня это выматывало. Со временем я стал замечать, что тело подает мне тревожные сигналы: даже легкие касания пальцев к моей коже вызывали болезненную щекотку, которая за считанные мгновения достигала предсмертной остроты. Это выбивало меня из колеи, и я терял остатки контроля. А когда я расстраиваюсь или пугаюсь, я начинаю неудержимо сквернословить. Давайте уже опустим занавес над этой бездарной комедией – вы теперь знаете достаточно для понимания сюжета.

Что бы ты посоветовала мне в такой ситуации? – спрашивал я Дару и сам же отвечал за нее: убей себя, Морис. Убей себя апстену. Такой вариант я тоже рассматривал, но это слишком радикальное решение проблемы, как по мне.

А потом моя плоть, отчаявшись достучаться до сознания, сказала мне: пошел-ка ты знаешь куда, приятель? Так я обнаружил, что стал обладателем Снулой рыбы™, навеки привязанной к моему телу.

Чтобы сразу расставить все точки над Ё – меня не парит произнести слово «член», как и вообще любое слово. У меня, вы знаете, язык без костей. Но слова не живут просто так, в словаре: надо сперва вставить их в контекст, прошу прощения за каламбур. Именно там слова раскрываются и играют, как актеры на сцене. И сейчас мне нужен именно этот актер. Представьте, что он заболел и вы смотрите выступление дублера – будет ли это так же захватывающе? Или, если вам ближе другая аналогия, представьте замену во время хоккейного матча. Нам ведь не нужен робот, забивающий гол в собственные ворота? Быть владельцем Снулой рыбы – не совсем то же самое, что быть импотентом: при должной подготовке можно достичь определенного успеха. Если через дохлую рыбу пропустить ток, она дернется весьма правдоподобно. Но суть в том, что она останется при этом дохлой.

Именно тогда я и подумал, что, возможно, корень моей проблемы в том, что я не являюсь нормальным здоровым гетеросексуалом. Я углубился в научно-популярную литературу, посвященную половым девиациям, и к тому моменту, когда Зак попросил меня начитать второй сборник его рассказов, я был теоретически подкован и готов нырнуть с головой в этот причудливый мир. Но, как я уже признавался ранее, мой интерес к извра-

щенцам так и остался исключительно умозрительным. Тогда я решил, что отныне буду асексуалом. Моё измученное тело оказалось благодарно мне, безболезненно загасив остатки либидо, так что я мог взирать на соблазнительные прелести обоих полов со спокойствием мудреца, достигшего нирваны. Я продолжал знакомиться и общаться, постепенно научившись мягко отстаивать свои границы. Когда в меня влюблялись, я старался не причинять никому страданий, прикрываясь то вымышленными браками, то своей неспособностью вступать в романтические отношения. В последнее я и сам потом поверил и оттого был вдвойне рад, что встретил Соню. А вы думали, мне хотелось разделить с кем-нибудь ипотеку? Мне нужен был кто-то, кому я мог принести чаю и вместе поваляться перед телевизором. У тебя что-то болит, я чувствую, говорила она. Дай-ка разомну. Я кротко протягивал ей руку – она знала, что я не люблю прикосновений, и ограничивалась тем, что растирала мне пальцы, приговаривая: ну ведь совершенно ледяные, как же так можно, сейчас кровь побежит, и станет полегче, и я думал, что, наверное, не всё так ужасно, и, по крайней мере, она вызовет мне скорую в случае чего.

Часть 2. Авария

1

В нашей местности роза ветров такова, что с востока дует редко, а если и дует, то несильно. Чаще всего ветер приходит с запада, куда обращены панорамными окнами наши главные комнаты: нижняя гостиная и две спальни. В такие дни старые рамы дрожат и поскрипывают, а потоки воздуха, обтекая дом, завывают в узком проходе между стеной и забором, отделяющим нас от соседей. Южный ветер, который летом сулит облегчение, а зимой балует редким снегом пологие окрестные горы, попадает мне прямо в окошко студии, как бы ни старался я его занавесить. Северный ветер, если он слабый, приносит ровный гул автострады, особенно заметный по ночам. В тот вечер, о котором я собираюсь сейчас рассказать, машин почти не было слышно: по стеклу шуршали мелкие капли, которые с размаху, как бисер пригоршнями, швыряло в окно моей спальни с северо-запада. Было еще слишком рано, чтобы ложиться спать – мы только недавно поужинали, и Соня с Дарой прибирались на кухне, а я поднялся к себе немного позаниматься, чтобы не мешать им своим пиликаньем. За окнами уже давно стемнело: шел второй месяц зимы. Я сел играть сюиты Баха. Весь вечер я отчего-то чувствовал себя взвинченным, стал даже подумывать, а не бросить ли мне пить кофе после ужина. Очень хотелось курить. Сигареты я держал в запертом ящике, ключ от которого, в свою очередь, хранился под замком – всё ради того, чтобы было время подумать, а так ли оно мне надо. Я решил схитрить: постою на воздухе просто так и, если не сильно замерзну, схожу за сигаретой. Курить-то все равно пришлось бы на балконе. Первый же порыв ветра чуть не сбил меня с ног. Впереди простиралась непроглядная тьма, лишь мерцали редкие огоньки на западном

склоне долины, да еще справа, вдалеке, горел синевато-белый фонарик велосипедиста. Хорошо, хоть по ветру едет, думал я, пока он приближался: погода такая, что хозяин собаки не выгонит. Я поёжился при мысли о том, каково сейчас бедняге, застигнутому по пути домой; взялся за ручку двери – и в тот же миг услышал приглушенный удар где-то рядом, за нашим забором.

Я скатился по лестнице и, не ответив на брошенный мне вслед вопрос, выскочил во двор и открыл калитку. Белый огонек светился метрах в десяти от нее, у самой земли. Велосипедист полулежал на обочине дорожки, опираясь на руку. Я что-то сказал ему – что-то самое обычное: вы в порядке? Он не ответил, всё еще пытаюсь сесть. Глаза мои понемногу привыкали к темноте. Холодный ветер пронизывал до костей: я стоял лицом на северо-запад. Не знаю, зачем я это отметил, просто так вышло, что я запомнил каждую деталь этого странного вечера. Велосипедисту наконец-то удалось сесть, и он, закрыв ладонями лицо, горько разрыдался. Я наклонился и тронул его за плечо.

– Очень больно, да?

– Ой, боже ты мой! – воскликнул Дарин голос из-за спины. – А у вас в доме нет ни одного фонарика, ребята, вы в курсе?

Я что-то сказал ей; подождал, пока рыдания поутихнут, и снова обратился к бедолаге: болит что-нибудь? Он помотал головой, но когда я помог ему встать, вскрикнул и вцепился в мою руку, как клешней.

– Послушай, давай-ка ты доковыляешь вон до той калитки: там светло, тепло и сухо, и мы посмотрим, что с тобой. Тебе еще повезло, что ты именно здесь упал.

Я говорил с ним всё время, пока вел его домой. Он был худеньким, невысокого роста и ездил без шлема – вот и всё, что я разобрал в темноте. Скорее ребенок, чем взрослый. Может быть, даже девочка, но с большей вероятностью мальчик. Дара катила за нами велосипед, Соня встречала в ярко освещенных дверях в глубине веранды. «Сюда, – скомандовала она, показав на диван. – Осторожней». Мы усадили его – это был подросток в голубых джинсах, заляпанных грязью, и в куртке, которую Соня тут же с него стянула, увидев темное пятно на локте.

– Она почти что врач, – сказал я ободряюще. – Не бойся.

Под курткой, несмотря на холод, была одна футболка. Мальчик уже не плакал и, не протестуя, позволил себя осмотреть. Кожа на локте была содрана, но кость, заключила Соня, скорее всего, в порядке. А вот колено вызывало у нее опасения. Я слушал ее и думал, что надо бы куда-нибудь сообщить о нем, прежде чем заниматься самолечением. Дара тем временем принесла антибактериальный спрей и обработала ссадину.

– У тебя есть кому позвонить, чтобы приехали и отвезли домой?

Его лица я всё не мог рассмотреть: щеки были испачканы грязью, сильно отросшие волосы падали на глаза. Головы он не поднял и лишь качнул ею в ответ на мой вопрос.

– Это нестрашно, мы тебя сами отвезем. Только скажи, куда.

Он снова сделал все то же неопределенное движение, будто не слышал меня. Я сел на краешек дивана.

– Парень, ты меня понимаешь?

На сей раз он повернул голову в мою сторону и кивнул. Его глаз по-прежнему не видел. Поза была напряженной, он обхватывал себя за плечи, словно пытаясь согреться. Правая штанина уже пропиталась кровью.

– У тебя есть кто-нибудь? Родные, друзья?

Я отчетливо помню это мгновение и пробежавший по спине холодок. Вот те на, думал я растерянно, и так же растерянно смотрели на меня Дара и Соня, а он не смотрел ни на кого и не шевелился, предоставив нам, троим незнакомым взрослым, решать, что с ним делать: покорно, доверчиво или равнодушно – этого мы не могли тогда знать. Мы знали только, что влипли.

– А живешь где? – ухватился я за последнюю соломинку.

Мальчик облизнул губы и попытался заговорить, но тут же смолк; начал снова: «Я...» – и рот его страдальчески исказился. Он заикался так сильно, что одна короткая фраза вымотала его до предела, и он задышал тяжело, хватая воздух ртом.

«Я один живу».

Дара всё той же бесшумной тенью исчезла и явилась снова, держа в руке стакан с водой; присела на диван с другой стороны и, пока он пил, не сводила с него взгляда. Над переносицей у нее пролегла морщинка.

– Ты не переживай, – заговорила Соня. – Посиди у нас, мы что-нибудь придумаем. Но я должна твоё колено осмотреть: может, тебя в больницу надо. С этим не шутят.

Мы переглянулись.

– Знаешь что, – сказал я, – сходи-ка ты в ванную и там разденься, чтобы мы тебя не смущали. Тут всего несколько шагов – справишься?

Мне пришлось помочь ему сделать эти несколько шагов. В ожидании, пока он выйдет, Соня гуглила на телефоне симптомы ушибов, а мы с Дарой обменивались ничего не значащими фразами. Его не было, как мне показалось, довольно долго, и я начал вспоминать, нет ли там в шкафчике чего-нибудь опасного. Нет, всё потенциально опасное мы держали в ванной на втором этаже. Едва я успел сделать это умозаключение, как дверь отворилась. Я подошел, чтобы он мог опереться на мою руку. Он умылся и стал похож на человека – совсем еще школьник, лет пятнадцати, с прыщами на подбородке и густыми светло-каштановыми волосами чуть повыше плеч, давно не чесаными, хотя и относительно чистыми. Глаза он прятал, то опуская их в пол, то прикрываясь челкой, отчего-то напоминавшей лошадиную, хотя овал лица у него был правильным, с крупными и почти красивыми чертами. Он опустился на диван и приподнял край полотенца, намотанного на бедра. Опухшее колено темнело страшным синевато-багровым пятном. Соня негромко поговорила с мальчиком, задавая вопросы так, чтобы он мог ответить одним кивком. Ему лучше не двигаться сей-

час, подытожила она. Вероятно, трещины в кости нет и всё обойдется, но это будет понятно через день-другой. А пока нужен лёд и покой, да еще бандаж наложить чуть погодя. Она вопросительно взглянула на меня, и я сказал: конечно, пусть остается, если сам не против. Как тебя зовут, приятель? Погоди, дай-ка ему листок бумаги, Дара, так будет проще.

«Леон» – аккуратно вывел мальчик, предварительно подумав.

Ты голоден, Леон? – спросила Дара. Обе женщины тут же кинулись окружать его заботой, как если бы эта архетипическая роль нужна была, в первую очередь, им самим, чтобы успокоиться. Они не замечали, что подросток крайне смущен таким мельтешением: ему прикладывали к ноге пакет со льдом, чирикали хором, старались его развеселить – я бы на его месте немедленно повесился. Пришлось вмешаться и раздать поручения. Дара полезла в холодильник, а Соня ушла наверх за бельем, чтобы постелить мальчику на диване. А я всё думал: как вышло, что он остался совсем один на свете, и куда он ехал в такой неприветливый вечер – домой? из дома? Почему он плакал так горько, а потом не уронил ни слезинки, хотя боль становилась лишь сильнее?

В какой-то момент он почувствовал мой взгляд, поднял глаза – и тут же опустил. Я даже не успел рассмотреть, какого они цвета.

2

К утру ветер улегся. В начале восьмого в спальне было еще темно, но птицы в парке уже пробовали голоса. Когда привыкнешь вставать с рассветом, никакой будильник не нужен, особенно если спишь с открытыми окнами. Я всегда так делал, а в эту ночь мне было даже жарковато: Соня включила посильнее отопление, чтобы мальчик не замерз. Ванная на втором этаже у нас всего одна, причем попасть в нее можно как из моей спальни, так и из коридора. Первое время нас это смущало – вернее, смущало меня, потому что Соня ко многим вещам относилась гораздо проще. Мы приделали задвижку и договорились, что будем пользоваться нижней ванной в случае необходимости. Я погасил за собой свет и спустился. В гостиной горел торшер, который мы оставили для мальчика. Мне было жаль будить его своей кофемолкой, и я постоял у стеклянных дверей, ведущих на веранду. Там уже светало, и за почерневшим от дождя деревянным забором проступил серый склон напротив. В небе тарахтел вертолет, заглушая птичьи трели. Я рассеянно думал, чем бы позавтракать, раз яйца закончились. В календаре, висевшем на холодильнике, я помечал, в какую смену работает Соня, потому что запомнить этого никогда не мог. Я забывал даты всех праздников, личных и общественных – кроме Рождества и наших с мамой именин; я не способен был держать в голове цен на товары и процентов выплаты за дом, а на бумажки со счетами, извлекаемые из почтового ящика, всякий раз смотрел как баран на новые ворота, потому что не мог понять, много это или мало. С появлением Сони жизнь стала немного легче, и мы даже ухитрились экономить с помощью скидок. Однако необходимость записывать, подобно маразматике, все цифры, появляв-

шиеся в моей жизни, весьма меня удручала. Хорошо, хоть со словами у меня никогда не было проблем.

Тем временем окоенок холма напротив позолотился солнцем, вставшим за моей спиной, и я сообразил, что уже больше половины восьмого. Сверившись с Сониным расписанием – она работала сегодня с утра – я достал из шкафа гремучую банку с кофейными зернами. Мне пришлось приспособливаться к новым объемам с тех пор, как Дара поселилась у нас, но задачи такого рода давались мне легче, чем арифметика, поскольку решались в значительной степени интуитивно. На мальчика я рассчитывать не стал, будучи убежден, что кофе – такой же взрослый напиток, как и вино. Мне, во всяком случае, ни того ни другого не наливали вплоть до совершеннолетия.

Когда утих натужный рев кофемолки, я обернулся в сторону дивана: там обозначилось предсказуемое шевеление. С минуту мальчик полежал смирно, украдкой (я это чувствовал) наблюдая за мной. Пока я пересыпал кофе в воронку, он успел сесть. Футболки он на ночь не снимал. Я подошел к нему и присел рядом: никто не любит, когда над ним нависают, даже собаки – так говорила Дара.

– Прости, что разбудил, дружище. Как твое колено?

Он поднял на меня глаза. Они были ореховые, очень прозрачные, словно видимые навывлет, как дом на соседней с нами улице, в чьи окна я любил заглядывать. Там никогда не задерживали днем занавесок, и за темными силуэтами мебели в комнате сквозила прохладная зелень парка с другой стороны дома. Вот такие глаза были у нашего нечаянного гостя. Он осторожно ощупал колено через одеяло, потом откинул его и осмотрел туго спеленатую ногу. Длинные пряди упали вдоль щек, и он стал похож на девочку, склонившуюся над куклой. Я спросил: «Больно?» Он кивнул.

– Ничего, это пройдет через пару дней. Но ты все-таки подумай, не надо ли сообщить кому-нибудь, чтобы не беспокоились. Ты в школе учишься?

Очередному движению его головы я не слишком поверил, но решил оставить расспросы на потом: по лестнице спускалась Соня, закутанная в теплый халат и при этом босиком. Дарины угги все еще топали где-то у меня над головой. Я поставил кофе и начал накрывать на стол, но держал ухо востро на случай, если девушки опять начнут кудахтать над больным, будто речь идет не о разбитой коленке, а о бандитской пуле, только что извлеченной из широкой героической груди. Они принесли ему пижамные штаны, поскольку джинсы всё еще сохли после стирки; проводили его в ванную и усадили за стол, ни на секунду не умолкая, так что даже у меня зазвенело в ушах. Я напомнил Соне, что ей нужно собрать ланч на работу и что она уже опаздывает. Это подействовало. Завтрак прошел в относительной тишине. Мальчик по-прежнему сильно смущался и избегал взгляда в глаза. Ел он не спеша, аккуратно орудуя ножом, которым намазывал мягкое масло и джем на половинку круассана. Это занятие, казалось, поглощало его целиком. Когда к нему обращались, он вздрагивал, словно выве-

денный из оцепенения. Проводив Соню, мы с Дарой постояли наверху, шепотом совещаясь, как нам распределить дела, чтобы не уходить из дома одновременно. У нее был только один четвероногий клиент во второй половине дня, и я сказал, что сбегая сейчас размяться и побуду с парнем, чтобы она смогла съездить в магазин.

Каждый день, если только не было сильного дождя, я отправлялся гулять, нашагивая в быстром темпе километров по шесть-восемь. Я никогда не думал о том, сколько раз за свою жизнь я обогнул земной шар, и отмахивался от Сониных предложений подарить мне шагомер: цифры не имели для меня значения. Бегом я тоже не интересовался – моё разболтанное тело не любит тряски, я и на Сонину лошадь-то взгромоздился всего однажды. Меня немедленно укачало, и, позеленев, я позорно сполз обратно по гладкому ковбойскому седлу. Вихлявый велосипед доставлял мне меньше неприятностей, но лучшим способом добраться из пункта А в пункт Б я упрямо считал прапрапрадедовское, неандертальское пешеходство. Я мог срезать углы, ввинчиваться в узкие проходы между домами, которые в нашем районе нередко снабжались крутыми лестницами, соединявшими две параллельные улицы; мерно шагая, я мог глазеть по сторонам без опаски наехать колесом на бортик, мог погружаться в свои мысли так глубоко, как хотел, нюхать чужие цветы, перегнувшиеся ко мне через забор. Мне не нужно было ничего припарковывать, чтобы заскочить за хлебом или занести на почту Сонину бандероль. Я никогда не терялся даже в тех кварталах, где бывал впервые: встроенный в мою голову компас выводил меня куда надо, и в лабиринте тупиковых улочек, сползающих в нашу долину, я ориентировался с чутьем опытной подопытной крысы. Я всегда знал, где солнце и каким боком надо к нему повернуться. Может, поэтому мне так везло в жизни.

Вернувшись, я застал Дару и мальчика тихо сидящими в гостиной. Она рассказала мне чуть погодя, что старалась его не тревожить: дала пульт от телевизора (книжки и журналы он отверг) и занималась мелкими делами то в доме, то на заднем дворе. Телевизор он так и не включил и просидел в уголке дивана в совершенном безделье. Замечая, что Дара направляется в его сторону, он притворялся, что смотрит в экран своего телефона, и тут же выпускал его из рук, едва она уходила. Со ступенек лестницы, ведущей на верхний этаж, ей была видна почти вся гостиная, а ковролин под ногами скрадывал шаги. Она замирала там, прежде чем спуститься, но ничего не происходило.

– А чего ты ждала? – спросил я, маскируя напускной шутливостью свои собственные опасения. – Что он полезет по шкафам?

– Да нет, просто... неужели ему не скучно так сидеть?

– Ну, может, он думает о чем-нибудь своем. Не переживай, я попробую с ним разобраться.

Я принял душ и сменил Дару на посту. Спросил мальчика, не нужно ли ему что-нибудь. Получив отрицательный ответ, я сел рядом на диван и обратился к нему доверительно и мягко.

– Слушай, мы немного беспокоимся. Если окажется, что тебя все-таки ищут, мы попадем в неудобное положение – ты меня понимаешь?

Он помедлил, взял свой телефон, потыкал в него и повернул ко мне. На экране светилось сообщение, гласившее, что отправитель сего во время катания на велосипеде с подружкой неудачно упал и проводит теперь вынужденный досуг в доме означенной подружки под ее неусыпным оком, а посему просит извинить его за отсутствие в неназванном, но несомненно известном обоим собеседникам месте. Сообщение было отправлено вчера поздним вечером. Полученный вскоре после этого ответ был не в пример лаконичней: «Понял. Развлекайтесь».

– Хорошо, – сказал я, не скрывая удивления. – Спасибо за честность, приятель. Могу предположить, что это ты не школьному учителю писал, верно?

После некоторой борьбы с речевым аппаратом ему удалось произнести: «На работу». Мне стало жаль заставлять его так мучиться, и я отыскал листочек с написанным накануне именем. Присовокупив к этому твердую книжицу и карандаш, протянул ему.

– Если захочешь что-нибудь рассказать о себе, мы будем очень рады. Но я не настаиваю, сам решай. И не волнуйся, тебя никто не гонит. Отдыхай, Леон.

3

Соня вернулась с работы около двух. Пока она была на нижнем этаже, я занимался делами у себя наверху, а потом мы поменялись.

– Ты видел? – спросила она, улучив момент. – У него выворотные ноги.

Я не очень понял, о чем она говорит, хотя и сам успел заметить некую странность, которую не могла замаскировать даже хромота. Походка казалась неуловимо манерной, при этом спину и голову он держал очень ровно, будто аршин проглотил.

– И что это значит?

– Да всякое может быть. Иногда выворотность просто от природы, но по осанке я бы сказала, что он из балетных. Хочешь, проверим? Включим какого-нибудь «Щелкунчика», якобы случайно.

– Не надо. Если он травматик, может триггернуть на ровном месте. Да и вообще, какая разница?

Я спустился в гостиную. Мальчик сидел всё в той же позе, в какой я его оставил: опершись спиной на подушки, сваленные в угол дивана. Мне сразу бросился в глаза листок бумаги, на котором прибавилось текста. «Можно?» – спросил я и, получив согласие, взял его в руки. Округлым ровным почерком с легким наклоном влево на листе было выведено что-то вроде фрагмента из резюме. Сразу под именем стоял год рождения, а дальше, в столбик – годы, проведенные, как я понял, с тем или иным родственником. Если верить этому резюме, нашему гостю было шестна-

дцать. До десяти лет он жил с мамой, затем следовали четыре года с дядей / (косая черта) дедом и год с отчимом.

– А что с ними теперь? – спросил я. – Где они?

Он жестом попросил листок обратно; нарисовал две стрелочки, которые, изгибаясь, тянулись от слов «мама» и «дед» в одну точку. В этой точке он вывел короткое и безжалостное «мертвы».

– Прости, – сказал я. – Мне очень жаль. А остальные?..

Он понурился и больше уже не отвечал. Я мысленно обругал себя за то, что нечаянно обидел беднягу своим любопытством. Листочек он вскоре куда-то заныкал, и его содержание я выдал остальным гораздо позже, дабы предотвратить сочувственные расспросы. Сказал только, что ему шестнадцать лет и что он где-то работает.

Я вышел во двор глянуть его велосипед, который мы пристроили накануне под крышу веранды. Это был простой городской велик с тонкими шинами и высокой посадкой – скорее девчачий: во всяком случае, на таком ездил в школу моя сестра Франческа. Именно от нее я узнал однажды – уловив мимоходом столь притягательную для ребенка интонацию восторженного ужаса – о мальчике из нашей школы, которого насиловал отчим. Я не вполне понял тогда значение глагола: мне было лет десять, сестра была двумя годами старше. Но в ее жарком шепоте, обращенном к подружке (меня они в пылу своей беседы не замечали) я почувствовал что-то важное – страшную тайну, которую я должен был непременно узнать. Я сумел затаиться, чтобы при случае, пустив в ход все свои уловки, выведать у сестры, что это за мальчик и что именно с ним произошло. Кикка долго отмахивалась и притворно возмущалась, пока наконец не выдала ответа на первый вопрос. Со вторым мне пришлось обращаться к более сговорчивому брату. Я по сей день не уверен, что бедный мой соученик не стал жертвой чьей-то шутки, столь же невинной, сколь и жестокой; что это не был пущенный кем-то, намеренно или нечаянно, слух. Ведь маловероятно, чтобы дети знали больше, чем учителя и социальные работники – хотя, признаться, я мало что понимаю в социальной системе, балованное дитя счастливых родителей. Так или иначе, я выследил его на большой перемени и разглядывал с безопасного расстояния, испытывая смесь любопытства и неумелой жалости. С тем же чувством, уже в старшей школе, мы бегали глазеть на парня из параллели, который резал вены от несчастной любви. В них обоих не было ничего особенного: пройдешь на улице и не заметишь. Второй был, кажется, миловидным, а у первого было узенькое, какое-то мышинное личико со щербинкой между зубами. Но мне чудилась на них обоих несмываемая печать, они казались другими, будто бы носили в себе страшную болезнь. Так, помнится, я смотрел в позапрошлом году на соседей по тесному казенному отстойнику с пластиковыми креслами и окошком регистрации, где пациенты ждали, пока их вызовут на химиотерапию. Я привозил Кикку в больницу по четвергам и после процедуры, часа через два, забирал обратно: она была слишком слаба, чтобы водить машину, хотя уверяла, что чувствует себя хорошо. Она и выглядела, как

всегда, элегантно и самоуверенной – даже с этим дурацким тюрбаном на голове, кокетливо повязанным яркой ленточкой. Я сумел убедить и себя, и домашних, что Кикка скоро поправится, что ей повезло получить диагноз на ранней стадии и в такой легкой форме – наилегчайшей из всех возможных. Я видел сестру прежней, в моей памяти она все еще катила на своем велике с развевавшейся по ветру цыганской юбкой. А вот соседи по отстойнику (пытаюсь все-таки вернуться к рассказу) отчего-то представлялись мне надломленными, обреченными вечно страдать от своей болезни. Так мальчик, однажды попавший в беду, никогда не избавится от шрамов. Я думал об этом, а сам сидел и крутил колесо, придерживая велосипед за раму. Мне почти удалось выправить «восьмерку», и глазу она была едва заметна. А вот попробуй-ка сесть и поехать.

Как только стемнело, я заступил на кухонную вахту: к ужину у нас были припасены *оссобуко*, а готовить их – дело небыстрое. Википедия сообщит вам, что тушеные с овощами куски телячьей голени – специфически ломбардийское блюдо, но это неправда, его с удовольствием готовят и едят и в других регионах Италии. Я предложил мальчику составить мне компанию: мне хотелось сгладить неловкость, а заодно попытаться немножко его растормошить.

– Ты случайно не вегетарианец? – поинтересовался я, расставляя перед собой на стойке бутылки с маслом и вином, миски и прочую утварь. Он мотнул головой. – Это хорошо. Знаешь, как выглядит розмарин? Нет? Пойдем, покажу.

Мы вышли с ним на веранду. Я сорвал с куста веточку, растер в пальцах самую верхушку и дал ему понюхать. Он сморщил нос, и меня это почему-то развеселило – а может, я просто обрадовался, что он оживает. Помню только, что я рассмеялся, а он поднял голову и посмотрел на меня. Мы вернулись в дом. Я достал нож, объяснил, как надо порезать морковь, и занялся мясом. Наука, в общем-то, нехитрая: обмотать каждый кусок сырой ниткой, обвалить в муке с солью, пока греется масло. Руки всё делали сами, а я, как обычно, думал о своем. Страхнул с куска мяса лишнюю муку, выложил его на дно кастрюли, аккуратно, чтоб не плеснуло маслом, и потянулся за следующим.

– Ты п-п-пальцы обожжешь, – услышал я за спиной. И еще раз, громче и настойчивей: – Эй, т-ты обожжешься.

– Дай тогда щипцы, – сказал я. – Во втором ящике.

«Ну что за дурак», – было написано на его лице. Я не стал объяснять, что всегда беру мясо руками, потому что мне так удобнее, – я вообще сделал вид, что не придал его реплике никакого значения. Оценил идеально порезанную морковь, похвалил его и занялся луковицей. Я молчал, прислушиваясь к странному чувству, похожему на приятную слабость после нагрузки, но не разлитому по телу, а засевшему где-то в груди. У него был довольно высокий голос, еще не до конца сломавшийся: чистые нотки чередовались с хрипотцой. Заикание усиливало впечатление детскости, особенно беспомощной на фоне его манеры держать себя; и этот контраст

почему-то меня растрогал. Ну ты и рассентиментальничался, с удивлением говорил я себе, и резал лук, и плакал, и радовался, что можно не прятать слез.

4

Наступило воскресенье. Для меня оно мало отличалось от прочих дней недели: я всегда вставал в одно и то же время и занимался более-менее одним и тем же. А вот наш дом воскресным утром преображался: Дара поднималась раньше обычного, чтобы замесить тесто. Она любила печь хлеб еще до того, как мы познакомились, но я научил ее делать это самым простым и эффективным способом: без утомительного вымешивания руками, без хлебопечек, комбайнов и прочих наворотов – так, как делают в Италии и у меня в семье. Теперь по субботам она ставила опару, а наутро принималась священнодействовать. *Паньотта* рождается буквально из ничего: воздух, вода, огонь и кислото пахнущая опара, призванная тут символизировать землю, – вот и все ингредиенты. К тому времени, о котором я рассказываю, мне уже незачем было стоять у Дары над душой: она справлялась без моих подсказок. В то воскресное утро я тоже не спешил. Когда я спустился, она уже мяла, будто скульптор, свое будущее творение, шлепала бесформенной пока еще заготовкой о каменную столешницу, припорошенную мукой, и непринужденно болтала с кем-то. Я решил, что Соня меня опередила, но внизу не было никого, кроме Дары и мальчика, сидевшего на диване. После вчерашнего ужина он как будто потеплел, хотя продолжал упрямо молчать, заменяя даже короткие фразы движениями головы. Скорее всего, это был путь наименьшего сопротивления: зачем напрягаться, если тебя и так поймут? Но что-то неуловимо изменилось, и Дара, которая рассказывала ему про кулинарные традиции своей родины, пока возилась с тестом, чувствовала, что ее слушают. Он не знает, что такое Советский Союз, делилась она потом. Вас тоже этому не учили в школе? Да они ничего сейчас не знают, отвечал я сокрушенно, хотя о нынешних подрастающих мог судить разве что по своим племянникам.

Я подошел к Даре поздороваться и оценить творческий процесс. Прежде чем продолжить, она спросила, адресуясь в гостиную: хочешь посмотреть, как я буду его сворачивать? Мальчик не спеша подошел к кухонной стойке. Дара уже сформировала толстый валик, похожий на тюленью тушу, и мягко массировала его, переворачивая с боку на бок, чтобы впитало побольше муки. Потрогай, если хочешь, предложила она. Тот потыкал пальцем, оставив неглубокую вмятину. Я подивился, какие у них разные руки: Дарины были маленькими и смуглыми, а у него кожа была блее этого теста, а кисть длиннее раза в полтора, с кровоподтеком на ногте и следами двух заживших порезов. Повинуясь странному порыву, я провел ладонью по столешнице, словно хотел смести в сторону лишнюю муку. Моя собственная клешня, отчеркнутая с одной стороны длинным рядом жестких волос, казалась еще темней на ее фоне, а вот размер ее был почти таким же, как у мальчика. А мне-то всю жизнь казалось, что у меня

большие руки. Психологи бы, наверное, сказали, что я склонен преувеличивать собственные достоинства.

По воскресеньям мы завтракали поздно, а утром только пили кофе. Хлеб поспевал ближе к полудню. Летом, если день был погожий, мы накрывали стол на веранде, а зимой чаще сидели внутри, глядя в парк через застекленные двери. Столы у нас были прямоугольные, и всякий раз, когда мы садились за трапезу, получалось зияние. Теперь гармония восстановилась: я сидел во главе стола, гость напротив, женщины по бокам. В середине композиции мы водрузили нашу паньотту, едва успевшую остыть. Я любил этот момент, чью ритуальную торжественность мы свято соблюдали. Как и мой отец когда-то, я делал паузу, которую каждый из собравшихся мог заполнить собственным смыслом, после чего выпрямлялся во весь рост и вонзал зубчики ножа в безупречно хрустящую корку. Вау, только посмотрите на это, восхищалась Соня – это была ее часть ритуала, ее всегда изумляло воздушное нутро паньотты, так не похожее на поролоновый мякиш австралийского хлеба. Дара принимала похвалы с достоинством, к которому сегодня примешивалось любопытство. Она наблюдала, как мальчик берет кусок, нюхает его и вертит в руках. Помнишь, что мы делали с тестом? – спросила Дара; сперва растянули его, чтобы подышало, а потом – что мы с ним сделали, Леон? Он подумал и сделал жест рукой. Скажи, пожалуйста, словами, детка. Он запнулся, но договорил: завернули; дважды. Правильно. Видишь, как легко. Он облизнул губы и покраснел. Его смущение передалось мне через весь стол, будто этот последний сам задрожал мелкой дрожью. Я подумал, что надо бы с ним поаккуратней, но не стал вмешиваться, оставив это на потом.

После завтрака я пошел наверх немного поработать, а Дара уехала на велике к клиенту. Соня осталась наводить на кухне порядок. Минут через сорок я решил убедиться, что мальчик не сидит один или, по крайней мере, ему есть чем заняться. Я начал спускаться и, достигнув середины лестницы, вдруг увидел Сонину голову, лежащую на краю дивана лицом вверх. Чье-то белое тело наплывало на нее, как морская пена, и неторопливо откатывалось назад. Я отпрянул одним судорожным движением; вцепился в перила и застыл на ступеньке. В голове стало пусто, мысли проскальзывали в нее по одной, будто через бутылочное горлышко. Соня сказала мне неправду? У нее есть бойфренд? Но почему в гостиную? И куда делся... тут мне окончательно поплохело, потому что я понял, что именно мальчика-то я и видел – его узкие плечи, его волосы. Было очень тихо – а может, я просто ничего не слышал из-за звона в ушах. Лишь когда скрипнул диван, я поборол оцепенение и бесшумно поднялся. Там, в коридоре между спальнями, меня настигло тошнотворное осознание собственной беспомощности. Я был тем самым трусом, чье бездействие хуже, чем злая воля. И теперь было уже поздно вмешиваться.

Я постоял истуканом несколько минут, пока не услышал на лестнице шаги. Сонино лицо было спокойным, и мой вид ее будто бы удивил. Я

поманил ее в свою комнату, закрыл дверь и осторожно поинтересовался, не надо ли мне как-то на это отреагировать.

– Да нет, всё нормально. Я сама виновата. Думала ему мышцы размять немного: он такой зажатый, будто у него внутри что-то болит.

– А он?

– А он возбудился.

– Велика важность.

– Ты не понимаешь, Морис. У него глаза были, как у собаки. Вот ты сидишь на лавке и ешь бутерброд, а она смотрит. И знаешь, по-моему, он врет, что ему шестнадцать. Он слишком уверенный, подросток бы суетился.

– Может, просто заторможенный?

– Нет, он явно это делал много раз. А, с другой стороны, тело...

– Что тело?

– Тело у них гуляет, сам знаешь. Может быть сколько угодно лет. Но я бы сказала, лет пятнадцать, не больше.

Блядь, подумал я. Не в том смысле, что ты, Соня, блядь – ты очень хорошая и всё такое, но, блядь, Соня, кто просил тебя к нему лезть, мы же огребем от ювенальной юстиции.

– И еще, – добавила она, – у него был презерватив. Он его достал из кармана, как фокусник.

– Почему как фокусник? – спросил я машинально.

– Потому что его там не было, когда я джинсы бросала в стирку. Я карманы проверила.

Значит, он его вынул, когда пошел в ванную раздеваться в самый первый вечер. Спрятал за зеркало, потом переложил обратно. Эта змеиная предусмотрительность встревожила меня сильнее, чем всё остальное. Я понял, что мальчишку пора везти домой, где бы он ни жил. Вспомнилось невольно, как всего час назад мы сидели за столом, и на душе стало совсем паршиво.

Увидев меня, он напрягся. Я не хотел устраивать разборок, но как без этого объяснить моё внезапное решение, тоже не сумел придумать. Оставалось надеяться, что он понимает тонкие намеки.

– Твоя нога, я вижу, лучше?

На его лице читалось: «Мужик, ближе к делу».

– Слушай, не хочу показаться занудой, но меня продолжает беспокоить, что мы ничего о тебе не знаем – кто ты, откуда, где работаешь. Хотелось бы чуть больше ясности, если можно.

Последовало долгое замешательство – он явно ждал другого и искал теперь ответа в хитросплетении ниток на своих штанах.

– У меня есть д-д-док...

– Документы?

– Да. Но они д-дома.

– Может, мы тогда съездим к тебе домой, если ты не против?

Он был не против. Я вздохнул с облегчением. Про его велосипед я напоминать не стал, будто мы и правда собирались съездить всего на часок.

– Какой твой адрес?

Он написал на бумажке: «В Рокси автосервис около "Макдака"». Более внятного объяснения я не дождался и с ворчанием полез в городской атлас. Мальчик следил за мной краем глаза, потом достал телефон и в два счета нагуглил искомое, полностью меня посрамив. Ехали мы минут пятнадцать. Автосервис притулился на задах торгово-промышленного квартала, выходящего фасадом на шумную дорогу. По случаю выходного магазины и офисы были закрыты, отчего выглядели особенно тоскливо. Гаражная дверь автосервиса была опущена; мы зашли через боковой вход и, миновав коридор, попали в каморку с оконцем, забранным решеткой. Вдоль стены стояла узкая кровать, а в углу барный холодильник и шкаф. Ни слова не сказав, мальчик достал из шкафа пластиковую папку на резинке, порылся внутри и протянул мне лист формата А4. Свидетельство о рождении.

Его звали Илай. Шестнадцать ему исполнилось полгода назад, в день именин моей мамы. Его собственной маме было семнадцать, когда она его родила. Графа «Отец» была пустой. Я вчитывался в эти скупые казенные строки, словно хотел извлечь из них какой-то скрытый смысл – лишь бы не смотреть на убожество его жилища и на него самого.

Илай.

– И давно ты здесь ютишься?

– С января, – сказал он и добавил с усилием. – Р-работаю тут. Легально.

– А питаешься чем?

Он пошуршал в углу; я поднял голову и увидел упаковку от китайской быстрорастворимой лапши, извлеченную, видимо, из мусорного ведра.

– Что, денег не хватает?

– Хватает.

Он так и стоял, держа в руках свою папку. Если бы он сел на кровать, уткнулся в телефон, мне было бы легче уйти. Надо было сразу сказать: всё, парень, я тебя везу домой. Баста. Но нет, ты повел себя как идиот, как слабак. Расхлебывай теперь. *Стронцино*².

«Он такой зажатый, будто у него внутри что-то болит».

– Слушай, у меня, возможно, найдется для тебя работа получше. Но я не уверен на сто процентов. Ты мог бы временно отпроситься, чтобы не увольняли совсем? Если, конечно, тебе самому это интересно. А жить можешь у нас пока.

– Да, – выдохнул он, едва дослушав меня.

– «Да» по всем пунктам?

Он кивнул. Он даже не спросил, что за работу я ему предлагаю.

² Уменьшительное от *stronzo* – мудак (ит.).

Мы сели в машину, закинув на заднее сиденье спортивную сумку с его вещами. Я заметил, что он волнуется, словно я мог в любой момент передумать.

– И вот еще что. Ты и Соня... Я надеюсь, что этого не повторится. Ты меня очень обяжешь, если оставишь ее в покое. Я понятно изъясняюсь?

Он понуро тряхнул челкой.

Я ехал и думал, что тяжело и неизлечимо болен на голову. Я везу сексуально озабоченного подростка к себе домой, где живут две молодые женщины. Я ничего о нем не знаю. Он вечно молчит и странно ходит. Он мучительно изломан, и эта мука передается мне. Я хочу его спрятать и никому не отдавать.

5

Разумеется, никакой работы для него у меня не было. В тот момент, когда меня осенило, я думал про наш подвал, до которого не доходили руки с самой покупки дома. Не знаю, почему я вспомнил о нем; должно быть, созерцание голой комнаты запустило цепную реакцию: Дара что-то говорила о ночлежке для собак, которую можно было бы устроить в этом подвале. Так или иначе, это был чистой воды блеф – а вернее, импровизация. В юности мне так тяжело давалось принятие решений, я так бесконечно долго взвешивал все за и против, что мой внутренний психотерапевт не нашел ничего лучше, как одним пинком выбить меня из зоны комфорта. Зак неоднократно предлагал мне во время наших музицирований поджевать, как делают джазмены, но я до того боялся облажаться, что играл строго по нотам, и никак иначе. Заку было легко: его способности были не чета моим – и тем ценнее оказалось вдруг обнаружить, что я тоже могу импровизировать. Конечно, всегда есть риск попасть не в ту тональность, но без риска не бывает и выигрыша.

Итак, я сымпровизировал – и, судя по всему, довольно удачно, потому что ни Соня, ни Дара будто бы не удивились тому, что случайно приблудившийся мальчик поселился у нас на неопределенный срок. Гораздо больше их интересовали детали.

– Как нам все-таки тебя называть? – спросила Соня.

Он не ответил, всем своим обликом демонстрируя готовность называться хоть горшком. Мне пришлось взять инициативу, спросив у Дары: а есть имя Леон в русском языке?

– Есть Лев, это то же самое по смыслу.

– А Илай?

– Нет, никогда такого не слышала.

Соня по привычке сунулась в телефон, показала ей что-то на экране, и Дара изумленно воскликнула:

– Илья! А я всегда думала, что это чисто русское имя. Есть такой герой из сказок, он сперва сидел на печи тридцать лет, и еще три года, – донесла она зачем-то, – а потом слез и пошел всех рубить в капусту.

– Маньяк, что ли?

– Нет, зачем? Он хороший был, сильный. Кого надо, спасал.

– Ну? – обратился я сразу ко всем. – Будем голосовать? А может, еще что-нибудь придумаем, раз уж нарекаемому всё равно?

Мальчик, до сих пор безучастно глядевший в пол, наострил уши. Я не знал тогда, прочитал ли он за свою жизнь хоть одну книгу, но был готов поклясться, что ему знаком один из элементов мифотворчества: дарующий имя получает власть над именуемым. Подумайте об этом, когда в следующий раз откроете роман или повесть – этот прием любит прятаться в хитросплетении длинных сюжетов, изобилующих иносказаниями, отсылками и аллегориями. Если кто-то из персонажей книги с завидным постоянством переименовывает своих сокнижников – значит, с ним что-то неладно: мания величия, участие в тайном культе, а то и вовсе божественная природа. Я не обладал ни тем, ни другим, ни третьим, а до эмоциональной близости, позволяющей нам, живым людям, давать другим нежные или шуточные прозвища, было еще далеко. Я не имел права, и он знал об этом. Выпрямился, поднял голову и, убедившись, что на него смотрят, сделал жест, который в наше время монополизирован азиатскими инстаграмерами, а прежде означал знак победы – или число два.

– Второй вариант? – уточнил я. – Илай?

Он кивнул.

– Я рад, что ты так решил. Мне кажется, это правильно. Тебе подходит.

И снова, как за столом этим утром, его лицо порозовело – едва заметно, словно к нему поднесли кусок багряной ткани, бросивший цветную тень. Я что-то сказал, чисто формально, чтобы распустить наше собрание и дать мальчику возможность отдохнуть. Это был длинный день, вместивший столько событий, что хватило бы и на неделю. Наш мумитрольский дом заполнился жизнью до самой крыши – не хватало разве что собаки или канарейки, но к появлению животных я был решительно не готов.

Оставшись с Дарой наедине, я сообщил, пряча глаза, что нам, видимо, придется отдать Илаю мою студию – в конце концов, у меня в спальне хватит места, чтобы поставить стол, колонки и прочее барахло, если только у нее, у Дары, нет других соображений... Морис, сказала она со вздохом, я так понимаю, что смысл твоего вопроса состоит в том, соглашусь ли я переселиться к тебе. Я не против. Мы можем купить вторую кровать – все равно не сегодня-завтра ехать за мебелью для мальчика. А пока перекантуемся как-нибудь.

Она произнесла это так спокойно, что все мои тревоги тут же съжились и показались смехотворными мне самому. Благостное расположение духа не покидало меня до позднего вечера. Мы перетасили Дарины пожитки в мою комнату, поужинали и позанимались каждый своими делами. Незадолго до отбоя Соня объявила, что не может отыскать надувной матрас, который мы когда-то купили для гостей – вероятней всего, он валяется где-то в подвале, и коль скоро я все равно собрался разгрести его,

то отложим поиски, ей завтра рано вставать. С этими словами она зевнула и ушла в ванную, равнодушная к моим переживаниям.

Вы можете подумать, что я рассказал вам о себе не всё и достану сейчас из рукава очередную причуду: патологическую стыдливость, нелюбовь к совместному сну, ночное недержание – чем там еще страдают эти мимозные личности? Спешу заверить вас, что в сундучке с моими сокровищами почти не осталось несимпатичных тайн, о которых вам стоит знать. Единственное, чего я боялся, так это женской, искренней, самозабвенной до героизма веры в то, что если у мужчины проблемы в постели – так это только потому, что он еще не встретил ту единственную, кто сумеет его исцелить. Сами женщины – вернее, те из них, кто по разным причинам отвергает домогательства сильного пола – тоже нередко слышат в свой адрес: «Это ты просто хорошего мужика не встретила» – но и в этом случае, да простят меня читательницы, эти экспертные мнения чаще всего высказываются женщинами. Одним словом, я панически, будто девственница, боялся приставаний, поскольку уже имел унижительный опыт такого рода. Мне едва перевалило за тридцать, и диагноз я уже себе поставил, но прелестная итальянка по имени Анита оказалась настолько приятной собеседницей, а затем и душевным товарищем, что я не заметил, как мы оказались с ней под одним одеялом, несмотря на все заверения (а скорее, благодаря им) в моей прискорбной неромантичности. Несоответствие формы и содержания – моя беда, которую я уже вскользь упоминал – в сто пятнадцатый раз сыграло со мной злую шутку, на сей раз особенно цинично. Я уже не был бойцом, преодолевающим минное поле, – я был зайцем, удиравшим от своры борзых. Мне не раз потом снился Анитин рот, красивый, чувственный и беспощадный, и я просыпался в холодном поту. Я не мог допустить, чтобы это повторилось.

Стоя на ледяном полу ванной, перед дверью, отделявшей меня от некогда безопасной холостяцкой берлоги, я перебирал в уме наиболее вероятные сюжетные повороты. Худшее, что могло произойти, – неприятное объяснение и мой уход на диван в гостиную. Такое я был способен пережить. Я тихо пробрался к кровати, освещенной ночником, и занял полагающуюся мне половину. Дара не спала. Когда я лег, она не изменила позы – на боку лицом ко мне, укрытая до подмышек, голые руки поверх флисового пледа, на плечах – тонкие лямки невидимого мне белья. Лицо было задумчивым и серьезным.

– Интересно, он уснул? – спросила она полупшепотом.

Застигнутый врасплох, я даже не сразу сообразил, что она говорит об Илае, которого я незадолго до того отправил в ванную на первом этаже, чтобы не создавать очереди, а затем проводил до двери его комнаты.

– Вряд ли. Впечатлительным людям трудно спать на новом месте, да еще после стольких событий.

– А он впечатлительный?

Меня удивил ее вопрос. Поразмыслив, я понял, что внешних признаков, намекающих на тонкую душевную организацию нашего гостя, и в

самом деле было не много, но я чувствовал, что он не так прост, каким кажется с виду.

– А ты думаешь, обычный пацан пошел бы в балет?

– Ну, может, у него кто-то из родственников хотел реализовать свою мечту за чужой счет. Так бывает.

Воображение нарисовало мне одышливого толстячка, с тоской взвизгивающего на фотографии поджарых балерунов, развешанные по стенам. Я запомнил, что Илай несколько лет жил с дядей или дедом; оба в равной степени годились на роль обиженного жизнью неудачника, волею судеб ставшего опекуном для осиротевшего ребенка. Вполне вероятно, что в итоге он не выдержал и сбежал, чтобы скрыться под вымышленным именем у каких-нибудь добрых знакомых: о неформальности отношений Илая с работодателем я мог судить по интонации их смс-ок. Этому, однако, противоречила готовность мальчика пойти со мной – готовность, которую я склонен был расценивать не как импульсивный, но как обдуманый поступок. Сделав это умозаключение, я ощутил тревожный холодок и заставил себя подумать о чем-нибудь другом: не хватало еще, чтобы я лежал тут всю ночь, терзаясь сомнениями. Недостаток сна делал меня раздражительным тупицей с головной болью.

– Ш-ш-ш, – сказал я. – Не забудь, что он прямо за этой стеной, а у стен есть уши – особенно в таких хлипких домиках, как наш. Не будем ему мешать.

– И то правда, – шепнула Дара, и я, мысленно возликовав, погасил свет.

6

Позволю себе повторить и акцентировать одну фразу, сказанную мною в первой части: мы раскрываемся до тех пор, пока нам комфортно это делать. Я свято верю в то, что любое вмешательство в частную жизнь человека без его ведома – исключительно мерзко. Мобильник нашего гостя, обернутый в темно-коричневый чехол, с первого же дня сделался привычной деталью дивана, почти сливаясь с ним. Если его хозяину случилось ненадолго отлучиться, телефон оставался доверчиво лежать на месте. Как-то я заметил мимоходом, что мальчика на диване нет, а Соня держит в руках уже раскрытый чехол и тычет пальцем в экран.

– Запаролен, – сообщила она мне разочарованно.

Я зашипел разъяренной коброй, выхватил телефон у нее из рук и метнул, как гранату, обратно в подушки.

– Твою мать! Ты охренела?

Мне пришлось отложить дискуссию, потому что сбоку от нас стукнула дверь. Но и потом, по здравому (якобы) размышлению, Соня ответила, что я зря психовал и ничего секретного она смотреть не собиралась, а просто проверила кармашек чехла, где лежала всего-то одна предоплаченная карточка да измятая двадцатка... В этом месте я приказал ей немедленно заткнуться и никогда больше такого не делать. Как только Илай занял Да-

рину спальню, я сразу дал понять обеим женщинам, что категорически не одобряю попыток проникнуть туда и порыться в его вещах – пусть даже с самыми благими намерениями. Вещей, впрочем, у него было мало – настолько мало, что на следующий день Соня вернулась с работы позже обычного и принесла мешок одежды. Примерь, сказала она, и выбери что понравится, остальное я обратно отнесу. Банк ограбила, что ли? – поинтересовался я. Ты как маленький, скривилась Соня: это добро в «Армии спасения» три копейки за кило. Вечером того же дня полупустой мешок был обнаружен аккуратно сложенным на диване. «Спасибо» Илай не сказал, как не делал этого и в других ситуациях, где принято благодарить чисто на автомате, из чего я сделал вывод, что либо он очень давно не жил в нормальной среде, либо его вообще никогда не долбали хорошими манерами. Мы трое, не сговариваясь, отнеслись к этому философски и тоже не стали долбить его по мелочам. До мебельного магазина мы так и не добрались: письменный стол нашелся почти задаром на местной барахолке, а нужда во второй кровати отпала сама собой. Мне понравилось шепотом болтать с Дарой перед сном: в этой целомудренной близости было что-то уютное – как в детстве.

На третий день после того, как Илай переехал к нам, Соня собралась навещать Бадди. Я вспомнил наш удачный визит туда полгода назад и подумал, что мальчику иппотерапия тоже пошла бы на пользу. Он не выразил энтузиазма, но и отказываться не стал. День выдался зябкий; Илай надел свитер, купленный Соней, а сверху свою джинсовую куртку. Он застегнулся наглухо, но ворот свитера всё равно торчал. Это смущало мальчика; сидя в машине рядом со мной, он украдкой пытался загнуть его так, чтобы было незаметно, а я гадал, что именно вызывает у него дискомфорт: необходимость признать, что принял подарок? Стыд из-за неумения благодарить – или всего лишь телесная чувствительность? Я и сам не люблю тесных воротников, мне вечно кажется, что они меня душат. При этом морозить горло мне было не с руки, и я предусмотрительно замотался шарфом. Илай же к концу дороги переупрямил-таки воротник и был теперь похож на цыпленка со своей голой шеей. Выйдя из машины, он нахохлился, сунул руки в карманы и встал поодаль, не принимая участия в разгрузке. Я подумал, что он не прочь бы вернуться в тепло салона, но не хочет выглядеть слабаком на фоне нас, таскающих мешки. «Будешь смотреть лошадей?» – окликнула его Соня чуть погодя. Мы подошли к ограде, Дара – с пакетом яблок наготове. Бадди был один: другую лошадь чистили в загоне, еще одну их соседку куда-то перевезли.

– Не бойся, он не кусается, – Соня обернулась к мальчику. – Он вообще добряк, хотя ему есть за что обижаться на людей.

Пока она рассказывала его историю, Бадди настойчиво требовал хозяйкиного внимания – тянулся губами к ее рукаву и время от времени кивал головой, словно подтверждая: да, так всё и было.

– Ему, кстати, лет шестнадцать, как тебе, – добавила Соня в заключение. – Плюс-минус: документов-то нету, по зубам определяем.

Илай смерил недоверчивым взглядом стоявшего перед ним великана.

– Его б-б-били?

Мы все притихли, до того непривычно было слышать не просто голос мальчика, а заданный им вопрос: прежде он только отвечал на наши.

– Вряд ли, – поразмыслив, сказала Соня. – Он бы тогда вообще людей боялся. Его просто бросили, он никому не был нужен. А теперь – смотри, как расцвел.

Она похлопала коня по шее, и тот величавым движением вскинул свою огромную голову, перегнулся через ограду и нежно прильнул носом к ее груди. Соня засмеялась, стала чесать ему лоб, а он опустил длинные ресницы и замер в совершенном блаженстве. Время от времени он вытягивал язык, касаясь ткани Сониной толстовки деликатными движениями, будто ощупывал ее.

Дара собиралась сегодня прокатиться, и Соня принялась седлать Бадди. Мы остались у выпаса вдвоем. Жидкие солнечные лучи растекались в тумане – тени были едва видны на влажной изумрудной траве, и так же смутно проступали силуэты деревьев вокруг. От дыхания струился пар, в рассеянном свете все движения казались замедленными и исполненными особого смысла. Воздух был неподвижным; тишину нарушало лишь конское фырканье, густое и протяжное, как урчание мотоциклетного мотора. Если б не холод, я бы так и стоял в этом странном оцепенении, пока тело мое не растворилось в тумане. Но я совсем продрог, и созерцание Илая с его шеей, начинавшей уже синеть, сделалось невыносимым.

– На-ка возьми, – я стянул с себя шарф. – Простудишься.

Он помотал головой и для верности сделал полшага в сторону. Затем покосился на меня – я все так же держал в руке шарф, не собираясь сдаваться, – и неловко, окоченевшими пальцами расправил свой воротник. Давай пройдемся, предложил я, пока совсем не околели. Мы обогнули тренировочную площадку, глядя, как Бадди несет на своей широкой спине маленькую наездницу, описывая круг неторопливым шагом. Соня держала его на корде, поводья были брошены на конскую шею. Я знал, нахватавшись то там, то сям, что лошадь – животное пугливое и непредсказуемое, за каждым углом ей мерещатся опасности. Мне стало неуютно при мысли, что Бадди может сделать резкий маневр. «Никогда не кричите рядом с лошадьми», – предупреждала нас Соня, и теперь я молчал, не осмеливаясь ни выразить беспокойство, ни подбодрить Дару. Поймав ее взгляд, я помахал рукой, и она улыбнулась в ответ: ее собственные руки крепко сжимали край седла. Я жестами показал, что мы отойдем – очень холодно; спросил Илая: посидишь со мной или тут погуляешь? Ответ был очевиден, и мы ретировались в машину, успевшую остыть. Ключи были у Сони, и подогреть салон я не мог, поэтому забрался на заднее сиденье и приготовился терпеливо ждать. У меня была с собой книжка, но я стеснялся вот так сразу открыть ее, предоставив мальчику развлекаться самому. В конце концов, он с нами не напрашивался. Я сказал: потерпи еще немного, скоро

поедем домой. Он коротко глянул из-под челки, не переставая растирать кончики пальцев. Руки лежали на коленях, и я вдруг заметил, что левая ладонь, обращенная ко мне, вся исполосована длинными тонкими рубцами.

– Это ты на работе так приложился?

Он опустил глаза и ответил очень тихо:

– П-п-порезался.

– Чем, если не секрет?

– Ножом.

В голове у меня проскочило ехидное: «Десять раз?» – но я вовремя прикусил язык. «Порезался». *Порезал-ся*. Я же когда-то читал об этом.

– Прости, что спрашиваю... если не хочешь, не отвечай. Ты резал себя?

Он еще сильнее понурился; стиснул одной рукой другую и мелко, по-детски, покивал.

Я не знал, что сказать: любое слово сейчас прозвучало бы для него неискренне. Мне хотелось потрепать его по плечу, но даже этого я не мог сделать, боясь ненароком оттолкнуть его. Он был таким беззащитным, глупый маленький цыпленок. Я снова снял шарф и теперь уже не стал деликатничать, а сложил его вдвое и накрыл им руки Илая: возьми, он теплый, я его нагрел. Как же нам... погоди, ведь девчонки что-то там собирали утром, складывали в сумку, чтобы взять с собой. Где эта сумка? Я перегнулся через переднее сиденье и пошарил на полу – точно, вон она. Смотри, Илай, тут есть термос. Ну-ка, что там внутри? Я отвинтил крышку и понюхал: пахло бергамотом. Будешь пить? Он не стал заставлять себя упрашивать, и я налил ему чаю и наблюдал, сам отгаивая сердцем, с каким благодарным видом он принимает у меня картонный стаканчик, обхватывает его своими израненными ладонями, обжигает губы и морщится. Что бы мы делали без женщин? – шутливо спрашиваю я его и наливаю чуть-чуть себе, хотя не люблю ароматизированный чай, просто мне хочется занять чем-то руки и сидеть так с ним долго-долго, не думая о том, что где-то в его комнате спрятан нож, который я не стану искать, как бы сильно мне этого ни хотелось.

7

Единственным местом в нашем доме, куда никто никогда не заглядывал, было пространство под верандой, которое мы называли подвалом. Строго говоря, это название неточное: настоящий подвал находится в цоколе дома – темное сырое чрево, пронизанное кишками отопительных труб. Под верандой свободного места гораздо больше, и прежние хозяева использовали этот закуток с деревянными стенами как склад. Там до сих пор валялись какие-то доски, которые они поленились выбросить, прежде чем съехать. Мы, в свою очередь, внесли свою лепту и за три года перетаскали в этот подпол всё, что казалось потенциально нужным, но мозолило глаза в нашем чистеньком жилище: картонные коробки, оставшиеся от

переезда, Сонины потертые сёдла, шезлонги, в которых мы каждое лето собирались позагорать, но вечно забывали о них, и тому подобный хлам. Именно от него я и надеялся избавиться, полагая, что подросток будет более эффективным помощником, чем две женщины. Я воображал, как мы вынесем весь мусор, накупим инструментов и краски и наведем порядок. Вечером того же дня, когда мы ездили к Бадди, я с трудом отодвинул шпингалет на двери, ведущей с заднего двора под веранду, и, пригнув голову, вошел внутрь. Фонарик Соня купила буквально накануне – прежде мы по старинке обходились свечами. Голубоватый луч озарил предсказуемое безобразие на переднем плане, а вслед за этим – неожиданные и оттого вдвойне неприятные детали: густо затканная паутиной углы со стороны дома; изъеденные гнилью балки в той части подпола, куда достигала дождевая вода, просачиваясь между досками веранды. Я понятия не имел, что с этим делать. Очевидно, балки надо было менять, пока всё не рухнуло к чертям, но задачи такого рода я мог решать только умозрительно. Проще всего было бы найти рукастого мастера, заплатить ему, и дело с концом. С другой стороны, такую науку можно освоить и самому. Я пообещал себе, что завтра, на свежую голову, залезу в интернет и разберусь, что к чему.

А ночью мне приснился сон.

В художественной литературе (как, наверное, и в кино, в котором я не большой специалист) сновидения – один из способов сказать больше, чем позволяют рамки, в каковых писатель оказывается по воле обстоятельств либо по собственной прихоти. Вы без труда вспомните хотя бы один пример, где сон героя – обычно сюрреалистический чуть более, чем полностью – вторгается в повествование, во всех отношениях реалистичное и даже бравирующее этим: тщательно выверенными деталями, глубиной погружения в эпоху, и так далее. Сон-метафора, сон-притча – рассказ в рассказе, один из древнейших приемов в литературе. Немногие поднимаются выше, превращая сон из матрешки в точно подогнанную деталь мозаики, где он сменяется явью и снова приходит ей на смену, оставляя вас в финале рассказа потрясенным и одураченным. Наберите в своем браузере «Эшер день и ночь» – прямо сейчас, на любом языке, и вы поймете, о чем я говорю. «Ночью, лицом вверх» – такая же гипнотическая мозаика-метаморфоза, только переданная языком литературы, а не графики. Вот сколько может рассказать нам сон книжного героя.

В действительности же сновидения – одновременно и проще, и сложнее. Все мы в общих чертах представляем себе работу человеческого мозга, который никогда не спит, неустанно поддерживая наши бранные тела. По ночам, когда сознание перестает нагружать мозг всякой фигней, он может заняться пережевыванием информации, которой наглотался за день. Этим разумным объяснением я и пытался успокоить себя на следующее утро, потому что сон меня, признаться, напугал.

Я снова был в подвале под верандой. Стены у него почему-то оказались обшиты кафельной плиткой, будто мы уже сделали там ремонт. Ледяной пол обжигал мои босые ступни. В воздухе при этом висел густой пар,

сквозь который проступало нагромождение угловатых предметов вроде тех, что я видел в реальности несколькими часами ранее: лежаки, коробки, доски. Прогнившие балки тоже были на месте, как и паутина, скрывавшая надпись на стене. Я силился заглянуть сбоку, чтобы прочитать ее: мне было противно дотрагиваться до белесой кисеи, липкой даже на вид, – но не мог разобрать ни буквы. На полу стояла открытая банка с краской, из нее торчала деревянная... нет, не палка и не ручка кисти, а просто длинная тонкая щепка с острым концом. Я опасливо – как бы не занозить ладонь – взялся за нее и потянул, чтобы посмотреть, какого цвета краска. Меня удивило, что цвета будто бы нет вовсе; я поднес ее поближе к глазам, и с ее конца сорвалась и упала на другую мою руку водянистая капля, и я завизжал женским голосом и отбросил палку в сторону, но было поздно: всё мое тело уже было забрызгано слизью, я стоял голый посреди подвала, совершенно один и в то же время окруженный невидимой и беззвучной толпой.

Я рывком сел в кровати: сердце частило как ненормальное, ноги замерзли – одеяло сбилось набок, а на лбу выступил пот. Было тихо, Дара безмятежно спала. Луна светила сквозь полупрозрачные зимние шторы. Я на цыпочках прокрался в ванную и выпил воды из-под крана. Полежал, борясь со сном: иногда кошмары возвращаются, стоит только снова задремать. Я прочел «Аве Мария» и вскоре провалился в забытие, по-прежнему тягостное, но хотя бы без сновидений.

Не надо быть психологом, чтобы разгадать подтекст этой сценки, слепленной моим подсознанием из страхов и воспоминаний. Меня смущала лишь та небрежная легкость, с которой были увязаны вместе два различных элемента: моя детская травма и мотив ножа. О нем я думал накануне, хоть и пытался себе это запретить. К чему теперь рефлексировать на тему собственной беспечности, с которой я вручил Илаю нож на второй день нашего знакомства, предложив помочь мне на кухне? Мысли об этом, очевидно, и привели, через цепочку ассоциаций, к увиденной в каком-то ужастике кровавой надписи на стене. Неважно, что мой мозг заменил одну телесную жидкость на другую – в конце концов, у него было полное право сделать это, а эффект получился гораздо сильнее. В этом сне не было ни крови, ни ножа, но я был уверен, что он связан с Илаем, что буквы на стене выведены его округлым почерком. Знать бы только, что там написано – «Пидор» или что-нибудь еще?

Вывод из этого был только один: моё подсознание боится Илая.

Внезапно мне захотелось, чтобы Кикка нагадала мою судьбу. В детстве я любил, когда она, в цветастой юбке и с браслетами на босых ногах, забиралась на диван в гостиной и раскладывала своих королей и королев. Я просил ее погадать и с замиранием сердца наблюдал, как она колдует: хмурится и бормочет себе под нос, с серьезным видом слюнит палец, прежде чем перевернуть карту, а затем, понизив голос, говорит о брюнетке на перекрестке дорог и о блондине в казенном доме. Я свято верил всему, что она мне пророчила. Повзрослев, я начал смотреть свысока на её увлечение оккультизмом, восточной философией и Камасутрой. И вот я снова ма-

ленький, и мне хочется, чтобы кто-то заглянул в моё будущее и дал совет, как поступить. Единственное дело, которое я был готов решить сам, касалось подвала. Я проверил, хорошо ли заперта дверь, и просто выкинул его из головы. Вот так: [*звук щелчка пальцами – прим. ред.*].

8

Наверное, всякий, кто в детстве притаскивал с улицы беспризорных котят или птенцов, выпавших из гнезда, сталкивался с тем видом разочарования, какое часто сопутствует добрым делам. Начнем с того, что птенца, принесенного вами домой, ждет неминуемая смерть, поэтому десять раз подумайте, прежде чем его спасать. Что же касается млекопитающих – у того единственного котенка, которого пригрела моя сердобольная сестра, обнаружили глисты и блохи, поэтому всё закончилось очень быстро, и в дальнейшем мама пресекала на корню любую благотворительность такого рода. Тем не менее, я могу представить – хотя бы по Сониным рассказам – как непросто быть человеком, взвалившим на себя груз ответственности за живое существо с травмированной психикой. Вам, вероятно, кажется, что если дать бедняге кров и окружить его любовью, тут же случится чудо, и шрамы у него немедленно затянутся, и он будет вам по гроб жизни обязан, а сами вы будете купаться в своем великодушии. Фигушки. Мы обсуждали это и с Соней, и с Дарой, у которой была знакомая, усыновившая детей из российского приюта. С ее слов я знал, что детдомовские часто дают приемным родителям дрозда и не стоит ждать от них благодарности в краткосрочной перспективе. К этому я был готов, когда Илай поселился у нас. Однако время шло, а ничего не происходило. Не то что дрозда – вообще ничего.

Есть такой музыкальный стиль, называется минимализм. Как следует из определения, композиции в этом стиле строятся из простейших элементов, как из кубиков, и, будучи созданной по принципу архитектуры, такая музыка ей и уподобляется. Она стремится к совершенному покою, и хотя по-настоящему застыть ей не позволяют сами физические свойства звука, она способна весьма успешно мимикрировать под статичную. Слушать произведения в стиле минимализма или трудно, или решительно невозможно – во всяком случае, человеку моего темперамента. Но слушать их, безусловно, надо – хотя бы ради того, чтобы выйти за пределы своего уютного мирка и познать нечто новое. Волшебство минимализма – в том, что в нем есть внутреннее движение, метаморфозы, подобные эшеровским, но придется запастись терпением, чтобы заметить их. Мы так давно испорчены популярной музыкой, что разучились по-настоящему слушать. Я и сам был не лучше, хоть и делал вялые попытки вникать в записи, которые подсовывал мне Зак. И вот в один прекрасный день я принялся терзать свои уши очередной пьесой, где раз за разом повторялся всё тот же мелодический рисунок, и я начинал уже сходиться с ума от этой монотонности, как вдруг что-то изменилось. А потом – еще раз, и еще: то добавлялась новая краска в текстуру звука, то мелодия слегка эволюционирова-

ла. В какой-то момент я осознал, что изменилось вообще всё, но когда это успело произойти, понять не мог.

Жизнь с Илаем была похожа на пьесу в стиле минимализма. Работу для него я нашел быстро: одной из нашей соседок нужна была помощь по уходу за садом, и она повесила объявление в местном паблике. Работа была несложной, но регулярной – подстригать траву, убирать мусор, чистить водостоки – и я поручился за мальчика, рассудив, что это ему будет под силу. Теперь он был занят несколько часов в неделю, а остальное время проводил с нами. В своей комнате он только ночевал, предпочитая ей уголок дивана в гостиной. Он устраивался там среди подушек и сидел всё с тем же неприкаянным видом, как в первые дни нашего знакомства. Если кто-то из нас вовлекал Илая в свои дела, он повиновался без звука, не проявляя при этом хоть сколько-нибудь заметного интереса. Он никогда не улыбался, на вопросы отвечал коротко или не отвечал вовсе, и я не мог понять, рад ли он вообще, что поселился у нас. Это обескураживало не меня одного. Соня, склонная по любому поводу лезть в интернет, науглила шизоидное расстройство личности и заявила, что видит у Илая практически все его характеристики. Какая чушь, сказал я, пробежав описание глазами; разве не помнишь, как он зарделся, аки девица, стоило один раз его похвалить? Я не стал выкладывать ей свой козырь – было и так ясно, что нет у него никакой эмоциональной холодности, всё он чувствует, и вид чужих пальцев в кастрюле с кипящим маслом наполняет его страхом, который сильнее, чем страх заговорить.

– Я думаю, – сказала Дара, – что тут такая же фигня, как у медведей. Вот собаки – социальные животные, они живут стаями, поэтому им важен язык тела, чтобы общаться. И лошади тоже социальные. А медведи нет, и самое опасное в медведе – это то, что у него на морде не написано, злится он или радуется. Ему просто незачем это показывать. Может, Илай потому и не улыбается, что там, где он жил, улыбаться было некому.

Я согласился, что в этом что-то есть. А потом я вспомнил минимализм и набрался терпения. Терпение, говорила Соня, и любовь – вот всё, что ей нужно было в первые месяцы общения с Бадди. Месяцы, Карл! А ты ждешь немедленной реакции от подростка, который резал свою собственную плоть.

Дни сменяли друг друга, музыка оставалась однообразной, и только тренированное ухо могло различить новые нотки. Как-то я спустился на первый этаж и увидел, что Илай сидит на кухонной стойке и ест чернику прямо из пластиковой коробочки. Я не стал делать ему замечания: пусть сидит, где хочет. Огляделся, якобы размышляя, чем бы перекусить. Илай придвинул мне коробку; теперь мы брали ягоды по очереди, не глядя друг на друга, хотя я стоял почти вплотную и моя голова была на одном уровне с его головой. Я выбирал черничины помельче и внезапно услышал: «Б-б-большие вкуснее». В ответ я только улыбнулся, и он добавил: «Возьми». Нет, сказал я, ешь лучше ты. Со стороны могло показаться, будто ничего не изменилось – мы всё так же угощались из одной коробки, только Илай

больше не трогал самых крупных и сочных ягод. У меня на языке вертелось: девчонкам оставляешь? – но я знал, что он смутится.

Есть одна категория людей, которые прекрасно поймут, что я имею в виду, безо всяких метафор. Я говорю о родителях. Изо дня в день, медленно и неуклонно, вопящий кулек превращается в человека, но ощутить непрерывность этого процесса мы не способны. Мы видим только вежи – первую улыбку, первое слово – и они ошарашивают нас, одуревших от бесконечного дня сурка. Я испытал это, когда – «Как ты его назвал?» – изумленно переспросила Соня, и он повторил еле слышно, глядя в пол: «Мосс».

– Да, есть такое, – сказал я со смехом. – Ты, Дара, наверное, в курсе, что австралийцы все слова сокращают? Это чтобы мухи в рот не залетали. «Мосс». А и пусть, мне нравится.

Мне и правда было приятно – меня еще никто так не называл. Илай убрал из моего имени тот слог, что требует полуулыбки, и в его исполнении оно звучало серьезно и при этом нежно – как прикосновение бархатного растения, чье название ему омонимично³. Всякий раз, когда он меня окликал, с одной и той же робкой вопросительной интонацией, мою грудь сжимало чувство умиления, как в тот вечер, когда мы с ним впервые готовили. Я стал замечать, что он тенью следует за мной по всему дому – всё время на шаг позади, чтобы быстро спрятаться в случае чего. Если я уходил на второй этаж, он тоже поднимался и сидел у себя, а потом возвращался на диван, едва заскрипят ступени лестницы. Однажды я устроился в спальне немного поиграть. Окно было приоткрыто, и минут через десять в комнату просочился сигаретный дым. Я выглянул наружу: Илай стоял на балконе и курил, облокотившись на перила. Когда я вышел к нему, он посмотрел недоумевающе, но ничего не сказал. Протянул мне пачку, я взял сигарету, чтобы его не обидеть. Он выждал, прежде чем достать из кармана зажигалку; я догадался, что он проверяет, стану ли я прикуривать у него. Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя в безопасности, и я не шевелился, изображая непонимание.

Я мог бы заполнить эту неловкую паузу очередным флэшбеком – начать с истории о моей первой сигарете, а она бы вывела меня куда-нибудь еще, к новым душераздирающим подробностям – но мне важно, чтобы вы ощутили именно паузу, пустоту, окутавшую нас. Мы стояли и курили, и совсем недавно этого было бы достаточно. Я умею молчать рядом с другими, но в тот момент мне нестерпимо хотелось, чтобы Илай заговорил. Что двигало тобой, когда ты вырезал на своих ладонях новые линии судьбы, – желание заглушить боль? А может, чувство вины или стремление убедиться, что ты еще жив? Я теперь смотрю на тебя новыми глазами, Илай, и замечаю мелочи, которых не замечал прежде, – прости мне это уничижительное слово, которым я называю следы от сигаретных ожогов на твоих предплечьях. Пожалуйста, расскажи мне что-нибудь, поделись, тебе станет легче.

³ Moss (англ.) – мох; уменьшительный вариант имени Морис.

Мы курили, не произнося ни слова. Он перехватил мой взгляд и раскрыл обе ладони – послушно, как викторианская школьница, стоящая перед накрахмаленной гримзой с розгой. Меня смутила эта покорность, и я спросил: ты всё еще режешь себя? Он сказал: «Нет» – и больше ничего, но мне чудились призвуки этого «нет», витавшие вокруг, как сигаретный дым: *пока что нет*; или: нет, мне это больше не нужно, у меня ведь теперь всё хорошо, Мосс, мы же теперь вместе.

9

Дара сдала на права еще в мае – сдала с первой попытки, чем я гордился не меньше своей ученицы. Она начала уже присматриваться к подержанным машинам, но я сказал: бери мою, я все равно редко езжу. Теперь её география в качестве собачьего инструктора существенно расширилась, она могла брать больше клиентов и дома стала появляться реже. Я поймал себя на том, что скучаю по нашим летним прогулкам в парке. Давай-ка свозим Локи размяться, предложил я, – по ту сторону магистрали полно места, где ему побегать. Наша долина в своей северной части выполаживается и дичает, распахиваясь в обе стороны двумя широкими безлесными берегами. Ручей цвета бетона, густо заштрихованный тенями от тростников, разливается в этом месте цепочкой озер, где живут цапли. Даже линии электропередач не мозолят тут глаза, и кажется, что мы далеко-далеко за городом и шагаем неспешно по бескрайнему зеленому полю. Мальчишкой я бы излазил тут всё, и восторг Локи, одуревшего от такой свободы, был мне понятен. Гуляя привычными маршрутами с Дарой или с хозяевами, он развлекался тем, что читал новости и объявления в собачьей ежедневной газете и, задирая ногу, бесхитростно добавлял к ним свои комментарии. А здесь, в полях, царили другие авторы: лисы, кролики – и пёс принимался метаться, нюхать там и сям, следуя за сюжетом с таким увлечением, будто это был закрученный детектив. Ближе к озёрам стилистика менялась: в тростниковых зарослях жили валаби, пахнущие тревожно и остро. Локи не решался сунуться к ним – чтобы их познать, надо было углубиться в дебри, подобные творениям модернистов. Обогнув озеро, мы взбирались на холм с другой стороны и возвращались к машине по улицам, на которые я прежде не забредал. Было солнечно, но уши у меня зябли, а Дара была в забавной шапке, и, наверное, поэтому разноцветное белое, развешанное на чьей-то веранде, напоминало мне буддистские флажки на фоне заснеженных гор. А во дворе напротив – бело-голубая Дева Мария в помутневшем футляре, и рядом в кресле – женская фигура в черном. Толстый кот у нее на коленях почуял нас, выгнув спину, и Локи басовито гавкнул в ответ. *Mi scusi per il disturbo, signora*, сказал я, мысленно посетовав, что не могу выразиться как-нибудь поизящнее. Она отозвалась скрипучим голосом, обратив ко мне морщинистое лицо. Локи всё еще нервничал, и мы пошли дальше. Как ты узнал, что она итальянка? – спросила Дара. Ну как же, в этом городе ткни пальцем в католика – попадешь в итальянца. Тем более в северных районах. А что она тебе сказала? «Ничего

страшного, дорогой». Только это звучало красивее, я так не умею. Понимаю, кивнула Дара, в русском тоже полно оттенков, которых не переведешь на английский. Много всяких суффиксов, и бабушка эта назвала бы тебя «сынок», а меня муж когда-то звал Дарёнка, это из Бажова, как тебе объяснить, ну вот будто бы ты герой сказки. Ха, ответил я, рассказывай мне про суффиксы, их в итальянском столько, что я даже не все знаю. А ты по ним скучаешь? Я задумался: родной язык на то и родной, что он тебе впору, в нем всего хватает. Мы в детстве, бывало, присобачивали всякие «ино» и «элло» к английским словам, но это был домашний, свойский язык. Хотя я до сих пор так иногда делаю в шутку.

Я гулял бы так часами: приятно было болтать с ней и никуда не спешить, даже если Сони не было дома. Я убедил себя и других, что коль скоро Илай живет у нас на правах своего, надо доверять ему, и пусть у него будет ключ, чтоб не сидел под дверью, когда придет с работы. Соня первое время мелочно ворчала: гляди, недосчитаемся потом чего-нибудь – но Илай сделал обратное и в один из дней, вернувшись домой, водрузил на кухонную стойку банку мёда. У вас не было, тихо заметил он, будучи прижат к стенке. А это, по-твоему, что? – Соня открыла шкаф. У вас другой. Скажи, пожалуйста, еще и мёд ему не тот. У нее был повод обижаться: именно в те дни, когда ужин готовила она, Илай чаще всего изображал отсутствие аппетита. Соня была убеждена, что подросток, полгода сидевший на китайской лапше, будет жрать всё, что не приколочено, и разборчивость его считала капризами. Я же понимал его как никто другой, хоть и старался не вмешиваться: Дара всегда была начеку и мягко гасила конфликты в зародыше, скармливая мальчику что-нибудь из заначек взамен отвергнутой им здоровой пищи. К слову, Дарину стряпню он ел на ура, особенно сочные мясные пироги, которые она лепила в форме юрты и запекала в духовке. Вы можете подумать, что мы тут все такие кулинарные эстеты и не вылезаем с кухни, но это не так: бывало, мы просто заказывали на дом пиццу или суши, а то и вовсе обходились полуфабрикатами. Сам я ужины готовил редко, дожидаясь повода или настроения. А тут как раз подвернулась неплохая баранина, и я решил сделать рагу. Поможешь? – обратился я к Илаю. Тот не без охоты покинул диван, уточнил: принести розмарин? – и мне сделалось тепло на душе. Было даже жалко говорить ему, что не нужно, мы будем сегодня класть другие травы, а еще – много помидоров, потому что моя родня – с юга Италии. Я не могу есть помидоры, сказал Илай, я от них чешусь. Еще один аллергик в доме, вздохнул я. Что же мне с тобой делать? Ладно, посмотрим – может, от тушеных ничего и не будет. Я поставил его к плите, а сам принялся резать овощи. В процессе готовки я обычно молчу: звуки собственной речи почему-то меня отвлекают. Стоя к мальчику спиной, я пытался угадать, как он меня окликнет, если понадобится – по имени он меня тогда еще не называл. Я ждал и ждал, и внезапно – «М-можно спросить?» Конечно, спрашивай. Почему ты издаешь смешные звуки, там, наверху? Я издаю звуки?.. Ах да, это называется голосовая зарядка, Илай, чтобы разогреть связки – ну вот как

спортсмены разогревают мышцы. Связки тоже можно повредить, если обращаться с ними как попало, – следы, пожалуйста, за мясом, надо переверачивать каждый кусочек, чтобы подрумянился. Я играю в радиоспектаклях и еще книжки озвучиваю – знаешь, аудиокниги. Слушал когда-нибудь? Нет, сказал Илай, старательно орудуя щипцами, а что за книжки? Я на пару секунд завис, пытаюсь выбрать из своего послужного списка что-нибудь, что мог бы ему предложить. Многие тебе, наверное, будет скучно слушать, но я, кажется, знаю – я точно знаю, что тебе понравится, как же мне раньше не пришло это в голову, я стоял к нему спиной и улыбался во весь рот, как же я сразу не догадался, на кого ты похож, Илай.

10

Я мечтал озвучить Багиру, как другие мечтают сыграть Гамлета. В детстве я, разумеется, смотрел диснеевский мультфильм, и пластинка с песнями из него у меня тоже была. Но так вышло, что книжку я прочитал раньше – вернее, ее прочитала мне мама. Поэтому в моей голове голос Багиры звучал иначе. Дело тут не в том, что я представлял ее женщиной – как, скажем, в русском переводе. К слову, этот вариант мультфильма я тоже потом посмотрел, испытал когнитивный диссонанс, но отметив при этом, что интонации там пойманы верно. Пантера – это такая большая кошка, объяснила мне мама. А кошка – всегда текучая, бархатная; в самом мужественном коте есть балетная грация, а в любом балете, даже в «Спартаке», мужчина всегда немножечко... амбивалентен, давайте скажем так. И вот этого оттенка я не слышал ни у одного из актеров, которые когда-либо играли Багиру. Не поймите меня превратно: я не настаиваю, что этот персонаж должен разговаривать, как педик, но что-то кошачье ему необходимо. Послушайте «Петю и волка», где роль кота исполняет кларнет, и сравните его вкрадчивые модуляции со звучанием твердого шершавого баритона, которому обычно поручают роль Багиры. Я страдал от несовершенства мира, где нет места правильной постановке «Книжки джунглей», пока в один прекрасный день не обнаружил, что новозеландская радиостанция будет записывать аудиоверсию сказок Киплинга. Это произошло еще до того, как радиотеатр снова начал входить в моду – а я-то помню, детишечки, как было в старые времена, и своего первого Муми-папу я сыграл, когда вы еще не родились. Так что резюме у меня было внушительное, и роль я получил, и получил удовольствие от своего первого и последнего визита в страну Большого белого облака, хоть я и ненавижу летать. А главное – я восстановил справедливость.

Не пройдет и месяца, как мне аукнется наш разговор за приготовлением бараньего рагу. «Мосс, скажи, как Багира», – и полуоткрытый от восторга рот, как у пятилетнего: он словно не мог поверить, что перед ним – всё тот же старый добрый Морис. А пока Илай тихо унес в свою норку файл, который я закачал ему в телефон, и подаренные мною же наушники. Он в тот день впервые сказал «спасибо», и это была очередная веха для всех нас. Слушал он, видимо, по ночам, лежа в кровати – днем я редко за-

мечал его с телефоном. Он не листал социальных сетей, не смотрел видеороликов и не играл в игры – во всяком случае, при нас. Когда он сидел на диване с отсутствующим видом, мне думалось, что он относится к тем людям, кого перегружает информационный поток, и ему нужно время, чтобы побыть наедине со своими мыслями. А вот о чем он думал – я мог только догадываться.

Наступил август – время, когда весна в наших широтах всю заявляет о себе, но дни пока что остаются холодными, и надо напяливать колючий свитер, чтобы поработать в палисаднике, который требовал внимания именно зимой. У нас там, если вы помните, растут ползучие суккуленты: неприхотливые, но очень эффектные в сезон цветения. Зимой они дремлют, и этим пользуются сорняки, прорастая сквозь плотный пружинистый ковер подобно метастазам. Я всегда отдавал себе отчет, что я такой же перфекционист, как мой отец, поэтому старался не надрываться сверх меры: в конце концов, мир не рухнет оттого, что я лишний раз не поработаю в саду. Но та быстрота, с которой сорняки брали надо мной верх, меня неприятно ошеломяла, и я, кряхтя, снова принимался за дело. От гербицида тут больше вреда, чем пользы, приходится очень аккуратно пропалывать каждый квадратный сантиметр вручную. Через полчаса я совершенно измучился, и когда Илай вышел, чтобы заглянуть в почтовый ящик, я спросил, не хочет ли он мне помочь.

– Не особо, – ответил он и для верности засунул руки в карманы джинсов.

– Понимаю, – согласился я покладисто. – Тебе небось эти сорняки на работе уже поперек горла.

Я приведу вам этот разговор так, как я его запомнил, стараясь соблюсти не букву, но дух. К тому моменту мы уже привыкли, что Илай заикается, и не придавали этому значения, а он, в свою очередь, чувствовал себя увереннее и стал больше говорить. Поэтому я не буду пытаться и дальше воспроизводить эту особенность его речи – просто помните о ней до поры до времени.

– Это бессмысленно, то, что ты делаешь, – сказал Илай, не меняя позы.

– Почему?

– Они снова вырастут.

– А я снова их выдерну.

– И в чем смысл?

– В том, чтобы на этом газоне росло именно то, что я хочу, а не что попало, – сказал я, начиная терять терпение.

– А чем тебе не нравятся сорняки?

– Хотя бы тем, что они уродские. А культурные растения красивые.

Не отрывая рук от бедер, он пересек бетонный двор своей походкой манекенщицы, присел на корточки и всмотрелся в переплетение мясистых серовато-зеленых листьев, сквозь которые торчали стебельки другого от-

тенка, тонкие и отвратительные, как тараканьи усики, выглядывающие из-под плинтуса.

– Эти уродские. А вот эти нет, – он тронул пальцем разлапистый листик на длинной ножке. – У них потом будут цветочки, желтые такие.

– Это ты на работе насобачился?

Он покачал головой.

– У вас дома был сад?

– У деда.

Я притих, точно боялся спугнуть черного какаду, присевшего на перила балкона: одно неловкое слово – и Илай захлопнется, и я опять ничегошеньки о нем не узнаю.

– Твой дед разрешал сорнякам расти, как им вздумается?

– Нет, он их полол, вот как ты сейчас.

– И ты ему говорил то же, что говоришь мне?

– Угу.

Сколько ему было, когда он жил с дедом, – двенадцать, тринадцать? Да, самый возраст, чтобы на всё иметь свое мнение.

– Ладно, – сказал я, – сдаюсь. Но помяни мое слово: когда в ноябре вся эта культурная красота зацветет – ты запоешь по-другому.

– Так я тут до ноября?

– Как сам захочешь. Мы ведь тебя не держим.

Он ничего не сказал. Поднялся по лестнице к почтовому ящику и вернулся в дом, оставив меня ругать свой длинный язык на чем свет стоит. Я ведь совсем не то имел в виду, но теперь поди извинись, он опять будет зыркать исподлобья и молчать как рыба об лед. Воспитатель из меня такой же, как садовник, что тут поделаешь.

Если бы я знал его в мои шестнадцать лет, всё было бы иначе. Я бы завидовал его светлой коже и прямой спине, его спокойствию и терпеливости. Мы дружили бы. Я научил бы его без запинки ругаться на двух языках и отвечать ударом на удар. А что мне делать с ним сейчас? Упиваться своим великодушием, воображать, будто мы заменим ему любящую семью? Чушь собачья. На следующий год он поступит в какой-нибудь техникум, найдет себе подружку – Маугли должен уйти к людям рано или поздно. А ты, Морис, останешься с дырой в сердце, через которую будет сквозить пустота, необъятная и холодная, как космос.

Спустя несколько дней я был дома один и разгружал посудомойку, когда наверху хлопнула парадная дверь. Над головой протопали шаги, в ванной открыли кран. Я продолжал греметь посудой, и чуть погодя Илай спустился.

– Гляди, – сказал он. – Сорняк. Помнишь?

Я обернулся – он держал в руке маленький желтый цветок на длинном стебельке.

– И правда симпатичный.

– Он красивый. Его нельзя потрогать вот так, – он потер пальцы друг о друга. – Только вот так.

Илай провел цветком по своим губам и передал его мне.

– Попробуй.

Я послушно дотронулся до крошечного, меньше ногтя, лепестка – тот и в самом деле был неразличим на ощупь, подушечки моих пальцев с мозолями от струн оказались нечувствительны к прикосновению столь нежной материи. А вот губам сделалось щекотно, и я невольно улыбнулся.

– Да, – я протянул ему цветок. – Ты прав, надо же.

– Оставь себе.

С этими словами он ушел, не дав мне опомниться. Я повертел в пальцах скромное растеньице, чьих сородичей выпалывал сотнями в предыдущие зимы; взял из посудомойки стакан, наполнил водой и поставил в него цветок. Стакан я отнес к себе в студию, потому что только в эту комнату Илай не мог заглянуть через окно.

11

Солнце вставало всё раньше, и мне самому было веселей вставать и заводить новый день, как заводят тесто или часы. Выйдя из ванной, я стучал в дверь Илая, который по утрам дрых как сурок, а потом обижался, что мы завтракали без него: в нашем доме отстающих не ждали. Я раздвигал шторы на первом этаже, накрывал на стол и варил кофе. Дара пила черный и без сахара, Соня оставалась верна безлактозному молоку. Илай делал себе какао в каких-то диких, но всегда неизменных пропорциях. Добавлял туда две ложки мёда и долго сидел над чашкой, облокотившись на стол, тер глаза и ерошил свои вечно растрепанные волосы. «Подстричь тебя, что ли?» – говорила Соня, но он только хмурился и дергал головой, когда она протягивала руку. «Давай тогда ухо проколем, будет красиво. Зайди как-нибудь к нам в салон». Он мрачнел еще сильнее, и я пинал Соню под столом: оставь парня в покое, не видишь, он и так страдает? Опять расковырял себе весь подбородок, ну хоть этим его не стыдят. Как многие застенчивые подростки, он считал себя непривлекательным – во всяком случае, я сделал такой вывод, когда на Сонино безобидное замечание «Не хмурься, останутся морщины на всю жизнь» – он ответил с неожиданной грубостью: «Кому какое дело?»

«Уберешь со стола?» – обращался я к нему после завтрака. «Хорошо», – отвечал Илай, мне казалось, ему приятно, что у него есть свои обязанности. Я чувствовал спиной его взгляд, когда уходил на утреннюю прогулку. Мне нравилось бродить в одиночестве: я любил помолчать и подумать, а мой темп ходьбы был не всякому под силу. На вылазки с Локи мы тоже не приглашали мальчика, но по другой причине.

Это выяснилось случайно. Дара пришла однажды домой с перевернутым пальцем. Я пошутил: производственная травма? Меня всегда удивляло, как она ухитряется работать с собаками и избегать покусов. Она объясняла, что собаки, если они психически здоровые, никогда не нападают без предупреждения. Другое дело, что люди не распознают сигналов, которые отчаянно транслирует собака, загнанная в угол. Меня бы уже де-

сять раз съели, говорила Дара, но я же не зря оттрубила год в местном ПТУ, а потом почти столько же на тренерских курсах. А палец – это щенок покусал. Щенята же учатся всему, как дети. Сперва не понимают, что другому больно, если цапнуть со всей дури. А когда заорешь благим матом и прервешь игру – до них доходит. Взрослые-то, конечно, кусают понарошку.

– Взрослые очень больно кусают, – вмешался Илай негромким, но твердым голосом. – И ни за что.

Я украдкой наблюдал за ним, не вступая в разговор: по его лицу было видно, что Дарин авторитет в собачьем вопросе он ставит под сомнение – так бывает, когда теория не совпадает с твоим личным опытом. Ты просто не знал, мягко сказала Дара, она наверняка показывала тебе, что ей не нравится: зевала, отворачивалась или сверкала белками глаз. Ты не виноват, что не знал. Но и она не виновата тоже.

Разговор произвел на мальчика сильное впечатление: он ушел, не сказав больше ни слова, и отсиживался у себя наверху, пока мы не начали его искать – до того непривычно было, что Илай дома, но не рядом с кем-то из нас. Нет, я лукавлю, правильной будет «не рядом со мной», ведь именно там, в радиусе пары метров от меня, он проводил большую часть времени. Обычно он ничем не обнаруживал своего присутствия, хотя я знал, что он слушает из-за двери, как я играю или работаю. Если же в моей спальне было тихо, он мог пройти по балкону и заглянуть через окно. Когда я увидел его лицо, прижатое к стеклу и обрамленное щитками ладоней, в самый первый раз, я смутился. Ничего предосудительного я не делал, просто валялся и слушал музыку в наушниках, но со стороны это может выглядеть чересчур экспрессивно.

– Ты что-то хотел? – спросил я, открыв балконную дверь.

Он смутился и помотал головой.

– Ну ладно, – я пожал плечами; потом добавил из коммуникабельности: – Можешь зайти, если интересно.

Ему было интересно. Он огляделся, задержал взгляд на моих аудиофильских наушниках, лежавших на кровати. Потом изучил галерею портретов на стене и спросил, что это такое.

– А это паучки, называются *Maratus*. Тут они увеличены раз, наверное, в тысячу. Раньше их никто не замечал – бегают какая-то мелюзга под ногами, они везде водятся, и в лесу, и даже у нас дома. А недавно один любознательный ученый стал их снимать и выкладывать в интернет – тут-то все и офигели.

– Пауки? – переспросил он недоверчиво. – Такие разукрашенные?

– А представь, что они еще и танцуют.

На эту деталь он никак не отреагировал, но фотографии разглядывал долго: флюоресцирующие павлиньи цвета их брюшек и впрямь казались неестественными, они же из фильма про инопланетян, эти маратусы с четырьмя любопытными глазенками в ряд, Мосс просто выдумывает, он ужасно странный с этими его звуками, с его непонятными словами –

спайдерелло, так он их назвал. И повесил на стену, как вешают фотки родичей и всякие картины.

– Ты странный, – сказал Илай.

– Уж какой есть.

Да, но я ведь начал рассказывать про собак. В конце августа у одной из наших соседок был день рождения, и она любила праздновать его прямо в парке, куда выходил и их задний двор. У нее были две австралийские овчарки, и она выпускала их побегать в тихий час перед закатом. В свой день рождения она вместе с мужем выносила из дома раскладной стол и кресла, открывала пару бутылок вина, и уголок парка около их забора постепенно заполнялся народом. Многие собачники приходили туда ежедневно, все уже знали друг друга, и я знал всех, и день рождения знакомой точно не мог пропустить. Мы с Соней в предыдущие два года пекли для нее торт и не стали изменять традиции. Ты ведь пойдешь с нами, Илай? Там будут собаки, но они все дружелюбные, зуб даю. В худшем случае, Дара тебя защитит. Нет, сказал Илай, не пойду. Он не слез со своего дивана, чтобы взглянуть на торт, и вообще надулся до такой степени, что Дара сказала: знаете, ребята, сходите лучше вдвоем – это все-таки ваши знакомые, а собак я и так вижу каждый день. Я пока приберусь на кухне, мне правда не хочется никуда тащиться. Не надо ему потакать, сказал я шепотом, пусть привыкает. Дара только отмахнулась: у нее были свои взгляды на воспитание. Мы с Соней собрались и ушли – на часок, не больше. Было ветрено, но тепло, и трава успела подсохнуть за день, так что мы разместились на лужайке с относительным комфортом и болтали обо всем на свете с новыми и старыми знакомыми, среди которых оказался польский иммигрант – молекулярный биолог, работающий над созданием нового лекарства от рака. Мы торчали в парке до тех пор, пока сумерки не стерли очертания долины, и домой вернулись уже впотьмах. В нижней гостиной горел торшер – видимо, Дара закончила дела и ушла наверх, оставив нам путеводный маячок. Илай всё так же сидел в своих подушках. Не скучали? – спросил я весело. Он не ответил, закусив губу и глядя в сторону. Все-таки поссорились, понял я, но не стал ничего говорить, а сразу поднялся в спальню, где Дара стояла ко мне спиной и смотрела в темное окно. Я подошел, и она сказала: прости меня, Морис. Сама не знаю, как так получилось. Прости.

В литературе есть понятие всевидящего автора – когда-то это был самый популярный способ описывать перипетии сюжета: вроде бы отстраненно, от третьего лица, но в то же время не ограничиваясь лишь тем знанием, каким может обладать простой наблюдатель. Потом это сделалось немодно, любимцем публики стал рассказчик, и в особенности рассказчик ненадежный – то есть тот, кто, неосознанно или намеренно, искажает картину происходящего. Я стараюсь быть надежным, но и мне приходится воссоздавать детали этой истории, опираясь на слова других ее участников. Пожелай я ввести в этом эпизоде всевидящего автора, мне не смогли бы помочь все технические чудеса света. Даже если бы наша нижняя го-

стиная была нашпигована камерами слежения, вы бы увидели лишь две человеческие фигуры, сходящиеся и расходящиеся в пространстве. Вы не услышали бы их дыхания, не прочли бы мыслей. У меня нет выбора, я должен довериться сейчас другому рассказчику – которому, впрочем, незачем меня обманывать.

Когда мы с Соней ушли, она включила музыку – она часто так делала, занимаясь хозяйством, просто запускала плейлист в телефоне, ей не мешало дурацкое качество синезубого динамика на тумбочке у окна. Она напевала и пританцовывала, пока загружала посудомойку и вытирала столешницы. На душе было легко. Она закончила уборку с первыми тактами своей любимой песни: по стилю – меланхолическое танго в обрамлении джазовых аккордеонных пассажей, по содержанию – печальная сказка, исполненная задушевым альтом на языке, которого Дара не знала, но который постоянно слышала в городе, где выросла. Она подошла к дивану и шутливо протянула Илаю руку, а он принял эту руку, поднялся ей навстречу и, приобняв за спину, повел – негнувшийся и напряженный, но повел – явно без выучки, на одном чутье, на ощущении музыки, услышанной им впервые. А потом она отпустила его пальцы, а он прижал свою ладонь к ее ладони, и ей стало шестнадцать.

Ах, Дара, Дара, вот уж что я понимаю как никто другой: два подростка, удивленная встреча рук, жар на щеках – ничего этого не было в Дариной жизни, а было только у Шекспира, у Дзефирелли. Как же можно корить ее за то, что она позволила этому несбывшемуся запоздало настичь себя, уступила мягким, но настойчивым прикосновениям, от которых кружилась голова? Вот что бывает, когда не целуешь женщину. Подумал ли я хоть раз, насколько ей самой нужен наш целомудренный союз? Она лишь кротко молчала, не попрекая меня даже взглядом. Нет, это ты прости, сказал я. А она повторяла: он был совсем другим – не знаю, как объяснить – взрослым? И он улыбался, представляешь? Он такой красивый, когда улыбается. Она говорила и говорила, а я думал о том, что я эгоист, а еще – что я должен увидеть это своими глазами.

Часть 3. Aqua Profonda

1

Зак приехал в воскресенье в третьем часу пополудни. Он мог бы послать мне рукопись по емейлу, но я все равно распечатал бы ее, потому что люблю работать по старинке: читать с бумаги и делать пометки карандашом. В каждый новый текст, который мне предстояло озвучить, я окунался, как дирижер в партитуру: слышал внутренним слухом интонации, помечал спотыкачки – неблагозвучные стечения звуков и иностранные слова. Зак всегда писал с прицелом на устное чтение, не допуская никаких «к окну», способных одним махом убить всю атмосферу. Звукописью он пользовался умело – это был один из немногих приемов, которые остались в его арсенале на исходе второго творческого десятилетия. Прочие красиво-

сти – развернутые метафоры, изысканные сравнения – отмирали одна за другой, пока все не облетели, обнажив мощный кряжистый костяк его нового, «мужского» стиля. Он по-прежнему оставался верен своей любви к контрастам, чередуя грубую натуралистичность с лирическими погружениями в мир героев, но этой лирики становилось всё меньше, а диалогов всё больше – он словно бы двигался вспять, к американскому «грязному» реализму восьмидесятых. Можно было подумать, что автор разочаровался «в жизни, в музыке и в наркотиках» – как мне заявил когда-то один знакомый, мне было двадцать, а ему тридцать пять, и мне казалось тогда, что столько не живут. Однако Зак выглядел бодрячком, когда вошел к нам в воскресенье – через парадный вход, разумеется. Он уже много лет не менялся внешне, будто свой четвертый десяток разменял еще в универе и распахивал по карманам мелкими купюрами – на черный день. В последний раз он приходил к нам под прошлое Рождество. Незадолго до этого я разорился на недурное электропианино, и мы даже поиграли, как в старые времена, и вообще отлично посидели. Обычно я ездил к нему сам – он лет пять назад обзавелся шикарной квартирой в бывшей психиатрической лечебнице. Помпезное здание девятнадцатого века напоминало дворец, и Зак поселился в одной из его четырехугольных башен с видом на Сити. Лучшего места, чтобы писать о парафилах, и придумать было нельзя: поговаривали, что призраки замученных психов до сих пор заходят туда на огонек, хотя сам я никогда не видел их теней и не чувствовал дыхания на затылке. Но я опять отвлекаюсь.

В этот раз мне удалось познакомить их с Соней – на Рождество она уезжала к родителям. Дара выгуливала собачек, Илай отсиживался наверху, хотя я на всякий случай предупредил Зака, что у нас нынче полон дом народу. Фенотипически Илай был близок Соне, и мы договорились, что будем называть их родственниками, если возникнет такая необходимость. Зак, однако же, ни о чем спрашивать не стал и, едва Соня ушла к себе, устроился в плетеном кресле на веранде, щурясь на низкое солнце из-за очков. Я пил вино, он виски – всё как всегда. Мы болтали, и в какой-то момент я услышал, что на балконе открыли дверь, и над нашими головами скрипнули половицы. Уши оторву, подумал я благодушно, и этим ограничился. Когда, получасом позже, я заметил любопытную Варвару на лестнице, то даже бровью не повел. Зак сидел за пианино вполоборота к мальчику, но мне-то было хорошо видно, как тот спустился на несколько ступенек и застыл там в независимой позе, облокотившись на перила. Слушал он недолго и исчез, прежде чем мы доиграли пьесу, что одновременно и принесло облегчение, и огорчило меня. Он не проявлял интереса к музыке, звучащей в нашем доме, а ведь для меня она была одной из точек соприкосновения с людьми. Музыка дарила мне иллюзию взаимопонимания, и чаще всего – именно с Заком. Чиркнуть друг друга, проходя по касательной: общим наслаждением от игры, от знакомства с новым композитором или жанром – вкусы у нас были на удивление близкими. Но мы так

редко виделись, и эти встречи пролетали так быстро. Вот и эта закончилась, я остался один.

Не прошло и пяти минут после его ухода, а Илай уже был тут как тут. Пошуршал на кухне, явно для вида, и вышел на веранду, где я сидел, уткнувшись в рукопись.

– Кто это был?

– Один мой работодатель. Между прочим, он настоящая знаменитость, и ты мог бы вести себя немного поприличней.

– Чем он знаменит? – Искусством отсекаать лишнее Илай владел в совершенстве.

– Он пишет книжки. Художественные.

– Рассказы про маньяков?

Тут я, признаться, так офигел, что чуть не уронил стопку бумаги на пол.

– Откуда ты... Я же тебе не говорил. Или сказал?

Нет, я точно не называл ему имени Зака и не упоминал своей работы с ним. Было так: Илай, дослушав Киплинга, попросил что-нибудь в моем сольном исполнении, и я пообещал, что гляну, потому что задачка-то не из простых, мне совсем не хотелось отвратить его от литературы, подсунив книжку, не подходящую ему по возрасту и начитанности (о последней я, впрочем, мог только догадываться). Это было с неделю назад, а потом я забегался и забыл.

– Я тебя нагуслил.

Ну конечно, что еще от него можно было ожидать? По счастью, я и в онлайн следил за своей *фигурой* и ничего компрометирующего там не выкладывал. Я протянул: «А-а, понятно», – и вернулся было к рукописи, но Илай не унимался.

– Похоже, что он их написал. Лицо подходящее.

– А ты откуда знаешь – читал, что ли?

– Слушал, – он наслаждался произведенным эффектом и прибавил: – Купил.

Кто бы мог подумать, что из всего литературного богатства, которое я начитал за полтора десятка лет, он выберет именно это – «рассказы про маньяков», как он выразился? А с другой стороны, что ему было слушать – классические романы? Модернистов? Я сам в шестнадцать лет читал одни комиксы, и не смейте меня упрекать за это.

– И что, понравилось?

– Понравилось, как ты их читал. А так не особо.

– Почему?

Он отвел глаза.

– Ты считаешь героев извращенцами? Чокнутыми?

Он замялся, и я внезапно понял, что он ищет ответ, который устроил бы меня. Бойтся разочаровать, ляпнув глупость.

– Они все плохо кончаются.

– Что правда, то правда. Зак не очень добр со своими героями.

Но так ведь было не всегда. Да, его ранние рассказы уступали нынешним почти во всем – милые, немного наивные зарисовки без особого сюжета. Лишь один выделялся на их фоне: щемяще-нежный, наполненный тоской по той близости, о которой я сам всю жизнь мечтал. Это был единственный раз, когда мой друг отошел от беспримесного реализма – и единственный из его стоящих рассказов, который никогда не публиковался. А ведь он где-то у меня лежал, и это именно то, что могло бы поправиться Илаю, раз уж ему интересны всякие извращения. Хотя – какое же это извращение, просто к одному музыканту приезжает погостить молодой коллега, они беседуют и выпивают на террасе с видом в сад, играют дуэты, и старший ненавязчиво поправляет младшего – тут пауза, там интонация – а его жена тихо любит ими из своего кресла, и гость украдкой любит ею, пока хозяин не предлагает ему разучить еще одну пьесу – вот эту самую, полную печальной красоты, в кружевных трелях и арпеджио, ниспадающих в пол.

Я нашел его – это был и в самом деле юношеский текст, полный стыдливой эротики, но меня поразила, как в первый раз, та естественность, с которой вели себя его герои. Никто из них не терзался сомнениями, будто в их мире это было обычным делом – любовь втроем. Очень странный рассказ, простой и легкий, как дыхание. Я спросил Илая: будешь читать? Неа, сказал он, и я был готов поклясться, что маленький паршивец смеется надо мной, хотя лицо его не изменилось. Хорошо, я тебе прочитаю. Но записывать не буду. Или записать? Запиши.

На следующее утро он вел себя так же, как всегда: за столом угрюмо молчал, провожал меня взглядом, но в этом взгляде было что-то новое, чего я не мог разгадать. Я улучил момент и спросил, в чем дело.

– Он сочинил это про вас, – сказал Илай очень тихо. – Про тебя с ним.

Я уже и забыл о файле, который дал ему накануне вечером, и не сразу понял, о чем речь, а когда понял, то рассмеялся. Какая ерунда, мы с ним друзья уже много лет, и ему было проще использовать детали, которые под рукой – писатели всегда так делают. Он не хотел, чтобы оба героя были пианистами: это сузило бы художественную палитру. Ты ведь помнишь, там много сравнений со смычковым инструментом, и фортепианный дуэт – совсем не то же, что дуэт пианино и виолончели. И уж тем более мы не могли бы с ним любить одну и ту же женщину, потому что он к ним равнодушен.

– Там не было женщины, – ответил Илай с оттенком упрека. – Она ненастоящая.

– Ты хочешь сказать, что это была метафора – потому что в конце она исчезла? Ну в общем-то да, можно трактовать и так. В этом и прелесть литературы – в многозначности. Кто-то увидит тут любовь на троих, а для меня, например, это рассказ о музыке, только и всего.

– Они в конце остались вдвоем. Без музыки и без женщины.

– Ладно, ладно, это тоже вариант. Допустим, они были латентными геями. Но это же придуманная история, понимаешь?

– Я видел, как вы друг на друга смотрели.

– Музыканты всегда смотрят друг на друга, когда играют.

Я услышал в собственном голосе нотки бессилия, и меня неприятно поразила абсурдность этого разговора. Какого черта я должен перед ним оправдываться? Я был готов к конфликтам, к тому, что он будет пробовать границы, но не мог и предположить такого поворота дел, и сказал об этом Даре, ошеломленный и обескураженный, сказал, что не знаю, как мне себя вести, потому что Илай, кажется, меня ревнует.

– Он к тебе привязался, – ответила Дара невозмутимо. – Что в этом удивительного, если у него не было отца.

Это логичное объяснение утешило меня всего на несколько минут – оно было похоже на короткое одеяльце, которым невозможно укрыться целиком, все время что-то торчит и мерзнет. Ведь на самом деле меня тревожила не ревность Илая, а его пронизательность. Он знал обо мне больше, чем я был готов ему открыть, я же не знал о нем ничего. Думаете, я не пытался сам его гуглить? Да я забил его в поисковик в тот же вечер, когда узнал его настоящее имя. Угадайте с трех раз, каков был результат.

2

– Мосс?

– Я тебя слушаю.

– Там паучок.

– Не трогай его.

– Я не трогаю. Посмотри – это твой?

На стеклянной двери, ведущей на веранду, и правда сидел крохотный восьминогий гость. Я поднес к нему палец, и он отскочил одним блошиным прыжком.

– Да, это паук-скакун. С большой вероятностью, именно маратус, хотя я не специалист. Выглядит похоже. А серенький – потому что самка.

– Ты его как-то еще называл.

– Спайдерелло. Паучишка. Не обижай его, Илай, пусть живет.

Он демонстративно сцепил руки за спиной, но продолжал рассматривать прыгуна, почти касаясь стекла носом, который был ему, пожалуй, великоват. А я, в свою очередь, наблюдал за ним и гадал, обычное ли это любопытство или ему важно, что это *мой* паучок; а может, крошечный маратус, никем прежде не замечаемый и не ценимый, был для него таким же воплощением красоты, как желтый цветочек, который нельзя потрогать пальцами. Мне так хотелось понять его, узнать, что творится у него в голове. Наверное, поэтому я вел себя ужасно непедагогично, позволяя с собой фамильярничать и поддерживая все разговоры, которые он мне навязывал: чем больше строк, тем больше можно вычитать между ними. Я должен сделать акцент на этой линии поведения, которую тогда выбрал – от-

части ради того, чтобы объяснить себе самому, как вышло, что он заставил меня открыться.

С вашего позволения, я опять воспользуюсь тут музыкальным термином – «начать из затакта». Он прозвучит вполне логично, ведь затактом к этому разговору, который я собираюсь воспроизвести, послужило наше с Дарой совместное музицирование. Я искал способы дать ей хотя бы немного тепла. Каждый вечер, выключив ночник у кровати, я лежал и слушал ее дыхание, не в силах протянуть руку и коснуться ее. Мне не хотелось сознаваться себе в том, что я опять взвалил на себя больше, чем был способен выполнить. Я наобещал ей с три короба, пусть и не вербально, и теперь единственным выходом было бы лицедейство, на которое я в принципе способен. Но от мысли, что придется ей врать, меня выворачивало наизнанку. А реальность была такова, что я ничего не чувствовал, кроме чисто дружеской симпатии. Я начал вспоминать, когда в последний раз был по-настоящему влюблен, и вышло, что это было лет десять назад, и то с натяжкой. Вычеркнем «по-настоящему». Я думал, что был влюблен, десять лет назад. Детали этого мимолетного романа настолько несущественны, что я даже не буду пытаться их озвучивать.

Я воззвал к науке – а конкретно, к физиологии и химии мозга. Ведь в тот момент, когда Дара впервые провела смычком по струнам моей виолончели, со мной что-то произошло. Очевидно, в моем мозгу возникла новая нейронная связь. Она представлялась мне в виде едва заметной колеи на земле; если я попробую прокатиться по ней еще раз, она станет глубже и надежней – ведь именно так работают все наши привычки и стереотипы. Это меня воодушевило. Как-то раз я уселся играть в гостиной, рассчитывая, что рано или поздно Дара придет меня послушать. Расчет оказался верным, и мне не стоило большого труда усадить ее на стул перед собой, вложить смычок в ее руку и покориться судьбе. Я быстро понял, что колея безнадежно заросла бурьяном, и все-таки надо было признать, что мне нравилось вот так сидеть с ней, касаясь щекой ее коротко выстриженного виска, слушать ее простодушные восхищения сложностью аппликатуры и тем, как лихо я с нею управляюсь. Я не сразу заметил, что Илай, по обыкновению, встал поодаль, притворяясь, что просто мимо проходил. Но он, без сомнения, заметил всё; и, дождавшись подходящего случая, снова назвал меня странным.

– Почему? – Я послушно заглотил наживку.

– Ты на меня не сердишься.

– А за что я должен сердиться?

– За Дару.

Я решил его смутить.

– Ты имеешь в виду, за то, что ты с ней спал?

Он нимало не смутился, лишь слегка прищурился, словно смотрел на яркое солнце. Когда он так делал, у него приподнимались уголки губ – казалось, он пытается улыбнуться.

– Да. Почему?

- Ну, наверное, потому что я сам с ней не сплю.
- Спишь, – напомнил он с непробиваемой уверенностью логика.
- Я не в этом смысле. У нас просто не осталось лишних спален.
- Ты гей?
- Не знаю, – сказал я честно. – Но вообще вряд ли.
- Тогда надо хотя бы попробовать.
- Спасибо за совет. Пробовал, конечно. С другими.
- И что?
- Мне не нравится.

Почему я не отшил его на этом этапе? Фиг знает. Наверное, мне просто было приятно видеть его, слышать, как он борется со своим заиканием, чтобы закончить фразу – чтобы задать мне личный вопрос. Узнать обо мне еще что-то. Будем считать, что мне это льстило.

– Не бывает, – возразил он. – Что конкретно?

– Илай, я очень рад, что в тебе проснулось любопытство, но было бы лучше, если бы оно было направлено на какую-нибудь другую тему.

– Почему? Почему мне нельзя об этом говорить?

А и правда, почему подростку нельзя говорить о сексе? Я почувствовал что-то важное за тем отчаяньем, с которым он произнес эти слова. Где-то совсем рядом был ключ к нему. Я понял, что сваял дурака.

– Прости, Илай. Конечно, об этом можно говорить. Во всяком случае, под этой крышей. Говори о чем угодно.

– Так что? – он был твердо намерен вернуть разговор в прежнее русло.

– Коротко не объяснишь.

– Объясни длинно.

Так и получилось, что я поведал ему свою печальную повесть, немного сократив ее из цензурных соображений. Он слушал молча, не глядя на меня и кусая заусеницу на пальце. Потом спросил задумчиво, без всякой связи с моими последними словами:

– Он кончил на тебя?

Я сразу понял, о чем он, и сконфузился так сильно, что непременно покраснел бы, если бы умел. Пришлось кивнуть.

– Тебе это не понравилось?

– Ты в своем уме? Это было отвратительно. Это сломало мне жизнь.

В лицо будто плеснули кипятком: я вмиг пожалел о своей откровенности, которой он был недостоин – он даже не слушал меня, иначе как он мог такое спросить?

– Тебя отругали, – сказал он спокойно.

– Да, отругали, и что?

Он не стал утруждать себя ответом, но на его лице я прочел уже знакомое мне изумление чужой глупостью, толкающей людей на поступки вроде сования пальцев в кипящее масло.

Ну ты и тупица, Мосс. Да, тебя отругали, и жизнь пошла наперекосяк, но за минуту до этого – что ты чувствовал?

Не знаю. Не помню. Не хочу вспоминать.

Я не нашел ничего лучше, кроме как по-детски обидеться: трудно было прикрываться авторитетом взрослого после того, как он разделал меня под орех. Илай, в свою очередь, проявил неожиданно зрелое великодушие и сделал вид, что никакого разговора не было. Он не возвращался к этой теме, не стал дуться или избегать меня. Вместо этого он изобрел новую тактику. Теперь при мне он демонстративно утыкался в экран своего телефона – только ради того, чтобы в один прекрасный день я спросил, что он там смотрит. Илай тут же пересел ко мне поближе – мы валялись на диване, занимаясь каждый своим в отсутствие прекрасной половины нашего дома. Он показал мне видео: статичный план автострады с текущим в обе стороны потоком. Снято было с моста в самом начале сумерек, когда небо еще светлое, а огоньки фар уже видны. Илай промотал дальше – там было еще одно видео такого же содержания, но снятое днем и с другого ракурса. Он листал горизонтальную ленту, и роликам этим не было конца.

– Это ты сам снимал?

Он кивнул; я стал смотреть внимательней. Это не была одна и та же дорога: сперва надписи на щитах были мне знакомы, а потом замелькали названия из другой части города. Я жил то там, то сям, объяснил Илай. Ездил на велике и снимал. Внезапно меня осенило: а в тот вечер, когда ты упал – ты ведь тоже ехал со стороны магистрали? Нет, тут есть даты, проверь. Он стал тыкать в экран, придвинувшись ко мне так тесно, что я чувствовал плечом его ухо. Ты использовал это как дневник? Нет, отвечал он и продолжал показывать мне эти даты с такой настойчивостью, что я наконец сообразил: ему было важно, чтобы я поверил. Он действительно не снимал в тот дождливый вечер. У него были другие причины выйти из дома. А вслед за этим я понял и другое: он хотел отплатить мне за мою вынужденную откровенность. Он просто не умеет навязываться, рассказывать, не будучи спрошенным. А спрашивают вечно не о том и не тогда. Если бы я сумел задать один-единственный правильный вопрос... Но меня хватило лишь на что-то неловкое вроде «Ты мечтал снимать фильмы?»

– Нет, – сказал он тоном, каким взрослые беседуют с детьми. – Я просто смотрел. Они едут и едут, и это никогда не останавливается, даже ночью.

– Как кровь бежит по венам?

– Да, это ты хорошо сравнил.

3

До конца сентября произошло несколько событий, которые я должен обозначить хотя бы пунктирно. Зацвели фруктовые деревья в парке, и наш дом наполнился ароматами весны. Дара гладила белье, принесенное с улицы, и восклицала: как будто духами обрызгали, ну надо же! Я гулял теперь дольше обычного, и в один из дней, проводив меня, Илай спросил Соню, можно ли ему поехать с ней навестить Бадди. Он съездил раз, другой, а потом стал делать это даже тогда, когда я был дома, но по каким-то причи-

нам с ним не общался. Он тебе там не мешает? – подкалывал я Соню, имея в виду все эти весенние дела, к которым, как мне казалось, сам был непричастен: волнующий полумрак конюшенного хозблока, ароматная колкая солома на полу. Да нет, отвечала она, будто не замечая намека; наоборот, помогает, никакой работы не боится. По утрам Илай пил теперь кофе вместе с нами – это право он выбил себе без труда, просто сказал однажды, а можно мне тоже, Мосс, я не могу проснуться. Наконец, Соня стала вести себя на удивление деликатно, и когда Илай принялся канючить насчет кофе, не подняла его на смех и лишь наедине сообщила мне, что зашла в его комнату сменить постель, и, наверное, мне стоит об этом знать, потому что он, судя по всему, мастурбирует со страшной силой.

Из троих взрослых в этом доме я был единственным, кто заморочился по этому поводу. Разумеется, я не собирался гнуть мамину линию и читать ему нотации. Но я чувствовал себя виноватым, что недостаточно его нагружаю. Сами посудите – разве это жизнь: работа пару дней в неделю да иногда на конюшне, тогда как он должен быть занят круглые сутки, чтобы выпустить пар хоть куда-нибудь. До начала учебного года далеко, а дополнительный прием, который проводится зимой, мы уже прошляпили. Дома я, конечно, не давал ему лениться: он пылесосил, помогал в саду и готовил со мной как миленький, даже научился жарить стейки. Но всё это не могло идти ни в какое сравнение с колкой дров – заявляю это как настоящий итальянец. А печку в дом я все никак не мог купить, хоть и собирался.

Я спросил якобы ненароком, не хочет ли он пойти в тренажерку или в бассейн – мы бы с радостью оплатили ему членство. А ты сам ходишь? Я сказал, что нет, у меня кожа не любит хлорки, а вообще-то плавание – это очень полезно. Неа, отозвался он, не хочу. А велосипед? Ты же ездил раньше. Можем прокатиться вместе, тут много дорожек во все стороны. Давай, согласился он.

Шла середина сентября, когда дни еще холодные, но северный ветер приносит иногда совершенно летние плюсы двадцать с хвостиком. Я всегда был мерзляком, что способствовало сохранению навязанной с детства манеры одеваться. Самым неформальным, что я носил, были рубашки поло. Их я обычно оставлял на лето, а в остальное время ходил с длинным рукавом. Илай, напяливший тонюсенькую белую футболку, выглядел на моем фоне так, будто только что встал с постели. Крем от солнца он тоже не намазался, и мне пришлось собрать остатки своего авторитета, чтобы заставить его это сделать: в вопросах профилактики кожной онкологии я был непреклонен. Загнанный в угол ванной, Илай принялся изображать страдание, будто из тюбика ему на кожу капали расплавленным воском. Я ощутил невольный прилив жалости – я ведь понимал его как никто, но не мог допустить, чтобы он сел мне на шею, поэтому лишь сочувственно наблюдал, как он кочевряжится, брезгливо растирая крем тыльной стороной кистей и бросая на меня обиженные взгляды. «Хочешь, чтобы я мазался, купи спрей», – пробурчал он напоследок. Знаешь что, ответил я, еще одно

слово в таком тоне, и я с тобой никуда не поеду – ни сегодня, ни вообще. Понял?

Больше он не перечил мне. Покорно надел Дарин шлем, подогнал застезжки, и мы выкатились с заднего двора в залитый солнцем парк. Утренний туман уже растаял, но в воздухе всё еще пахло той особенной свежестью, какая бывает только в безветренные весенние дни. Мы повернули на север. Как колесо? – спросил я. Да вроде ехать можно. Купим другой, успокоил я его, если надумаешь кататься всерьез. Мне хотелось его воодушевить – в самом буквальном смысле: вдохнуть в него душу, заставить его кровь бежать быстрее. Я поднажал – дорожка была прямая, город быстро исчез за спиной, и там же, далеко позади, осталось морское побережье. Мы двигались вглубь материка, плавно набирая высоту. Я давно не садился на велосипед и быстро выдохся, но упорно продолжал крутить педали, чтобы не ударить в грязь лицом. Илай держался на полкорпуса сзади, то и дело уступая дорогу пешеходам. День был будний, и навстречу нам шли в основном мамы с колясками да редкие собачники. На развилке я свернул на гулкий дощатый мостик через ручей. Асфальтовая дорожка уступила место грунтовке, и мы принялись карабкаться в горку. Лицо у меня горело, сердце билось где-то в горле, а уж каково было мальчику с его ситибайком – об этом я мог лишь догадываться. Я обернулся – он ехал, привстав на педалях, размеренно и неспешно, тоже мне, улитка на склоне Фудзи. В конце горки я сбавил скорость, чтобы перевести дух, и он без труда меня догнал. Мы были километрах в семи от дома, вокруг – травянистые пустоши, окаймленные лесом. Солнце припекало всё сильнее, в прогнозе стояло плюс двадцать три, но это в тени, а поди найди тут тень: редкие деревца хитрят, поворачивают листики к свету ребром, чтобы не пересыхали. Когда мы уперлись в сетчатую ограду, я даже обрадовался поводу немного отдохнуть и подумать, куда нам двигаться дальше. Давай отъедем вон в ту рощицу, сказал я. Мы пересекли широкую поляну и прислонили велики к морщинистому серому стволу. Я был мокрый, как мышь: для велопоездки все же надо было одеться полегче. Напился воды из фляжки – ума хватило взять ее с собой. Илай отказался; стянул свою футболку и, подстелив ее, улегся на траву лицом вверх. Простудишься, предупредил я. Да я же сухой, смотри. Он и правда был сухой – я искоса глянул, усевшись рядом. Узкий, хлипкий, без единого волоска. Мне почудилось, будто он ищет что-то глазами; я запрокинул голову – над нами висела сквозистая игольчатая листва, и слабый ветерок раздувал ее, обнажая коричневые сосуды ветвей. Накатила приятная истома – от тепла, усталости и внезапного осознания того, что мы за городом и дом с его бытовухой не в семи километрах, а по меньшей мере в семистах. Шея затекла, и я лег на траву. Трава была – читатель ждет уж рифмы «забористая», но я хотел сказать, что она была высокая, с пушистыми метелками на концах, и это почему-то напомнило мне далекое-предалекое лето, так что придется-таки признать, что трава оказалась забористая, и меня забрало в мои воспоминания.

нения, как забирают в участок. Это очень точное сравнение, потому что выбраться наружу по собственной воле я не сумел.

Когда это было – неужели в ту единственную поездку с родителями? Мне казалось, я был постарше: очень уж отчетливо помнилась собственная рассудительность, работа мысли на фоне такой вот послеполуденной исто-мы. Я лежал в траве, голый по пояс – видимо, все же на коврике для пик-ников, да, это была семейная прогулка, не то в парке, не то на берегу реки. Лет мне было, по-видимому, девять или десять: самый излет моей невин-ности. И вот я лежал и думал, почему когда другие трогают под мышками и за бока – это щекотно, а когда сам – то нет. Я стал водить пальцами по коже: сперва там, где бывает щекотно, а потом везде. Не знаю, почему ни-кого не оказалось рядом. Может, это и не была семейная вылазка; неваж-но. Важно то, что сейчас, лежа под деревом, я с невероятной остротой вспомнил себя-тогдашнего. Мне было лениво, любопытно, легко – всё од-новремененно, я слушал стрекот цикад и вдыхал запахи разогретой травы, и от моих прикосновений к себе эти запахи и звуки делались ярче, словно все мои чувства заострились. Я вдруг подумал – меня, нынешнего, вдруг осенило – что это было счастье. Я был счастлив в своем десятилетнем теле, со своими десятилетними мозгами. Я был в гармонии с самим собой.

Я расстегнул рубашку и провел пальцами по груди. Увы, тело было чужое – щетинистое тело, ощетинившееся щекоткой в ответ на моё об-ращение с ним; это не я придумал, это Дара мне сказала однажды: ты как дикобраз колючками внутрь, оттого и щекотка, защита от угрозы. Мне так нестерпимо захотелось обратно, в себя-прежнего. Я тронул свой бок; там волос не было, но пальцы мои, единожды обманувшись, уже знали, что я – не тот далекий мальчик. На обочине зрения мелькнул локоть Илая – он то ли потер глаз, то ли убрал челку со лба; и, прежде чем я успел что-то поду-мать, моя правая рука – левая оставалась на моем боку – поднялась с тра-вы и тронула это недозрелое тело, тоже чужое и тоже близкое – парадок-сальным образом, более близкое, чем моё собственное.

Спустя миг или два Илай положил обе свои кисти поверх моих. Мы были теперь как два маленьких балетных лебедя, опрокинутых навзничь. Я сделаю паузу, чтобы вы могли осмыслить этот замысловатый образ, а я в это время попытаюсь вспомнить, была ли пауза тогда, ведь не могло же так быть, что он с первой же секунды начал водить моей правой кистью так, будто я держал в ней смычок, широкими привольными штрихами лаская себя, то легко, то надавливая сильнее, когда моя ладонь касалась его со-сков. Я стал ватным и перестал дышать – он делал это за нас двоих, а я лишь смотрел, не в силах оторвать глаз, как вздымается и опадает его жи-вот, всё чаще и глубже. Он отпустил мою руку и скользнул вниз, к пугови-це на джинсах. Я зажмурился и вдруг понял, что его левая рука уже давно сплелась с моей, проросла сквозь нее; мы касались моей кожи одновремен-но, и я не мог уже отличить, где он и где я, и мне не было щекотно. Все мое тело резонировало в такт его прерывистому дыханию, как резонирует кор-пус инструмента. У меня сдавило виски: я словно карабкался в гору вслед

за ним, он тащил меня, не спрашивая, хочу ли я этого. Он почти достиг вершины и стиснул мои пальцы до хруста, и в этот миг меня охватило дикое возбуждение. Рыба восстала из могилы, как зомби. Поверьте, это сравнение я делаю не для красного словца. Это было действительно страшно: неожиданно, неотвратно и больно. Илай, без сомнения, видел всё и повел мою руку в том же предсказуемом и желанном направлении, и тут у меня в сознании что-то щелкнуло, как в трескучем механическом будильнике. Я очнулся.

Похмелье было мучительным. Во-первых, я сообразил, что нас могли увидеть случайные прохожие, и от этой мысли меня бросило в холод. Я рывком сел и огляделся – никого; поднялся на ноги и отошел к велосипедам, пытаясь заглушить ноющую боль в паху. От резкого движения закружилась голова. Я выпил воды и постоял спиной к Илаю, пока он приводил себя в порядок. Думать ни о чем не хотелось. Хотелось домой и в душ. Я услышал возню и обернулся: он засовывал скомканную футболку под резинку, прицепленную к багажнику.

– Ты так и поедешь?

Он пожал плечами: мол, чё такого?

– Ты сгоришь.

Он смерил меня долгим взглядом и сказал негромко: с одного раза вреда не будет, Мосс.

4

Всю дорогу обратно я думал только об одном: что им двигало? Было ли это такое же мимолетное забытье, какое охватило меня, или он по натуре был лишен стыдливости и скрывал это только из уважения к нам? Моё собственное поведение почему-то не тревожило меня: никаких моральных терзаний – я отмечал это с изумлением, как бывает, когда сидишь в зубоврачебном кресле и слышишь треск выдираемого зуба, но боли не чувствуешь. Я пришел к выводу, что анестезирующий эффект тут имело осознание того, что Илай доверился мне. Ему было комфортно и безопасно рядом со мной, и он просто сделал то, что хотел. Так ведут себя животные. Соня любила говорить, что лошадь не думает о будущем и не пережевывает прошлое, а живет текущим моментом, и нам стоит поучиться у нее, вместо того чтобы париться по пустякам. На этом я и успокоился. Что было, то было. Конечно, о велопоездках я теперь не заикался: у выражения «давай прокатимся» появилась новая коннотация, и, понятное дело, я не хотел давать Илаю повод думать, будто не прочь повторить. Вместо этого я прибегнул к его собственной тактике и сделал вид, что ничего не произошло. В качестве альтернативы я предложил другое занятие: раз уж ты едешь с Соней – пусть она поучит тебя водить машину, ты же небось не умеешь. Но Соня отказалась наотрез: свое корыто разбивай, я только кредит выплатила. Правда, поучи меня ты, Мосс, – Илай подхватил идею с неожиданным энтузиазмом и так же резко поник, стоило мне сказать, что я не смогу, у меня не хватит терпения. Дара с тобой позанимается, если хочешь. Я пони-

маю теперь, что был порядочным мудилой, но тогда мне казалось, что я действую из лучших побуждений, что я сам знаю, в чем моя педагогическая мощь.

Свой рабочий день, чьи временные границы были крайне расплывчаты, я всегда начинал с дыхательной гимнастики, за которой следовала череда упражнений для связок и дикции. Я знал, что Илай часто слушает меня и, должно быть, уже выучил наизусть все эти «абстракции» и «обструкции», «Невелик бицепс у эксгибициониста» и леденящие душу истории про то, как макака коалу в какао макала. Иногда я занимался в студии, но чаще всего у себя в спальне, где было больше воздуха. Как-то раз я нарочно прервался и вышел на балкон. Илай, разумеется, был там – на сей раз без сигареты: очевидно, такое прикрытие ему было уже ни к чему, да и сигареты надо экономить, не стрелять же у меня. К чести своей, курил он редко и зависимости, судя по всему, не имел. Я сказал весело: ага, подслушиваешь, и позвал его внутрь. Хочешь, будем вместе делать зарядку? Это несложно, если начинать потихоньку. Попробуешь? Он нахмурился и покачал головой. Ну представь, что это игра. Я набрал воздуха и выдал басом преувеличенно густую и шумную «убаубу». Теперь ты. Он посмотрел на меня, как на идиота. Да что же ты такой серьезный, Илай? Так нельзя, тебе же не сто лет. Ладно, давай серьезно. Когда я произношу «уба-уба», у меня включается всё, что ниже горла – трахея, легкие, далее везде. В тембре голоса усиливаются низкие частоты, и он становится глубже. Голимая физика, ты же учил физику в школе? А пользы от этого больше, чем от накаченных мышц. Кто умеет говорить, того будут слушать, и это очень пригодится в жизни. Кстати, заикание тоже можно вылечить.

– А тебя оно напрягает?

Я растерялся.

– Да нет же, не во мне дело. Тебе самому было бы легче.

– Легче что?

Значит, перспектива владеть умами слушателей его не привлекает. Я вздохнул. По-своему он был прав, ведь мы понимали его. А остальным миром он, по-видимому, интересовался мало.

– Ну хорошо, проехали. В конце концов, не всем быть ораторами. Есть еще язык тела и всё такое. Ты ведь занимался балетом, правда?

– Уже не занимаюсь.

Он произнес это таким тоном, будто ему было знакомо слово «плеоназм». Ясно же, что он больше не занимается балетом и что мой вопрос не выражал ничего, кроме бессильной попытки сгладить неловкость. С какой стати я решил, что он будет общаться со мной исключительно на моих условиях, делать то, что я считаю для него полезным?

Всё это я понимал, но мне всё равно было обидно, словно он отнял у меня поворот сюжета, который так трогательно смотрелся бы в книге. Читатель рыдал бы над сценами, где мальчик-потеряшка, вскормленный тремя мудрыми наставниками, преодолевает свой недуг и начитывает со мной

главки из «Книги джунглей» по ролям. Увы, этому не суждено было сбыться.

Иногда – в ненастные дни, когда все дела переделаны, или в душные летние вечера, когда только и остается что сидеть под кондиционером на первом этаже – мы с Соней доставали из шкафа настольные игры. Позже мы стали играть вдвоем, но только с появлением Илая это развлечение обрело истинный смысл. Картонная доска теперь сводила нас вместе так же, как совместная трапеzia. Только с появлением Илая игра стала ритуализироваться, и эти ритуалы свято соблюдались – как в детстве. Лежбище котиков накрывалось пледом, чтобы кубик не закатился в щель между двумя диванами. Мы рассаживались в одном и том же порядке, Илай сворачивался калачиком на боку, подперев голову рукой, и в процессе игры постепенно дрейфовал вдоль дивана, пока не упирался локтем в мое колено. Играли мы обычно в «Монополию» или, если хотелось просто отдохнуть, в «Змейки и лесенки». Сам я больше всего любил «Скрэббл». Это была единственная игра, которая давала мне почувствовать себя царем горы. Никто не знал больше слов, чем я. Зак, вероятно, знал больше, но с ним мы никогда не играли. А уж мой брат и вовсе делался на моем фоне лузером. Тони, с его рельефным татуированным телом, с его темными очками и мотороллером (я был сутулым страдающим подростком, а он был похож на итальянского гангстера, черноглазый красавчик, выбритый до синевы), Тони, с его образцовой семьей (трое детей, жена врач, дом на второй линии от моря), с его карьерой в автобизнесе – он превращался в жалкого червяка, когда садился со мной за игровую доску. Наверное, поэтому он не делал этого уже больше двадцати лет.

В этот раз я настоял на «Скрэббле»: пусть парень немного потренирует мозги. Я доверил ему подсчет очков, и он подошел к делу очень ответственно: расчертил листок и заполнил его своим аккуратным почерком, вписав имена играющих в алфавитном порядке. Вид его нечесаного затылка и торчащих под футболкой лопаток наполнил меня смесью нежности и тоски. Я остро представил, как буду скучать по нему, когда он уедет. Наверное, поэтому играл я невпопад, позволяя Соне, а затем и Даре взять над собой верх. Я дошел до того, что стал подсказывать Илаю, снова и снова перебиравшему свои фишки: а вот это что? – я потерял я его за волосы. Не подходит, сказал он. Другое слово, Илай. Как это еще называется? «Ло...» Ну локон же. Точно, согласился он без обиды. Я забыл. Чей теперь ход? Дара шевелила губами, повторяя загадочное «стр» – и дальше две пустые клетки, а потом «а». Не знаю, качала она головой, только русские слова идут на ум. *Струна. Страна. Страда.* Это по-итальянски, заметил я. *Страда* – дорога. А по-русски что это? Сельхозработы какие-то, сказала Дара. Но корень многозначный, используется в слове «страдание». Эй, сказал Илай, заметив телефон в Сониной руке, не гуглить. Я не гуглю, отмахнулась та, я читаю про страдание. Она мухлюет, Мосс. Он ловко извернулся, подогнул руку, которой подпирает голову, и я ощутил его затылок у себя на колене и увидел широко распахнутые мне навстречу прозрачные

глаза. От неожиданности я, кажется, дернул лицом – произвольный тик, я так испугался, что девушки догадаются, что между нами было, на меня повеяло ледяной сыростью подвала, и я что-то пробормотал и попытался отстраниться. Но тревоги мои были напрасны: Соня глядела в телефон, Дара в свои буквы, и только Илай всё понял, убрал голову и до конца игры больше со мной не разговаривал.

Я проснулся посреди ночи: что-то со стуком упало на пол. Под дверью ванной лежала тоненькая полоска света. Дара тоже зашевелилась, спросила: что там? Какое-то время было тихо, потом зашумела вода в раковине. Я посмотрел на часы – начало третьего. В ванной закрыли воду и будто бы шмыгнули носом – а, может, всхлипнули. Дара проворно поднялась и выглянула в коридор. Илай, позвала она вполголоса, у тебя всё в порядке? Он там, пояснила она. Его дверь открыта. Можно войти, Илай? Скрип, шаги, яркое пятно света в глубине спальни. Всё хорошо, услышал я. Вошел в ванную. Мальчик был замотан в полотенце, глаза красные, у Дары в руках – безопасная бритва с отколовшейся ручкой. Тише, детка, – она сделала мне успокаивающий жест, – пойдём, ляжешь. Они ушли. Я вернулся в кровать, но на сердце было тяжело. Почему бритва, зачем бритва, я же думал, что у него есть нож, но даже если бы и был – что такого произошло, мы ведь всё делаем правильно?

Свет в ванной погас, Дара легла рядом: всё в порядке, он скоро уснет. Почему он плакал? Я не знаю, он ничего мне не сказал. Спи, Морис.

Наутро я, как всегда, постучал в его дверь. Как всегда, намолот кофе, но заправлять кофеварку не стал. Соня и Дара уже спустились, а мальчика всё не было. Я поднялся и постучал громче: вставай, Архип, петух охрип. Подождал немного, вышел на балкон и заглянул в окно его комнаты. Он неподвижно сидел в кровати, и я решил приоткрыть дверь: можно, Илай? Он кивнул. Я уселся в изножье постели. Как ты, дружище? Веки у него припухли, уголки рта были опущены. У меня защемило в груди.

– Послушай, я не знаю, что произошло, но если я сделал тебе больно – прости меня. Да, многие вещи трудно выразить словами, и люди часто ошибаются и нечаянно обижают друг друга. Всё, что мы можем сделать, – поддерживать коммуникацию на любом уровне, который нам доступен. Не получается словами – вырази иначе. Нарисуй, станцуй, покажи пантомиму – что угодно, только не сиди молча в углу. Я прошу тебя, Илай. Мы не умеем читать мысли, понимаешь?

Глаза его по-прежнему были прикованы к сложенным на одеяле рукам. Я накрыл их своей – длинные кисти, тонкие запястья – птичьи лапки, такие же холодные, как у меня, мы оба астеники, травматичные, высокочувствительные, воображаем себе Бог знает что. Он посмотрел на меня в упор, как вчера за игрой. Я улыбнулся ему.

– Вставай, я кофе сварю. Мы не завтракали, ждали тебя.

С этими словами я поднялся и ушел – наверное, чересчур поспешно, но так было надо, потому что если бы я задержался еще на полминуты, я бы не выдержал и обнял его.

5

Про святого Маврикия я знаю только то, что в традиционной иконографии он изображался негром. Я запомнил этот факт, потому что в детстве он меня смущал: сам-то я был хоть и черножопым, но все ж таки европеоидом, почему же меня назвали в честь этого Маврикия, который был мне даже не родня? Вот с Тони всё понятно: дедушку по маминой линии звали Антонио, а Франческу окрестили так просто потому, что родителям нравилось это имя. Но меня-то за что? А в итоге вышло так, что мои сиблинги, выйдя из детского возраста, перестали праздновать свои именины, а я делаю это до сих пор. Вы скажете: ну а что еще остается бедолаге, у которого день рождения раз в четыре года? Дело совсем не в этом, а в чем – я и сам не знаю. Может, я привык бессознательно подражать маме, которая любила свои именины, а день рождения не отмечала. А может, во мне говорит моя природная тяга к слову, к языку, а цифры не имеют для меня значения. Недаром итальянское «именины» звучит почти так же, как название науки, изучающей имена собственные: ономастико.

В детстве мама всегда устраивала для меня большой праздник двадцать второго сентября. Она делала мармелад из айвы и пекла *картеллате* – я чувствовал себя королем, их ведь обычно готовили на Рождество, эти печенья из слоеного теста, похожие на розочки, такие красивые, что было жалко есть. Я всегда был для мамы самым-самым, я и сейчас это ощущаю, и мне становится грустно оттого, что она – там, а я тут, она так решила: нашла себе итальянца, который выращивал кофе на своей маленькой плантации в Квинсленде, и уехала к нему греть косточки, ужас как надоел капризный климат австралийского юга. Она умела плевать на условности, выбирая то, к чему лежало сердце. Дети взрослые, сами придут, если захотят. Дети не согреют тебе постель, у них свои заботы. А ей было важно иметь рядом мужчину. Это я сейчас понимаю, а раньше обижался. Она уехала, когда мне было двадцать пять. Навещала нас, конечно, пока здоровье было получше. Она всегда звонила на мои именины, и я каждый раз испытывал неловкость: да, мама, нет, мама, у меня всё хорошо, я встречаюсь с девушкой, и мы, может быть, как-нибудь поженимся. Мама вздыхала. Она всегда чувствовала, когда я вру.

Соня знала, что я отмечаю что-то в сентябре – ей было проще думать, что это день рождения, и она поздравляла меня и дарила всякие приятные мелочи. Даре я упомянул двадцать второе вскользь, рассказывая про наши семейные традиции. Своих собственных традиций празднования именин я так и не завел. Пару раз я срывался и летал к маме, но чаще всего просто ходил в ресторан с теми, кто подворачивался под руку (это обычно была Кикка с дочкой). В этом году именины выпали на самую середину недели, когда у Сони длинная смена, после которой она валится без задних ног. Я был не в духе и сразу после завтрака ушел на прогулку, чтобы прочистить мозги. Гулял я около двух часов: вдыхал душистый воздух, думал о маме и о том, что жизни моей, видимо, суждено остаться такой же нескладной, как и я сам. По крайней мере, мне везло с друзьями – а

это, согласитесь, тоже немало. Я был здоров, у меня была крыша над головой, любимая работа, музыка и умение радоваться мелочам. Да, меня почему-то называли Мавром, но Равелю, Эшеру и Метерлинку это не помешало, так что нечего пенять на имя.

Когда я вернулся, Соня сидела на веранде, потягивая что-то через соломинку.

– Как прогулка? – спросила она. – Будешь апельсиновый сок? Свежий.

– А почему шторы закрыты?

Соня сделала неопределенный жест – закрыла и закрыла, мало ли. Расскажи лучше, где ты был. Мне показалась странной настойчивость, с которой она пыталась удержать меня на веранде, но я притворился, что ничего не замечаю. Мы поболтали минут пять, и тут дверь открылась и Дара сказала: ой, ты уже пришел. Она так волновалась, что забыла снять фартук, и рассмеялась, заметив это. Ладно, чего уж теперь, заходи, Морис.

Я ощутил знакомый запах прежде, чем увидел на столе блюдо с горой золотистых шариков – целый Монблан, сколько же они его готовили, и откуда они узнали – Дара, это же *струффоли*, мне мама такое делала в детстве! Ну вот, огорчилась она, ничем тебя не удивишь. Это чак-чак, у нас татары его едят, ну и все, кому не лень, потому что вкусно. А угадай, кто выбирал мед – кто у нас главный по меду? Илай вспыхнул от удовольствия, и я живо представил, как они, проводив меня, бросились на кухню, как суетились поначалу, пока кто-то (кто это мог быть?) не раздал указания, и они замешивали тесто, катали из него длинные колбаски – тебе давали их резать, Илай – эти колбаски, *серпентелли*? Они их так не называли, ответил он, но выглядел очень гордым оттого, что без него они нипочем не успели бы всё закончить в срок. Мы это едим с чаем, сказала Дара извиняющимся тоном; я знаю, ты чай не пьешь... Буду, буду, я на всё согласен. А ты, Соня, не опоздаешь на работу? Я сменами поменялась, в выходной отработаю. Гулять так гулять.

Я встретился с Дарой глазами – и понял то, что знал с самого начала нашего знакомства и чему, увы, придавал так мало значения, будучи избалован вниманием – избалован незаслуженно, ведь и голос мой, и моя внешность – всё это досталось мне даром. Дара любила меня, не требуя ничего взамен. Так ее любил когда-то Дарси. Мне достаточно было просто быть в ее жизни. Но я не мог так. Я не хотел просто быть.

Илай выручил меня, сам того не зная. Мосс, я не понял кое-что в рассказе, ну в том последнем, который ты мне записал. Они там говорят про терменвокс, я почитал, но ничего не понял. Это музыкальный инструмент, где играют на невидимых струнах – просто водят руками по воздуху. Да, но что они делали в рассказе? Как они играли на этой женщине? А, ты не понял метафору. Ну ты ведь знаешь, что женщины любят ушами? Илай посмотрел на меня недоуменно – невинное дитя, ну ты хоть в курсе, что такое секс по телефону? «Я покажу тебе, – он склонился над ней так, что прядь ее волос над ухом затрепетала от его дыхания, и секундой спустя всё

ее тело свело сладкой судорогой», – боже правый, неужто Зак в самом деле написал это? Но ты навел меня на мысль, Илай – ведь это именно то, что я умею делать лучше всех. Колебания воздуха – это же моя стихия.

Конечно, я знал, что играть на терменвоксе легко только с виду. Чтобы свести женщину с ума одними словами, надо очень хорошо ее изучить. Я начал с простого: вечером в постели завел с ней разговор об эротических фантазиях. Мы очень быстро обнаружили, что нам нравится болтать на эту тему. Нам было любопытно и весело, и в итоге я забыл, с какой целью всё это затеял – мы просто нашли друг друга, два человека, которым хотелось разделить с кем-то свои неудобные тайны и узнать тайны другого. Признаюсь, Дара сумела меня удивить – я-то не отличался чрезмерным воображением в этой области. Самой отчаянной из моих свежих фантазий было – вы уже, наверное, догадываетесь – вуайеристское желание увидеть Дару с Илаем. Безобидное само по себе, оно, тем не менее, заставило меня внутренне покраснеть, когда я в нем признался. А Дара будто бы совсем не удивилась – только сказала: не знаю, захочет ли он сам – словно заранее согласилась на это с такой же простотой, с какой вели себя герои рассказа.

Я не сомневался, что Илай слышит отзвуки наших разговоров, и был готов, что он как-нибудь себя проявит. Так подросток стучит в стену чересчур любвеобильных родителей: предки, имейте совесть, я спать хочу, – а сам мучается смесью презрения и желания быть рядом с ними, быть одним из них. Минуло несколько вечеров, и мы услышали, как на балконе стукнула дверь. Курить пошел, паршивец, сказал я и поднялся. Ты что там стоишь? Дара тут же вмешалась: заходите-ка оба, холодно. Окинула взглядом мальчика, завернутого в плед: еще и босиком, ты вообще с ума сошел, ну-ка залезай. Он скинул плед на пол и нырнул под одеяло рядом с ней – чопорный Морис в наглухо застегнутой зимней пижаме не успел разглядеть, было ли на нем надето хоть что-нибудь. Ноги как у лягушки, сокрушенно сказала Дара. Что ты там делал? Мне сон приснился, ответил он по-нуру. Страшный? Да нет. А что, Илай? Я лежал с другой стороны от Дары, сдвинувшись на краешек, чтобы дать мальчику место. Он молчал. Дара мягко сказала, ну не хочешь, так не надо, и погладила его по голове таким нежным материнским движением, что я подумал: она была бы замечательной матерью, и снова почувствовал себя эгоистом и слабаком, и в тот же миг Илай заговорил: мне снилась девочка, которую я знал, когда был маленьким.

Здесь, в нашей постели, он и начал рассказывать. Мы долго собирали его историю по кусочкам, как мозаику – по разрозненным кусочкам, которые я сложу для вас в единое целое, потому что не хочу морочить вам голову модным нынче нелинейным повествованием. Я постараюсь быть хорошим ретранслятором и не домысливать за него слишком много, хотя мне придется иногда заполнять пустоты. Я поведаю вам его историю с самого начала, хотя он начал совсем не с этого. Он сказал: я встретил ту девочку, она была балериной.

6

Его детство прошло в декорациях гранжевого романа⁴, хотя сам он не знал ни этого термина, ни девяностых годов. Дом, в котором он жил до семи лет, будто бы сошел со страниц автобиографии Джона Бирмингема: коммунальный улей, где селились вскладчину те, кто не мог или не хотел пускать корни – нищие студенты, туристы-дикари, игроманы, богема и прочие задроты. Мало кто задерживался тут надолго; соседи сменяли друг друга быстрее, чем мальчик успевал запомнить их имена, и ему казалось, что все они вращаются вокруг, а сам он остается неподвижен, он ведь не помнил, что было до того, как они переехали в этот дом. Иногда с ними жил еще дед. Без него они пропали бы. Мать бы точно съехала с катушек, она ведь была артистическая натура и потому ей непременно надо было жить в большом городе, и она всякий раз отказывалась от предложений деда переехать к нему. Дед жил далеко – четыре часа на поезде, и рядом одно только море и никакой культуры. А мать была художницей.

У нее, наверное, была своя жизнь – у девчонки, родившей по залету неизвестно от кого. Она, вероятно, была хорошенькой, с таким же, как у сына, спокойным ясным взглядом и вызывающе красивыми губами. Во всяком случае, мужчин вокруг нее всегда было много. С ними она оживлялась, а когда они уходили, становилась похожей на краски в тюбиках. Илай как-то добрался до этих красок и попытался с ними играть. Из одного тюбика выполз червячок, а остальные были высохшими и скучными. Мать не стала его ругать, когда увидела. Она никогда его не шлепала и не кричала, что он загубил ей жизнь. Но это было и так понятно.

Она выросла в маленьком поселке – население девятьсот тридцать, десять минут на машине до регионального центра, двадцать – до побережья с бесконечным пляжем и озерами, отделенными от моря тоненьким перешейком. Летом туристы валили толпами. На длинные пасхальные выходные народ тоже стекался охотно, а в тот год Пасха была ранней и теплой. Где-то на этом пляже ученица выпускного класса и познакомилась с компанией загорелых веселых ребят. Они, наверное, катали ее на катере и приглашали к себе в кемпинг на барбекю. Потом они уехали, а в школе началась вторая четверть.

Ребенка решили оставить. Дед, конечно, очень помогал, пока мать еще жила с ним. У них был большой дом и пол-акра земли. Илай проводил там все свои каникулы, пока дед был жив. Дайте телефон, попросил он, я покажу. Он набрал в поиске адрес и открыл страницу с объявлением о продаже дома. Продали его два года назад – по нашим столичным меркам, за бесценок. Один этаж, длинная веранда вдоль всего фасада. Внутри – дровяная печка, массивная мебель из цельного дерева и просторное патио с натяжными потолками из ткани, сквозь которую лился солнечный свет. Я здесь спал, когда тепло, – Илай тыкнул пальцем в сиреневую кушетку, над

⁴ Гранж (англ. grunge lit) – течение в австралийской литературе 1990-х. Центральные герои жанра – молодые горожане низкого достатка, ведущие бесцельную жизнь, страдающие алкоголизмом и наркоманией и не имеющие постоянного жилья.

которой на дощатой стене висели картинки в рамах. А зимой спал тут. Он сильно заикался, комментируя эти фотографии. Вот здесь дед полон сорняки – перед домом был большой ухоженный сад с прудом и мостиком, каменными статуями и поилкой для птиц. А позади дома лежал нетронутый кусок буша со старыми эвкалиптами – их собственными. Ты по ним лазил? Он кивнул. Голос уже не слушался его.

Когда мать поступила в столичный колледж на дизайнера, Илаю был годик. Ребенку была нужна мать, матери была нужна учеба, и дедов дом в это уравнение никак не вписывался. Сам дед приезжал, когда был в отпуске. Он всю жизнь работал аптекарем. Илаю нравилась его профессия – не потому, что его очаровывала вся эта алхимия, сиропы от кашля, белые халаты; это было не главное, а вот то, что дед имел право заверять документы, производило на мальчика огромное впечатление. Дед был очень важным, его размашистая подпись на бумаге значила больше, чем теоретическая возможность подсунуть кому-нибудь яд вместо лекарства. Такого дед бы точно не сделал.

Днем, пока мать училась, Илай был в садике. Вечером в выходные она часто уходила тусить с друзьями или приглашала их домой. Какой из этих двух вариантов был хуже, он определить затруднялся. Гости, во-первых, шумели; во-вторых, начинали двигать мебель и переставлять вещи с места на место, а это вызывало у мальчика сильный дискомфорт. Он быстро усвоил, что если вещи двигают – значит, будет шум и дым коромыслом, и мать будет пьяная, и голос у нее станет другим. Он ненавидел этот другой голос и безошибочно распознавал тягучие интонации и хрипотцу – неважно, вживую или по телефону, это всегда означало одно и то же: мать снова наклюкалась.

Если она уходила, с Илаем сидел кто-нибудь из соседей. Дед помогал с деньгами, но их всё равно не хватало, и нормальную няню мать себе позволить не могла. А соседи зачастую радовались и бухлу. Одного такого соседа Илай боялся особенно: вместо правой руки у него была культя, а лицо сильно обожжено. Сам он, впрочем, был мирным и мальчика никогда не обижал, да и другие обитатели дома были к нему добры. Но тогда, лет до пяти, он еще хотел, чтобы рядом была мама, а не кто попало. А мама вместо этого залетела снова.

Как ни странно, к дочке она сумела привязаться и любила ее даже тогда, когда у девочки обнаружились врожденные пороки развития. Мать будто бы образумилась, увлеклась естественным родительством и стала везде таскать с собой дочку в слинге – в том числе на тусовки. Илай выбивался из этой благостной семейной картины: он капризничал по любому поводу, не умел играть сам – так казалось матери, потому что он без конца за нее цеплялся, и фраза «Да займись ты хоть чем-нибудь!» до сих пор звучала у него в ушах. Вскоре он перестал цепляться, а когда мать пыталась обнять его, отталкивал ее и уходил. Она сама ему об этом рассказывала: вспомни, как ты меня ненавидел.

В колледже мать больше не училась – как она сама считала, временно – но сидеть дома ей было невыносимо, и вечерами она нередко уходила, забрав с собой дочку. Та мирно спала и вообще не причиняла таких хлопот, как Илай в ее возрасте, о чем ему было сказано неоднократно. А в доме как раз появился новый жилец, который сам предложил матери оставлять мальчика с ним. Не бойтесь, сказал он, я полицейский и в обиду его не дам. У меня и разрешение есть на работу с детьми – показать? Мать ответила, что не надо, и даже, как помнилось Илаю, послала ему воздушный поцелуй. А тот сделал вид, что поймал поцелуй своей щекой. Он был веселый малый. Звали его Джесси.

Илай был не склонен вот так сходу очаровываться людьми: незнакомцев он побаивался и наблюдал за ними из безопасного укрытия. Но Джесси его очаровал. Он показал мальчику свою фуражку и подарил полицейскую машинку с сиреной. Он сажал его на колени и читал книжки – Илай обожал, когда ему читают по ролям, но мать это делала плохо, он придирался, она обижалась, и книжка летела в угол. Он устраивал шутившую возню и позволял мальчику себя побороть, а потом смеялся и целовал его. Мать никогда его не целовала – во всяком случае, он этого не помнил. Илай плакал, когда надо было расставаться с Джесси, но тот говорил, что они обязательно увидятся еще, ведь у мамы тоже должны быть свои маленькие праздники, верно? Не беспокойтесь, мэм, всё будет по высшему разряду. Я его искупаю и уложу. Развлекайтесь.

В этом месте я ощутил, будто чья-то костлявая рука коснулась моего горла. Я не хотел слушать дальше, но Илай спокойно продолжал и рассказал, не скрывая подробностей, как Джесси начал трогать его, мягко и постепенно, это была игра, которая нравилась обоим – он видел это по лицу Джесси, и самому ему было приятно. Он знал, что это их секрет, но однажды, когда пришлось провести в разлуке много дней – неделю или около того – он попросил мать во время купания сделать так же, как делал Джесси, и у матери вытянулось лицо, и Илай понял, что случилось непоправимое. Он пытался отмалчиваться, и чем упорней он молчал, тем сильнее мать трясла его, требуя подтверждения своей догадки. Наконец он сознался – и впервые пережил невыносимое чувство вины из-за того, что своими словами нанес вред другому человеку. Тому, кто был к нему так ласков.

– Ты понимаешь, что тебе повезло? – спросил я. – Что всё могло закончиться очень плохо?

– Не знаю, – ответил он задумчиво. – Я только жалею, что он никогда мне не снится. Другие да, а он ни разу. Я даже не помню его лица.

7

Одного я не мог понять: почему у моей сестры получилось иначе? Да, она была постарше, чем мать Илая, когда привезла домой подарочек из Индии, но неужто у двадцатилетней хипшутки больше мозгов, чем у старшеклассницы? А сейчас смуглянка Лила изучает в университете право, и это самая умная девушка из всех, кого я знаю. Кикка любит ее до без-

умия, и всегда любила, хотя вырастила одна и от родителей ничего не требовала. Почему мать Илая не любила его?

Она, наверное, по-своему за него переживала – во всяком случае, жилье они вскоре сменили. Тут кстати будет вспомнить о том, что Илай, как и я сам, с детства был высокочувствительным, хотя у него это выражалось в других особенностях восприятия – в частности, в том, что его destabilизировали малейшие изменения обстановки. А теперь представьте, что с ним было, когда они переехали.

До десятилетнего возраста он переезжал дважды, если не считать марш-броска из провинции в столицу. Сперва им дали квартиру в муниципальной высотке: те же яйца, только в профиль – жилье, конечно, бесплатное и не надо ни с кем делить санузел и кухню, но контингент в таких домах даже похлеще, чем в веселых общагах, где во дворе ставят палатки те, кому не досталось спальни, и поют песни под гитару. Многоэтажки для малоимущих – это хардкор уже по определению. Там торгуют наркотиками, дерутся, бьют припаркованные во дворе машины – просто так, от скуки, ведь если можно не работать, то зачем? Хороших людей там тоже хватает, и многие, сплоченные общей бедой, стараются помогать друг другу. И все же, слушая Илая, я не мог отделаться от ощущения, что погружаюсь вместе с ним на дно, как водолаз.

Название района, где он прожил почти два года, было мне хорошо знакомо. В середине прошлого века это были городские задворки с обветшалыми домами викторианской эпохи и бесконечным рядом лавчонок вдоль центральной улицы. После войны там стали селиться европейские иммигранты, в основном из Средиземноморья. К моменту прибытия моей мамы с семьей район уже преобразился, кофейни и итальянские ресторанчики были чуть ли не на каждом углу, хотя на мамины ланчбоксы в школе всё еще смотрели косо: детям было положено есть на обед сэндвичи, а не выпендриваться своими фритатами, свежей зеленью и ломтиками салами. Времена изменились, теперь уже никого не удивишь итальянской кухней, а район из-за близости к центру стал модным и дорогим. Я не раз бывал там в сентиментальной надежде ощутить атмосферу маминых первых лет в Австралии. Всё, что я знал о тяготах и лишениях, ограничивалось ее рассказами, а худшим, что я из них запомнил, были насмешки одноклассников да страшилки о детях, которые тонули в местном плавательном бассейне из-за того, что не умели читать по-английски. В память об этих детях – и в назидание будущим купальщикам – на стене бассейна вывели огромную надпись «Глубокая вода» – как думалось администрации, по-итальянски, хотя слово *acqua* было написано с ошибкой. Я сидел в этом бассейне, ностальгируя по маминой юности, я гулял до темноты мимо ярко освещенных ресторанных двориков и не замечал, что высоко в небе мне недобро подмигивают узкие окошки муниципальных домов.

В свои неполные девять лет Илай успел повидать такое дно, какое мне и не снилось.

Почему-то ярче всего ему запомнились не истошные крики соседа сверху – то ли душевнобольного, то ли наркомана в жестокой ломке, – не пожар на первом этаже и не загаженные лестницы, где в плохую погоду собирались компании подвыпившей молодежи. Больше всего он боялся, когда стучали в их квартиру. Это обычно случалось вечерами, когда мамы не было дома – она работала на кассе в тошниловке и часто задерживалась допоздна. Стучали торчки, ошибаясь дверью, стучали какие-то мутные личности, требуя дать мобильник – «У меня разрядился, а тут человеку плохо, откройте». Мама строго-настрого запретила открывать, даже если будут просить щепотку соли женским голосом. Илай прятался в угол и зажимал уши, но иногда стук был таким сильным, что казалось, дверь вот-вот выломают. Тогда он пересаживался поближе к сестренке. «Ты хотел ее защитить?» Он опустил глаза. Он надеялся, что его не тронут, если в руках у него будет маленький ребенок.

Полиция приезжала часто. Илай смотрел в окно и мечтал, что однажды к ним на вызов пришлют Джесси, и они узнают друг друга, и Джесси заберет его с собой. Первое время, когда их только разлучили, еще на старой квартире, ему нестерпимо хотелось хоть на миг ощутить прикосновение чужой нежной руки к своим потаенным местам. Он успел изучить их вдоль и поперек задолго до появления Джесси и хорошо знал чувство кратковременного успокаивающего тепла, которое давали ему нехитрые манипуляции с собственным телом. Но по-настоящему подружиться с этим телом он смог лишь тогда, когда познакомился с Джесси; и потом, когда Илай остался один, эти воспоминания помогали ему добиться небывало сильного и острого удовольствия. Как наркоман вкалывает себе дозу, чтобы пережить новый день, так и он закидывался немудрящим гормоном радости всякий раз, когда надо было войти в клетку со львами. А это приходилось делать ежедневно.

Как ни странно, эта школа (уже вторая на его счету, в первый класс он пошел в прежнем своем районе) была относительно терпимой. Дразнили его всегда: он заикался всю жизнь, сколько помнил себя, но взрослые его этим не стыдили, и он, видя на их лицах свое отражение, привык считать, что с ним всё в порядке. Дети были просто идиоты, и это было бы еще полбеды, если бы среди них не попадались идиоты агрессивные, которых не устраивало, что жертва остается равнодушной к их насмешкам. С ними Илай обращаться не умел и только закрывался руками, когда его били. Как маленький зверек, вечно живущий в страхе быть съеденным, он быстро научился считывать сигналы опасности. Любая новая среда вызывала у мальчика паралич ужаса, поскольку надо было каждый раз начинать сначала: привыкать к новым лицам, угадывать, откуда ждать угрозы. С первой школой ему не повезло, во второй вполне можно было учиться, если вести себя с умом. А потом они опять переехали.

На сей раз государство от щедрот своих выделило им не квартиру, а целый дом. Надо отдать матери должное: бюрократические пороги она обивала с тем же упорством, с каким психбольной бьется головой о стену.

Скупая на эмоции, мать Илая обладала железной волей. Наверное, если бы мальчику угрожала реальная, в ее понимании, опасность, она бы сумела его защитить. Но Илай продолжал капризничать до истерик и в их новом доме. Казалось бы, чего еще желать – две спальни, комната для стирки с казенной машинкой, задний дворик, где дети могут играть. Район, конечно, так себе, до центра теперь гораздо дальше, но железная дорога – вот она, прямо за забором, и школа в двух шагах, за электроподстанцией. Что ты рыдаешь? Школа плохая? А где я тебе хорошую найду – где, Илай?

Школа была действительно плохая. Я пробежался только по первым отзывам, которые выдал мне поисковик, и, судя по всему, за шесть лет в ней ничего не изменилось: жалобы на равнодушные учителей, которые не желают ничего делать с травлей в школе, на нехватку финансирования – даже обычных кондиционеров в здании толком не было, и на все перемены детей выгоняли на улицу, в жару и дождь. Илай готов был терпеть хоть дождь, хоть ведро, только бы не было хулиганов.

Там, в этой школе, он впервые начал себя резать. Это, наверное, спасло его тогда: вид его окровавленных рук испугал не только учителей, но и самих хулиганов – они поняли, что Илай псих, а с психами связываться себе дороже, еще пырнет тебя этой розочкой, докажи потом, что его не трогал. К тому же всегда найдется кто-нибудь посмешнее – да хоть этот новенький, глухарь. Илай тоже заметил одноклассника, который перешел к ним во втором полугодии. Он носил такой же кохлеарный имплантат, какой был у деда, хотя тот оглох недавно, а бедняга мальчонка с рождения ничего не слышал. Илай проникся к нему симпатией, и у них даже завязалось подобие дружбы – он сам так выразился, будучи не менее осторожным в выборе слов, чем в своих поступках. Они оказались слишком разными: новый товарищ уже на следующий год пошел в рост и, опьяненный тестостероном, начал давать сдачи обидчикам. А Илай всегда был миролюбивым и держался подальше от тех, кто вел себя агрессивно. Меня бы он тоже избегал, даже если бы я взялся его защищать – во всяком случае, в том нежном возрасте, о котором я веду речь.

Он перешел в следующий класс, и жизнь стала понемногу налаживаться, когда мать познакомилась с каким-то упырем-дальнобойщиком. Тот красиво ухаживал, денег не жалел и сразу согласился взять ее вместе с довесками, чтобы зажить вчетвером у него на восточном побережье, где тепло и пальмы. Мать тут же расцвела и сообщила Илаю, что терпеть ему осталось недолго и после второй четверти они переезжают. Ты рад? Я не поеду, сказал он. Что значит, не поеду? Ты со мной так не шути. Илай объяснил, как мог, что еще одного переезда он не вынесет, но мать только усмехнулась. Что ты знаешь о страданиях, нытик? Мне и то было хуже в твоём возрасте. Она встала и вышла из комнаты, показывая, что разговор закончен. Когда она вернулась, Илай стоял со спущенными штанами. В одном кулачке он сжимал свой детский член, в другом нож. Я отрежу его, сказал он тихо. Ты чокнулся, взвизгнула мать, брось немедленно, и в ответ

он выкрикнул во всю силу своих легких: отрежу на хуй, только подойди! Я никуда не еду, поняла? Уматывай, если хочешь, я не пропаду.

«Ты сам это помнишь? – спросил я. – Или мать рассказывала?». Илай ответил: и то, и то. Она рассказывала не раз, но и сам он смутно помнил, хотя не мог поверить, что когда-то был способен так отчаянно протестовать. В дальнейшем он только сильнее смирялся, и что бы с ним ни происходило, он лишь закрывал голову и ждал конца.

Но тогда он добился своего. Мать с сестренкой уехали. Он остался.

8

Мы с Дарой не считали, сколько ночей провели, слушая Илая. Не тысячу – это уж наверняка, хотя именно Шехерезаду я невольно вспоминал и прятал в усах улыбку: маленький хитрец был совершенно не заинтересован в том, чтобы выложить нам свою историю побыстрее, ведь тогда он лишился бы права приходить в нашу спальню и усаживаться между нами, подложив под спину подушку, наслаждаться нашим вниманием и красть под одеялом случайные прикосновения. А может, в этом и не было никакого умысла – он просто всё делал не спеша: ел, говорил, занимался любовью. Мне не пришлось долго ждать, чтобы увидеть это. Можно ли обнажить душу, не вызвав в чутком слушателе желания ободрить, приласкать, коснуться губами щеки? Я наблюдал, как в замедленном кино, поворот его головы навстречу Дариному лицу, ловкую смену позы – он словно перетекал или складывался, как листок бумаги, белый и тонкий. Я видел, как он целует ее, сжимая пальцами спинку кровати, и по легким сокращениям шеи угадывал движения его языка. Я не чувствовал возбуждения – ни в этот момент, ни в последующие; поначалу меня еще терзала неловкость, я силился отодвинуться на самый краешек постели и думал, как бы мне потише встать и выйти на балкон. Но потом я понял, что они не замечают меня. Дара, возможно, думала обо мне, но она уже дала согласие, совесть её была чиста. Да и можно ли было оторваться от созерцания его лица над собой – ах, как она была права, когда говорила о том, что он другой, что он улыбался – я наконец-то сам увидел эту улыбку на его приоткрытых губах. Дарино лицо повторяло его выражение с такой точностью, будто он лежал на берегу пруда и смотрелся в темную воду. Он, конечно, меня не замечал – он весь был в ней, мягко скользя вдоль ее тела тем же длинным утюжающим движением, которое было мне уже знакомо. В его упоении близостью было больше, чем телесная чуткость, подобная Сониной – в нем была душевная красота, о которой я догадывался и которая так ясно предстала мне в ту ночь.

А вслед за этим открытием пришло горькое осознание того, что Илай никогда не улыбнется мне так. Я отвернулся от них. Я был лишним.

День или два спустя я застал их в гостиной: Дара расчесывала Илаю вечно спутанные волосы, а он стоял смирно, как лошадь, с румянцем на щеках и опущенными ресницами. Он и раньше вел себя с Дарой иначе, чем с Соней, и не обижался на ее замечания. Даже когда она принялась

рассказывать ему про Тима Талера, он слушал с любопытством – ты читал эту книжку, Морис? Там мальчик заключил договор с чёртом, продал ему свой смех в обмен на удачу в тотализаторе. Если мальчики не смеются, в дело наверняка вмешался черт. Илай ничего на это не сказал, хотя и не скрывал, что судьба нередко ему благоволила.

Угроза членовредительства не на шутку перепугала его мать, обычно равнодушную к дешевым манипуляциям вроде слез и истерик. Илая показали психологу, и тот посоветовал не травмировать ребенка. Мать и сама знала, чем могут обернуться травмы с его-то наследственностью, но упускать шансы на лучшую жизнь ей тоже не хотелось. Тут она и вспомнила про дядю – который был, на самом деле, не дядей Илая, а седьмой водой на киселе: братьев и сестер у матери не было. Жил он бобылем, работал строителем и разводил бойцовых собак. Дара объяснила нам обоим – этакой сноской под рассказом Илая – что заводчики бывают двух типов. Одни занимаются собаками всерьез: изучают генетику, тратят бешеные бабки на уход за щенками и главной целью своего дорогостоящего хобби считают улучшение собачьей породы. Другие заинтересованы исключительно в том, чтобы заработать на продаже модных дизайнерских пёсиков или злобных охранников. Затраты при этом сокращаются настолько, насколько позволяет совесть и жилищные условия. Мать Илая, само собой, в такие тонкости не вникала, но заставила дядю поклясться, что собаки не тронут ее ребенка. Да они людей и не кусают, хмыкнул тот, не для того выведены. Тем более он большой, сам лезть не будет – верно, Илай?

До школы теперь было пять километров, зато всё время по велодорожке. Дядин задний двор выходил прямо на нее, а с другой стороны от дорожки тянулся шумозащитный экран автострады. От холодного ветра с юга он тоже спасал, а западный ветер был попутным, когда Илай ехал в школу. Он будто скользил каждый день внутри теплого желобка – туда и потом обратно, и можно было отпустить руль и закрыть глаза, слушая гул за стеной, ровный, как ток его собственной крови.

Собак – их было две, кобель и сука, обе приземистые, с тупыми свинными рылами – Илай поначалу побаивался: завидев его, они начинали истошно лаять. Дядя сказал, что кидаться они не будут, поугаюют и отстанут, а потом и вовсе привыкнут. На-ка вот колбасу, брось им – так они тебя быстрее полюбят, только в морду не суй, а то тяпнут ненароком. Илай послушно кинул кусок и этим ограничился: животные мало его интересовали, тем более такие грубые и шумные, как собаки. К счастью, в дом их не пускали, даже в плохую погоду: у них были будки и место побегать – двор у дяди был большой. Дара неодобрительно поджала губы. Потом она сказала, что заводчики бойцовых собак – люди особенные, они ведь не плюшевые игрушки продают, за рабочие качества товара им нередко приходится отвечать, в прямом смысле, лицом. Вот и стараются, бедняги, держать животных в форме. Любимое развлечение – притравка молодняка на краденых собак: дешево и сердито. Илай сказал, что такого у дяди не видел. Он

вообще толком не видел его щенков, зато хорошо уяснил, откуда они берутся.

Дядя сам его позвал, когда собрался выпускать суку из клетки. Приходится ее запереть, сказал он, в начале течки, потому что она всё равно не даст, а покусать кобеля может, ну или он ее. Визг от них стоял целую неделю – хоть во двор не выходи. Илай смутился: он был в том пограничном возрасте, когда про секс уже подозревают, но относятся к нему со смесью отвращения и любопытства. Второе перевесило, и он подошел поближе. Увы, я не смогу нарисовать вам эту красочную сцену – мне как-то не довелось в жизни наблюдать собачьих свадеб; к тому же его глазами я всё равно этого не увижу, а сам он с трудом мог описать свою реакцию. Мне просто стало интересно, объяснил он; не сразу, потом. Хотелось глянуть еще раз. Он поискал видео в интернете и на какое-то время успокоился. Но чёрт его дернул (не тот ли самый чёрт, который забирает у мальчиков смех?) выйти через пару дней во двор, набив карманы хлебом: колбаса кончилась, а с пустыми руками лезть к собакам он боялся.

Сука была голодная и хлеб съела с аппетитом, а взамен позволила ему посмотреть на свою набухшую и пульсирующую петлю. Зрелище было мерзкое и в то же время притягательное. Илай окликнул кобеля, дремавшего в тени, и кинул кусок ему. Тот нехотя подошел, но жрать не стал. Этим куском Илай подманил суку и попытался развернуть ее к кобелю задом. Собаки были не в настроении – не то от жары, не то по другой роковой причине – но мальчик не унимался до тех пор, пока сука молча не впилась зубами ему в запястье. Он заорал и инстинктивно пнул ее куда-то в крестец. Собака разжала пасть, а вслед за этим на террасе затопали шаги, и дядя, пыхтя, заехал ему кулаком в ухо, а затем, уже лежащего, ударил носком строительного ботинка.

«Вот сюда», – Илай откинул одеяло и показал нежный изгиб тела, тронув пальцами ложбинку, спускающуюся от тазовой косточки в пах. Он выглядел виноватым – он знал, что сам был виноват, но я ощутил в тот момент, что готов своими руками задушить любого, кто бьет лежащего ребенка в живот – что бы этот ребенок ни сделал секундой ранее. Дара чувствовала то же самое и про собаку не обмолвилась и словом. Вздохнула, поцеловала Илая в щеку и позволила ему утешиться тихой близостью, а затем улечься рядом, уткнувшись носом ей в плечо. «Можно мне остаться, Мосс?» Я напялил на себя педагогическую личину и уже открыл рот, и тут сообразил, что он произнес эту фразу чисто, ни разу не споткнувшись. «Тут нет места на троих, – промямлил я бессильно, меня всё еще мучило осознание моей ненужности в этой постели. – Ты можешь остаться, но тогда я уйду». Он ничего больше не сказал, подобрал с пола свой плед и растворился в темноте.

9

Когда дядя его ударил, Илай понял, что это конец: взрослые никогда его раньше не били. Он дождался, пока тяжелые ботинки протопают

по террасе в дом, и тихо выскользнул со двора. Пошел по дорожке вдоль магистрали, на перекрестке свернул и вскоре оказался на станции электрички. Солнце припекало; он уселся на лавку под навесом. Подъехал поезд, выплюнул пассажиров и тронулся дальше. У Илая был с собой телефон, но он не знал, кому позвонить: и мать, и дед были далеко и всё равно не приехали бы его спасать. Денег тоже не было. Он стал думать, сможет ли проскочить через турникет зайцем, чтобы сесть на региональный поезд, уходящий с центрального вокзала. Но даже если бы ему удалось добраться до деда, что толку: никто не даст ему пропускать занятия в школе, и дед вынужден будет отослать его обратно.

Он просидел на лавке до вечера. Хотелось есть, а еще сильнее – пить. В шесть часов появились двое полицейских, которые патрулировали станции в это время. Джесси среди них не было. Илай вздохнул. Когда минут через сорок они подошли к нему поинтересоваться, кого он ждет и не потерялся ли он, Илай честно сказал, что идти ему некуда, потому что дома его убьют.

Социальная система оказалась на высоте: шестеренки закрутились быстро, и уже на следующий день приехала мать, стгорая от стыда и негодования. Он ясно запомнил один момент – как она усадила его рядом на диван и взяла твердыми руками за виски. Её прикосновения были ему непривычны и неприятны, и никогда еще она не смотрела ему в глаза так пристально. «Илай, – сказала она, и в её голосе звучала мольба, – ты меня достал, понимаешь? Почему все дети как дети, один ты как не знаю что? Ну зачем ты полез к этой собаке, скажи? Зачем ты ее ударил – ты не понимаешь, что она живая, что ей больно? Тебе делать было нечего? Почему ты такой? Плохо учишься, ничего тебе не интересно, только ноешь всё время. Вот скажи, дядя тебя до этого хоть пальцем тронул? Кормил он тебя? Что тебе еще нужно?»

Мать была во всем права. Он действительно плохо успевал в школе: на уроках молчал, когда его спрашивали, материал усваивал медленно и читать не любил. Учебники были скучные, а в книгах вечно писали о том, к чему он не имел никакого отношения. Герои в них всегда были героические и делали множество вещей, в которых он не видел смысла. А про таких, как он, никто книжек не писал. Кому он нужен? А ведь ему все дороги открыты – мать на это особенно упирала, тыкала ему в нос не по годам развитыми детьми, которые становятся звездами в интернете: снимают видео, танцуют и поют. Да если бы такие возможности были у нее в юности (говорила она так, будто ей сто лет), она бы уже давно прославилась. Конечно, ей было стыдно, что у нее такой бесталанный и бестолковый сын, который даже увлечься ничем не способен.

– А её картины ты видел? – спросил я осторожно.

– Угу.

– И как?

– Фигня какая-то.

Мне тоже сделалось в тот момент стыдно: за нее, за него, за самого себя с этой своей виолончелью – символом маминой любви. На месте Илая я бы уже давно был в дурке, а, может, и в тюрьме.

– А музыка?

– Что музыка?

– Ну, ты слушал что-нибудь? Что тебе нравилось?

Илай помедлил и жестом попросил телефон. Пока он набирал что-то на клавиатуре, я гадал, что он нам покажет. Мне пришло в голову, что ему мог бы нравиться Моби – у него же была одинокая печальная собачка, глядящая на звезды? Хотя Моби, наверное, для нынешних подростков уже староват. Я успел еще подумать, что нам придется оправдать его доверие, потому что он невероятно уязвим сейчас, и какую бы ерунду он нам ни завел... дальше я уже ничего не думал, потому что к этой музыке был совершенно не готов: клавесин, струнные, и на их фоне – чуть дрожащий мужской голос, проникновенно поющий о дожде и слезах. Господи, сколько же лет этой песне – она же старше меня! Какой ты, оказывается, романтик, Илай. Мне ужасно захотелось, чтобы он дотронулся до моей руки, но он боялся – боялся быть отвергнутым.

Потом я из любопытства погуглил, и оказалось, что ему не зря так нравится эта песня: это ведь мелодия старинного канона, он триста лет пылился на чердаке, пока в семидесятые его не откопали и не сделали популярным. Как твоих паучков? – уточнил Илай. Да, именно так. Смотри, тут есть нотки – так это выглядело в оригинале. А ты можешь сыграть? Это написано для скрипок, но я могу переложить. Переложи, сказал он и добавил: тебе надо чаще играть. У тебя хорошо получается.

Песня была у деда на пластинке – Илай часто в них рылся, когда сидел у него дома один во время каникул. Сам дед музыку не слушал уже несколько лет: он оглох в одночасье, когда бабушка ударила его вазой по голове. Полгода он не слышал ничего. Его мир раскололся вдребезги, он потерял работу и уже думал, что проведет остаток жизни на пособии по инвалидности и тихо сойдет с ума вместе с бабушкой, которую когда-то поклялся не бросать, что бы ни случилось.

Здесь мне придется заполнять зияние самому, потому что в семье Илая про бабушкину болезнь говорили мало, и он не знал, какой она была раньше и как всё началось. Из того, что я вычитал в Википедии про шизофрению, можно было предположить, что предвестники болезни нарастали постепенно, и окружающие, в том числе дед, списывали их то на усталость, то на дурное настроение. Дочь, видимо, уже застала ее первые психозы. Во время одного из них её мать попыталась поджечь дом, следуя настоячивым требованиям голосов, звучащих в голове. После лечения в клинике ей стало лучше, но голоса не уходили и вскоре стали советовать ей бросить таблетки, потому что правительство и лично премьер-министр хотят ее отравить. За что? – спрашивал Илай: в своем бреде бабушка была на редкость последовательна. Ну как же, отвечала та, удивленная его недогадливостью, я ведь тогда стану главой страны вместо них. Они меня боятся.

И дед твой тоже на них работает. Отравят меня, как собаку, а ты, небось, и не заплачешь. Неправда, отвечал Илай. Ему было жаль бабушку. Она никогда его не трогала и в его присутствии будто бы даже успокаивалась. Иногда она просила расчесать ей волосы – они были ниже пояса, бабушка не стриглась уже много лет, потому что в волосах была ее сила. Она ложилась на кровать, Илай осторожно водил гребнем по ее масляной, густо пахнущей голове, и бабушка быстро засыпала.

Уехать к ним Илай был готов немедленно, но до конца учебного года оставалось еще две недели. Мать согласилась побыть с ним до выходных в дядином доме, а в субботу даже сводила его в зоопарк, и купила ему мороженое, и вообще вела себя как настоящая мама. В ответ Илай сделал вид, что ему всё ужасно понравилось. На последнюю неделю мать нашла ему, как говорят собачники, передержку, пристроив чадо у приятельницы. В школу теперь приходилось ездить на поезде, но это было уже неважно, потому что в воскресенье он встретил свою Еву.

«Ой, какой хорошенький», – сказала Ева с такой смесью нежности и презрения, какую можно услышать только из уст тринадцатилетних девочек. Она сказала это мимоходом и даже не заметила, как он покраснел. Но застенчивый мальчик, видимо, засел в ее сердце занозой, и она обрушила на его бедную голову весь арсенал женского кокетства: принялась делать растяжку перед зеркалом в гостиной; спросила небрежно: знаешь, что такое балет? Да куда тебе, убогому. Илай с серьезным видом подошел к станку, попробовал растянуться, и девочка присвистнула самым вульгарным образом. Нифига себе! А так сможешь? Тут их позвали ужинать, и они продолжили чуть погодя в её комнате. Мы пойдем поиграть, сказала Ева своей маме и, приложив палец к губам, закрылась с ним на ключ. Слушай, откуда ты так умеешь – ты тоже занимаешься? Да ладно! А у тебя получилось бы. Дай-ка пощупать твои мышцы. Он застыл на месте и лишь судорожно сглатывал, пока изящные маникюренные пальчики исследовали его тело. Ты красивый, сказала Ева и погладила его по щеке. Ты тоже, ответил он очень тихо, и она засмеялась и откинула голову, так что русые волосы упали ей на спину. Я тебя научу, сказала она. Хочешь? Я буду королева, а ты будешь мой маленький паж. Это легкая роль. У тебя получится.

Всю эту неделю он думал только о ней: когда ехал в поезде, когда сидел на уроках. Никогда еще он не ждал наступления вечера с таким отчаянным нетерпением. Его сердце сжималось при мысли, что совсем скоро ему придется уехать, и не будет больше ее игривых рук и серебристого смеха.

«Она раскрылась, вся, как цветок. Для меня». И он, как пчела, одурело барахтался в этом цветке, чтобы как можно больше нектара прилипло к тельцу, чтобы лакомиться им через год-другой, когда он поймет, что с ним тогда происходило, и будет безнадежно искать эту девочку жадными глазами. Даже сейчас его щеки порозовели при воспоминании об этом. «Мы просто играли, это не был секс. Как все играют». Он посмотрел на меня, и в его глазах читалось: «И ты, Мосс».

Неделя прошла, он уехал к деду. Мать позвонила ему убедиться, что всё в порядке, и Илай сказал: отдай меня в балетную школу. Дед согласен, он всё оплатит.

10

– Мосс?

– Да, Илай.

– Я тут думал про твоих паучат.

– Да что ты? Я польщен. И что же ты про них думал?

– Как их открыли.

– Продолжай, я слушаю.

– Я подумал... Зак делает то же самое с маньяками? Красиво их всем показывает?

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить его метафору.

– А по-твоему, они у Зака выглядят красиво?

– Ну, может, он просто не смог так, как хотел, – снисходительно пояснил Илай, и я снова невольно отметил, что он меня к нему ревнует.

– Интересная мысль, мне она не приходила в голову. И знаешь, что еще?

– Что?

– У тебя образное мышление.

– Это хорошо?

– Это очень круто. Это как иметь на счету кучу денег, на которые капают проценты.

Илаю мое сравнение явно понравилось. Деньги были для него важны, и хотя весь масштаб их ценности для него мне только предстояло узнать, я был озадачен, когда в один из октябрьских дней сунул руку в наш хозяйственный банк в кухонном шкафу и обнаружил там существенно бо́льшую сумму, чем ожидал. Для выплаты годовых премий было еще рановато. Илай, строго спросил я, твои шуточки? Забери-ка обратно. Не возьму, сказал он упрямо. Я же тут ем, как минимум, – меня так рассмешила эта фраза, что я чуть не расхохотался в голос. И я теперь больше зарабатываю, добавил он, почуяв слабинку. Трава так быстро растет, не успеваю стричь.

Ему действительно приходилось больше работать с наступлением весны, и он внезапно обнаружил себя по горло занятым. На конюшне он бывал теперь регулярно, поскольку начал ездить верхом. Ему интересно, прикинь, Морис? И у него талант: новички обычно ездят как мешок с говном, а он нет – спину держит, чувствует лошадь. Он изменился: раньше просто делал работу, а сейчас сам хочет кормить лошадей, спрашивает про них. Ты только его не подкалывай этим, он почему-то смущается. Он внутри ужасно заморочный.

Перевели часы, теперь я снова поднимался по утрам затемно, как зимой, но меня это совсем не огорчало. Я открывал дверь на веранду и раз-

ливал кофе: черный Даре, каплю молока себе, ребенку полчашки сливок, Соня сама разбодяжит, как ей нравится. Дара пекла Илаю оладьи – он их полюбил и просил каждый день, она добавляла то какао, то кабачки, и оладьи получались разноцветными. Мне в детстве так подкрашивали воду в ванне, потому что я ненавидел купаться. Илай радовался, как ребенок. Он, должно быть, и сам понимал, что Дарины чувства к нему – почти родительские и её секс с ним – акт милосердия, а никакая не страсть, и что она, возможно, думает в эти минуты обо мне. Сама она на эту тему не высказывалась, только однажды выразила осторожное сомнение, что поступает с ним правильно. Соня ворчала, что парень растет как на дрожжах, кроссовки ему уже малы, а идти с ней в магазин он ленится – купи сама, у тебя хорошо получается. Дара тогда потрясенно сказала мне: он растет, представляешь? До сих пор растет. А я... Перестань, Дара. Его сексуальность уже давно родилась, и ее, как младенца, обратно не засунешь, прости мне это сравнение. И, в отличие от младенца, ее нельзя убить. Можно только измордовать и засунуть кляп в глотку, надеясь, что сама сдохнет. Ты этого хочешь?

Чем больше я узнавал о нем, тем более гармоничными мне казались все проявления его натуры. Он был невероятно цельным в этом спокойном принятии себя. Даже те качества, которые виделись другим малопривлекательными, для него были так же естественны, как нагота. Я поймал себя на том, что восхищаюсь им, хоть и не сознавался в открытую. Вместо этого я рассказал ему, что павлинья расцветка маратусов – да и любых ярко окрашенных самцов – исключительно результат того, что самки выбирали, кто покрасивше. И танцует паук только потому, что им движет мысль о сексе. Можно сказать, всё искусство – результат сублимации половой энергии. Есть даже книжка про это. Илай слушал очень внимательно и после нашел в интернете ролик с танцующим пауком. Гляди, Мосс, как смешно, сказал он без тени улыбки, но так и не сделал того, на что я втайне рассчитывал: не начал танцевать сам.

В балетную школу он пришел очень поздно: ему только что исполнилось одиннадцать, и шансы, что его возьмут, были невелики. Но мальчиков в таких школах всегда дефицит, а природные данные у него оказались исключительные. Очень гибкий и пропорционально сложенный, он, должно быть, зацепил приемную комиссию и своей восприимчивостью, особенно привлекательной на фоне внешней неторопливости и серьезности. Такие мальчики, если у них есть цель, способны работать как лошадь и пробивать стену лбом. Цель у Илая была.

Поскольку он никогда не занимался танцами, его взяли сперва в подготовительную школу. Классы проходили по вечерам. После уроков Илай садился в поезд и ехал до центрального вокзала. Там он покупал в ларьке что-нибудь на обед, потом слонялся часок по городу и шел на занятия. Возвращался домой уже затемно и вскоре ложился спать. Получалось, что дядю он почти не видел. Мать сумела уладить конфликт, так что дядя старался его не замечать и жил своей жизнью, оставляя мальчику сыр и

ветчину для бутербродов. Мёд и бананы Илай покупал сам и ел в диких количествах, запивая теплым молоком. Он постоянно был голодным: физические нагрузки ему давались тяжело, как и любому астенику, к тому же он начал активно расти, вступая в самую трудную пору своей жизни.

Надо иметь талант настоящего писателя, чтобы передать страдания человеческого существа, запертого в своем некогда привычном теле, будто в доме, который сотрясают все природные стихии, вместе взятые: землетрясения, цунами и пожары. Он сидит внутри, маленький и одинокий, и с ужасом наблюдает, как загорается сперва чердак, а затем подвал – ну или в обратном порядке, тоже хорошего мало. Как я могу описать, что он пережил, да еще с его слов – неумелых и скудных? Как его заикание переходило в паралич при виде девочек, похожих на Еву; каким плотным туманом застилало его сознание на уроках – от усталости, голода и нехватки сна, потому что стоило ему раздеться и лечь, как из-под кровати вылезали такие демоны, каких сам я не видел и в шестнадцать.

Балет был его отдушиной. Боль приносила облегчение. Боли было много: болели мышцы, лопались мозоли и саднило в душе от слов одобрения, к которым он не привык. Каждый божий день он видел себя в зеркале в полный рост – со всеми своими прыщами, узкой грудью и засаленной челкой; но именно зеркала научили его мириться с этим телом, ведь вместе с ним там отражались еще полтора десятка таких же подростков, среди которых Илай был далеко не худшим.

В тринадцать лет он окончательно распрощался со старой школой около подстанции. Теперь по утрам он смешивался в вагоне электрички с учениками частных колледжей, щеголявших единорогами и львами на лацканах пиджаков. Можно было сказать, что поезд стал для него социальным лифтом; сам Илай таких слов не знал, но хорошо чувствовал, что его окружение изменилось. Его никто не бил и не смеялся над его речью. У него появились приятели, и они даже встречались иногда на выходных, чтобы сходить в кино. Однако Илай оставался застенчивым и по-прежнему считал, что жизнь к нему несправедлива – особенно в тот день, когда он наконец увидел свою Еву, а она даже не узнала его: детские игры ей были уже неинтересны. Он еще долго потом страдал, пока Еву не заслонили своими грудастыми телами девицы из интернета.

К деду он уезжал, едва наступали каникулы. Дед больше не казался ему важным и авторитетным: пусть он и владел всеми лекарствами на свете, но заставить умолкнуть голоса в бабушкиной голове он не мог. Даже самому деду не помогали его таблетки, и он мучился бессонницей и гипертонией. А когда разряжалась батарейка в его имплантате, он становился беспомощным, как давний одноклассник Илая, которому однажды сломали его аппарат. Но с дедом всё равно было хорошо. Они ездили рыбачить на озёра; дед ловил лещей и отпускал их, Илай не мог понять, какой в этом смысл, а дед только улыбался в бороду – у него была борода, Илай? Нет, он всегда брился начисто, ты первый такой, кого я знаю, Мосс.

На тех зимних каникулах – Илаю было четырнадцать с половиной – они тоже несколько раз вставали затемно, грузили на крышу машины пластиковую лодчонку, на заднее сиденье кидали спиннинг и сачок и отправлялись в сторону побережья. Бабушку упекли в клинику после попытки самоубийства, дед был подавлен и стремился подальше от дома, к сонной воде, укрытой одеялом тумана. Было ужасно холодно, у Илая зуб на зуб не попадал, но он знал, что это пройдет – солнце скоро поднимется, и оба они будут ужасно смешными в этих вязаных шапках и темных очках. Он запомнил деда именно таким. Память занавесила всё остальное тонкой кисеей, он видел только тени, силуэты – деда, вдруг потерявшего сознание, себя, отчаянно гребущего к берегу. Он весь трясся, как в лихорадке, пытаясь выговорить по телефону хоть слово – он понятия не имел, как объяснить оператору, куда именно присылать скорую, и сам отвезти деда в больницу он не мог, и минуты были потеряны, но это, на его счастье, сознание Илая тоже сумело отфильтровать, и он даже сейчас, кажется, не понимал, что другой на его месте провел бы остаток жизни с чувством вины.

Приехали люди, отвезли их сначала в больницу, а потом Илая – одного – доставили домой. Потом были часы темноты и тишины, звенящей в ушах, как будто внутри него села батарейка. Потом он открыл тумбочку в спальне деда, нашел ключи и отпер все ящики в доме, какие смог. Собрал все запасы дедовых сигарет и спрятал у себя в комнате. Одну сигарету он выкурил сразу и затушил окурком о свою руку. Потом лег в кровать не раздеваясь и проспал до утра. Мать отдыхала на Бали и приехать могла только через сутки. Эти сутки он провел, не выходя из комнаты: смотрел в интернете порнуху, курил и мастурбировал. В балетную школу он больше не вернулся.

11

Почему-то сильнее всего он жалел тогда не деда и даже не себя. Ему было жаль дедовых вещей: лодки и спиннинга, оставшихся на берегу, журналов и пластинок, которые мать выбросила перед продажей дома, самого этого дома – Илай переживал так сильно, будто дед всё еще лежал в больнице, и ему некуда было бы вернуться после выписки. Не трогай, бубнил он матери, это его, ему это нужно, и мать смотрела на него, как на психа. У нее, впрочем, было полно своих забот, и вскоре она перестала его замечать, и он смог перенести к себе и спрятать то, что нашел в шкафах. Кроме сигарет, там были еще деньги, лекарства из прикроватной тумбочки деда и несколько фотографий, которые Илай вытащил из семейных альбомов. Деньги он затем потратил, часть таблеток выбросил. Снимки он разрешил нам посмотреть. Их было всего несколько, и почти везде были отрезаны люди, стоявшие рядом с Илаем – маленьким, испуганным, сцепившим руки на коленях и глядящим прямо в объектив. Это дед – Илай показал на фото молодого человека, держащего на коленях малыша с пухлыми ножками. А тут они с бабушкой. Порыжелые краски, длинноволосые люди в клешах – я узнавал семидесятые влет, в любой книге, в любом фильме,

хотя сам едва помнил их. Парень и девушка, на вид старшеклассники, застигнутые где-то в поле сидящими в обнимку на бревне, улыбки – неловкая у него, у нее – торжествующая, глаза чуть прищурены, лицо яркое, броское, будто с обложки журнала. Нос тонкий, но в остальном – невероятное сходство: вот в кого ты пошел, Илай. Вот почему твой дед не мог ее бросить.

– Значит, они со школы знакомы?

– Нет, они были из разных мест. Познакомились на рок-фестивале.

Ну да, а потом – путешествия с палаткой, Керуак, психоделика, трава, и дедова тяга к химии тоже, вероятно, оттуда, а почему у них больше не было детей, ты не знаешь? Вроде были еще, умерли сразу как родились.

Дитя Афродиты – так ведь было написано на пластинке с твоей любимой песней, Илай? Я переложил ноты и сыграл ее; он слушал, сидя на диване, и в какой-то момент сказал: мне нравится, как тут звук делает так. Глиссандо, пояснил я на автомате. А ну-ка, покажи снова: меня заворожила красота его балетного и при этом естественного жеста. Но Илай покачал головой: напоказ он делать ничего не желал.

Мать, хладнокровно справлявшаяся когда-то с ролью одинокой волчицы, за годы жизни с упырем стала плаксивой и нервной. Как потом выяснилось, зарабатывал он действительно много, но тратил еще больше, за вечер просаживая в тотализатор тыщу-другую. Мать перепробовала все способы и махнула рукой: пусть разоряется, денежки-то врозь. Но когда он начал втихаря продавать ее вещи, она устроила скандал, и это ненадолго помогло. Она подкопила и уехала с дочкой на Бали – дочке она ни в чем не отказывала. И вот – отдохнула, называется. Вечерами она теперь сидела на кухне и курила одну сигарету за другой. Нужно было что-то делать с бабушкой, домом и работой. К бывшему хахалю мать решила не возвращаться, а вместо этого развесила свои фотографии по сайтам знакомств. Резюме она с таким усердием не рассылала, а просто пошла и устроилась на первую же вакансию, которая попала ей на глаза – кассиршей в магазин. Детей временно отдала в местную школу, чтобы после продажи дома вернуться в столицу.

Это были очень странные полгода. Илай провел их словно во сне, отрешенно наблюдая, как прежняя жизнь исчезает без следа. Таяли вещи вокруг: мать распродала и выкидывала их безо всякого сожаления. Так же по-деловому она пристроила куда-то бабушку и осталась дрейфовать с детьми на обломке льдины в подступающей летней жаре. После Нового года они уехали из ее родного поселка навсегда.

Илай не мог сказать точно, когда и откуда появился человек, которого он назвал в своей краткой автобиографии отчимом – хотя никаких формальностей между ним и матерью не было, он просто пришел и вовремя подставил ей плечо. Плечи были внушительными – Илай для себя прозвал его физруком и почти не ошибся: работал он инструктором в тренажерке, а в свободное время вел спортивные секции и здоровый образ жизни. К этому последнему он был намерен приучить и своё новое семейство.

Оглядев пасынка с ног до головы, физрук сразу всё про него понял, но виду не подал. Лишь когда Илай взял у матери из кошелька двадцатку, он отточенным движением врезал ему в челюсть – вполсилы, просто чтобы не тратить слов. Отчим хорошо знал, как обращаться с подростками, которые не желают учиться, не имеют цели в жизни и не уважают мать. А она, между прочим, тебя одна вырастила, гаденыш ты этакий.

Жили они теперь в другой части города, в большом арендованном доме с газоном: со стороны посмотри – нормальная семья. Школа тоже была другого калибра, частная, и Илая там не обижали. Одноклассники просто не замечали его: угрюмый молчаливый новичок в их дружную компанию не вписался, а ему, в свою очередь, было на это наплевать. Он уже знал, что никому не нужен.

Отчим решил взяться за него всерьез и сказал однажды, чтобы Илай со школы сразу шел домой: они поедут на футбольную тренировку. Илай ничего не ответил и после уроков сел на автобус, который следовал в противоположную от дома сторону. Он ехал и ехал по незнакомым улицам, пока не увидел развязку автострады. Илай вышел и долго стоял, облокотившись на перила и глядя вниз на бесконечную ленту машин. Когда-то он снимал эти видео старым телефоном с плохонькой камерой – заезжал на пешеходный мостик недалеко от дядино дома и снимал. Зачем он это делал? Я мог бы придумать что-нибудь красивое: например, что он смотрел на машины, как другие смотрят на текущую воду или огонь в очаге. Или что он считал их – отдельно красные, отдельно белые, систематизировал по маркам и моделям, как делают аутисты: маленькие тихие гении так беспрочно эффектны в кино и на страницах книг, сейчас модно про них писать, хотя наше восприятие этих людей так же далеко от реальности, как поэтическое восхищение травой, пробивающейся сквозь асфальт, далеко от будничного чувства досады при виде этой травы между плитками в вашем аккуратном патио. Нет, Илай не считал машины. Он не изучал дизайн шумовых барьеров – глухие стены, экраны из цветного оргстекла, сквозь которые, когда едешь мимо, типовые кварталы кажутся райскими кущами, залитыми инопланетным светом. Он не рисовал граффити на этих экранах, не монтировал фильмов, чтобы потом выложить их на Ютуб и прославиться – словом, не делал ничего, чтобы снискать вашу читательскую симпатию. Он просто смотрел, как текут машины – мимо, мимо.

Ему позвонили с незнакомого номера, он отбил звонок. Почти сразу позвонила мать. Я гуляю, сказал Илай. Он гуляет, повторила она кому-то с ехидцей, и голос физрука на заднем плане понимающе отозвался: ну-ну.

На сей раз к удару кулаком отчим присовокупил выразительную тираду о вреде эгоизма. Илай ушел в ванную, сплюнул кровь и забаррикадировался у себя в спальне: задвижку на дверь ему ставить запретили. Он вынул из тайника, сделанного в запасной подушке, дедовы сокровища: две пачки сигарет, почти полтыщи долларов, фотографии и упаковки таблеток, перевязанные резинкой. Все инструкции к лекарствам, какие были, он

внимательно прочел, остальное нагуглил. Одну коробку он выбросил в тот же вечер, а все снотворные таблетки пересчитал и прикинул общую дозу. Выходило впритык для него самого, а для физрука маловато. Илай запомнил этот факт и убрал подушку обратно в шкаф.

Теперь, когда изнуряющих занятий балетом больше не было, а фабрика по производству гормонов с каждым днем наращивала мощности, демоны окончательно взяли над ним верх. Он не думал ни о чем, кроме секса. Будь он помаскулинней, траекторию его движения я бы мог нарисовать без труда: соблазнение или насилие – вот два пути для охваченного похотью молодого самца. Илай не был способен ни на то, ни на другое.

У Иэна Макьюэна есть рассказ о двух мальчишках, которые поспорили, кто из них быстрее станет взрослым. Они перепробовали всё, включая курение и спиртное, и застыли перед последней преградой. Главный герой был твердо намерен доказать приятелю – а заодно и самому себе – что он настоящий мужик, и непривлекательностью десятилетней сестренки можно было, закрыв глаза, пренебречь. Мы привыкли считать, что искусство является отражением жизни, но в случае с Илаем вышло наоборот. Удивительное совпадение деталей с теми, что придумал Макьюэн еще в семидесятые, придает истории мистический привкус. Сестре нашего героя тоже было десять лет, была она толстая и некрасивая, а прогрессирующее отставание в развитии делало ее даже более склонной к играм в папу и маму, чем было в оригинале. Если верить Илаю – а мы поверили, уже услышав от него так много – заходить дальше безобидной игры он не собирался, но мы понимали и то, что этот сюжет мог закончиться для девочки печально. На её удачу, отчим подкрался на мягких лапах – и тут уже избил Илая по-настоящему. Он бил его так, будто хотел разом уничтожить всех педофилов – нынешних, прошлых и будущих. Не сломайся у гаденыша ребро, он бил бы и дальше, и не пришлось бы врать в больнице про хулиганов в переулке. Илаю отчим пообещал, что если тот пикнет, то пойдет в колонию для несовершеннолетних. После выписки его отселили в бунгало, примыкающее к дому, запретив отныне появляться в их семейном гнезде. Так он прожил последние несколько месяцев до окончания средней школы. На рождественских каникулах семейство укатило отдыхать – без него, разумеется, но он давно уже о них не думал, он вообще перестал думать, а только считал дни, остававшиеся до четвертого января, и снова пересчитывал свои деньги, которых было так мало – он уже знал, сколько ему понадобится. В первый же день своего шестнадцатилетия он сделал то, о чем так давно мечтал: пошел и снял проститутку.

12

Больше всего меня поражало в его рассказе то, что он не пытался задним числом оправдать, обелить себя в наших глазах. Вероятно, ему просто важны были причинно-следственные связи, а патологическая честность мешала подчистить и подправить детали. А может, он верил, что мы примем его любым – что поможем ему справиться со своим прошлым,

ведь это полосатое прошлое и было чудовищем, которое однажды поклялось убить мальчика. Он должен был победить своего Шер-Хана, и его Красным цветком была любовь – наша любовь к нему.

Теперь я ждал его прихода к нам в спальню с тяжелым сердцем. Я скрывал это, как мог, используя всё богатство актерской невербалики, чтобы поддержать его, и разряжал обстановку вовремя заданным вопросом: «А дорого, Илай?» Ужас как дорого, признался тот; в среднем двести. Это за сколько? Это за полчаса. Он знал, что на улице можно снять и дешевле, но для этого надо было иметь машину или укромный уголок по соседству: к себе уличные девицы приглашали крайне неохотно, чтобы лишний раз не нарушать законов. Те, что попримичней, приезжали на дом. Деньги закончились быстро. Воровать у своих он боялся, у других не умел. Когда после возвращения из отпуска мать пришла к нему поговорить, он застыл, сидя на кровати. Он чувствовал, что ее мучает совесть, и искал способы заставить ее откупиться деньгами. Но как вести себя – демонстративно молчать? Обвинить ее во всех своих бедах? Пригрозить ювенальной юстицией? Он понял вдруг, что совсем не знает свою мать и даже не может задеть ее побольней.

Мать сказала, что отчим нашел ему работу и что жить теперь придется отдельно. «Ты уже большой, а я давно ничего для тебя не значу». Ты бы хотела, чтобы меня не было, правда? – спросил Илай, глядя ей в глаза. Она не ответила. Дала ему сотню наличкой и карточку, куда обещала переводить на жизнь сверх того, что будут платить на работе: зарплата у него была чисто номинальная. Так он оказался в каморке на задах автосервиса.

Меня терзала мысль, что он рассказал нам не всё. Будто разогнался до ста двадцати – и бац! – впереди «кирпич». Да нет, пожал он плечами. Ну разве что мать приперлась однажды. У него тогда случился такой голяк, что даже лапши было не на что купить, и он боялся, что если сопрет что-то в магазине, его сразу посадят. Он принялся плести небылицы хозяйину, чтобы дали аванс, а попутно наврал что-то матери, и та заподозрила неладное и примчалась к нему. Сидела, сцепив пальцы на коленях, задавала какие-то глупые вопросы, а потом попыталась взять его за руку. Он оттолкнул ее. Илай, сказала она умоляюще, покажи руки. Да пошла ты, ответил он и лег на кровать спиной к ней. Денег она так и не дала.

– А что с ней случилось в итоге? – осмелился я спросить.

Он посмотрел на меня с недоумением.

– Ну, когда она умерла? Ты же писал на бумажке...

Илай понимающе кивнул. Помолчал, подбирая слова.

– Давно. Когда бросила меня в самый первый раз.

В ту ночь я долго не мог заснуть: в ушах звучали обрывки рассказа, начитанного высоким голосом, который еще недавно звучал надтреснуто, а нынче будто бы разгладился и смягчился, как и он сам. Конечно, все раны затягиваются рано или поздно. Но я все равно чувствовал себя развинченным – усталым и при этом нервным. Наверное, не стоило принимать так близко к сердцу то, что давно прошло, да еще сбивать себе режим сна.

Восстанавливать его придется долго. Я сказал об этом Илаю, постаравшись облечь свою просьбу в самую щадящую форму, какую смог придумать. Приходить к нам пока не надо, а если хочешь, я поезжу с тобой на машине, посмотрю, чему ты у Дары научился.

Моё сознание играло теперь со мной в новую игру, заставляя сравнивать себя с Илаем, раскидывая веером, будто карты, сценки из моего детства, а затем отбивая их его козырями. Илай всегда побеждал: моё право на счастье казалось нелепым на фоне его, мои страдания – смехотворны и мелки. У меня была лишь виолончель, которую я сумел сохранить – а может, это она меня сохранила. Я произнес это сейчас и поморщился: можно подумать, мою виолончель кто-то пытался у меня отобрать.

И всё-таки.

Когда мне было лет двенадцать-тринадцать, я научился снимать напряжение с пальцев, мучившее меня с раннего детства. Маечек с лямками я уже не носил, дрочить даже не пытался, и теребить мне было нечего. Я садился пиликать гаммы, но это только сильнее меня распяляло. И однажды я психанул и дернул смычком со всей дури, а потом еще и еще, пока комнату не затопил рев вертолетного винта. Меня подхватило ветром вместе с моей спальней – я был готов поклясться, что видел, как трепещут страницы распахнутой книги. Я не знал тогда, что на виолончели можно играть тяжелый рок, и был ошарашен своим изобретением. Я был круче Паганини, потому что был зол и молод, а он вообще умер. Упоенно терзая струны, я воображал себя звездой. Я изобрел множество новаторских техник, которые у меня потом сперла «Апокалиптика» и иже с ними. Этими группами я, к слову, так и не сумел увлечься, поскольку считал себя – ха-ха – поклонником серьезной музыки. Лишь пару лет назад я нашел человека, которым мог бы стать, если бы... если бы что? Был настоящим итальянцем, имел настоящий талант? Так или иначе, я словно обрел давно потерянного брата-близнеца. Он заставил меня сперва устыдиться самозванного определения «виолончелист» (мне на его фоне подошло бы разве что «лист» или даже «глист»), а затем меня же вдохновил на то, чтобы снова расчехлить инструмент и усесться в незримом присутствии маэстро за разбор его произведений. Незримом – потому что этот человек, Джованни Соллима, никогда со мной не встречался и даже не слышал обо мне. А я – я слышал его, в том числе и вживую.

Вся боль, вся тоска, которые переполняли меня сейчас, перетекали в мои пальцы, едва я садился играть, и не было другой музыки, с которой эта боль и эта тоска соединились бы в абсолютной гармонии. Я не хочу сказать, что вся его музыка печальна – о нет, в ней есть всё: знойные танцы, холодная красота математики, полет воздушного змея в безоблачном небе; но когда он страдает, он похож на меня, иступленно рвущего струны своей отроческой души.

Сидя боком к балконной двери, я заметил силуэт Илая по ту сторону стекла. Я кивнул ему, он вошел, стараясь не шуметь, и сел на кровать. Дождался паузы и заметил: ты раньше так не играл – и мне невольно захоте-

лось прикрыть грудь, обнажившуюся лишь метафорически. К его пронительности я всё никак не мог привыкнуть.

– А можно мне с тобой поиграть, как ты играл с Дарой?

Я не нашелся, чем возразить. Он принес табуретку и уселся передо мной, обняв инструмент коленями. Я стал объяснять, как держать смычок, при этом маленький паршивец ёрзал и прижимался, пока я строго не сказал, что мне так неудобно. Он затих; провел смычком по струнам и ойкнул. Что, в живот отдает? Угу. Это всегда так? Ну а как ты хотел, она же через тебя резонирует, вы оба вибрируете. И ты тоже? И я. Эта мысль ему понравилась, и он попробовал еще, а потом зажал первую струну. Больно, сообщил Илай, обернувшись через плечо. Да не очень, к этому привыкаешь. Пальцы грубеют. Покажи, попросил он. Я сыграл глиссандо, он повторил и потряс рукой в воздухе. Покажи мозоли. Он осторожно взял мою кисть и приблизил к ней лицо. Я ощутил на кончике пальца его дыхание, а вслед за этим – мягкое прикосновение и горячий пружинистый толчок, который оставил в середине меня, как в шарике теста, маленькую вмятинку.

– Не было лягушки?

– Какой лягушки? – спросил я ошарашенно.

– Ну, ты говорил, это противно, как лягушка, если тебя трогать языком.

Вмятину будто бы продавили сильнее.

– Нет, на лягушку не похоже, – произнес кто-то моим голосом. – Скорее на устрицу.

– Устрицы, наверное, лучше?

Мой тренированный слух с удивлением отметил, как умело и точно он проинтонировал эту реплику; а он, приняв мое молчание за благосклонность, снова взял кончик моего пальца в рот – и вдруг натянулся, как перчатка с атласным исподом; подался головой назад и с бесстыдной нежностью снова вобрал в себя. Мои колени ослабли и покрылись мурашками. Он поймал меня, и он знал это – рыбина в сачке тяжело ворочала упругими боками, моё сердце толкало его под лопатку. Настоящий рыбак ничего не доказывает ни себе, ни другим, и поэтому Илай тут же меня отпустил, как его дед отпускал лещей обратно в озеро. Он даже не удивился внезапной просьбе оставить меня одного. Вышел без звука и прикрыл за собой дверь.

Меня охватил стыд и бессилие. Я был жалким извращенцем, которому на член нацепили плетизмограф, бесстрастно регистрирующий все темные помыслы, о которых бедняга и не догадывался. Но я ведь не сделал Илаю ничего плохого. Я ничем не заслужил этого унижения. Неужели он был послан мне с единственной целью – поднести зеркало к моей звериной роже?

Неужели на стене подвала в моем сне было написано «Педофил»?

Умники и зануды мне сейчас напомнят, что этот сугубо научный термин в народе склоняют и в хвост и в гриву, а на самом деле он применя-

ется лишь к тем, кого привлекают препубертатные дети. В моем же случае речь идет о так называемой эфебофилии – как будто мне от этого легче.

Но я ведь никогда... Каюсь, я пару раз, оказываясь около школы, цеплял глазом легконогие девичьи фигурки и опасно прислушивался к себе, а затем облегченно вздыхал. На мальчиков я не смотрел только потому, что – не знаю почему, это казалось очевидным, что они меня не привлекают, я не испытывал ничего, кроме жалости, глядя на маленьких хористов, которые оказывались жертвами высокопоставленных церковных педофилов (я опять произнес это слово, ну да пусть остается). Почему же это происходит со мной?

Что бы сказала твоя мама, Морено, если бы узнала, что у тебя стоит на мальчика?

Мне вспомнилось, как мы ехали с ним на велосипедах. Домой было всё время под горку, и мы летели, не крутя педалей, и я смотрел на его беззащитную спину, обжигаемую солнцем. Теперь я знаю, что он тащил меня в гору только затем, чтобы столкнуть в пропасть.

Часть 4. Ангел

1

Однажды – я учился тогда в «Святом сердце» – наш класс повели на экскурсию в Национальную галерею. До той поры я видел работы художников только на репродукциях, да и те можно было перечесть по пальцам; и вдруг – огромные полотна в позолоченных рамах, а между ними понапишаны картинки поменьше, и так до самого потолка. Это был, как я теперь понимаю, зал с искусством девятнадцатого века. Нам показывали в тот день и другое, но меня не заинтересовали ни древние статуи, ни современная мазня; даже стеклянная стена при входе в галерею мне тогда не запомнилась, а ведь я наверняка заметил ее и вместе с одноклассниками прижимал к ней ладонь, чтобы ощутить струи искусственного водопада, текущего по внешней стороне стекла. Но в память почему-то врезался только один этот зал с викторианским реализмом, нравоучительным и нередко второсортным. Всё там было мне понятно: женщины работают в поле, лошади скачут по океанским волнам, овца рыдает над убитым ягненком – меня уже тогда привлекал в искусстве, главным образом, нарратив. Одна из картин поразила меня особенно – и не только тем, что на ней изображались две голые девицы, лежащие в обнимку на каменном полу. Собственно, рассмотрел я их не сразу, а лишь после того, как прочел название картины – «Триумф веры» – и подпись к ней: я всегда так делал, картина без названия ставила меня в тупик. Наверное, поэтому я не смог хихикать над сиськами вместе с остальными, ведь передо мной предстали христианские мученицы, приговоренные к растерзанию львами. Я думал о них весь вечер и даже осмелился спросить маму: неужто можно спать так безмятежно, зная, что наутро тебя ждет кровавая казнь? Не помню, что она ответила, но ее слова меня, очевидно, утешили, как утешали всегда.

Много позже я стоял перед этой картиной в компании приятеля, подкованного в искусстве гораздо лучше моего, и он доказывал мне, что всей этой христианской назидательности грош цена, что для художника той поры трогательный сюжет – не более чем повод написать этих девиц во всей их очаровательной наготе, не более чем охапка соломы, стыдливо прикрывающая низ у мулатки – заметь, старина, как эффектно он их расположил: беленькая на заднем плане, черненькая впереди, и линии ее тела почти графичны, и поза – ни дать ни взять одалиска, а ты говоришь, мученицы.

Этот разговор пришел мне в голову, когда я взялся перечитывать Зака. Я всегда прятался от личных тревожений в чужие тексты, в красочные описания страданий, которые зачастую кажутся глубже твоих собственных, потому что в искусстве всё доведено до предела, сгущено и утрировано. Пробежав рассказы о парафилах, я открыл «Лолиту», которую помнил, к стыду своему, значительно хуже. Страниц через двадцать я вынырнул немного подышать – именно вынырнул, потому что читать Набокова после Зака – это как спуститься с безопасного бережка и ухнуть в омут по самую макушку. Почему безопасного, думал я с удивлением; не потому ведь, что я лично знаю автора и помню его тексты почти наизусть. Нет, тут другое: я, не отождествляя себя с его извращениями, прекрасно понимаю, как выстроен каждый из этих рассказов и почему они заканчиваются именно так, а не иначе. С другой стороны, в омуте «Лолиты» не всё так уж мутно – напротив, каждый порыв истерзанной гумбертовской души нам понятен, и мы не просто начинаем сопереживать ему, но и – признайся, Морис – не без трепета влезает в его шкуру. Но как именно это сделано, за какие ниточки нас дергает автор – понять решительно невозможно, и всё, что нам остается – это погружаться в зыбучее илистое дно.

Тогда-то я и вспомнил «Триумф веры». Не потому ли такими тривиальными мне показались вдруг сюжеты моего друга, что сюжеты эти – не более чем фиговые листики, которыми автор прикрывает желание писать маньяков, как художник пишет нюшек? Они, его маньяки, выставлены на всеобщее обозрение с единственной целью – дать публике возможность охать и ахать, кидать в них объедками и чувствовать себя на их фоне нормальными. «Может, он просто не смог так, как хотел?» – да нет, Илай, рука у него тверда, мазок уверенный. Но он и не думал показывать их, как ты выразился, красиво. Ведь за такое можно и огрести.

Пусть мой терпеливый слушатель простит мне столь пространное отступление: я вплотную подошел к самым позорным страницам моей повести, и мне понадобятся остатки мужества, чтобы рассказать всё как было. К счастью, мне есть у кого поучиться смиренному принятию себя. Занавешивать зеркала – скверная примета.

Он сам напомнил о моем обещании: ты говорил, что поедешь со мной, Мосс, – я уже могу и по тихим улицам, и по дорогам, только на автостраду меня Дара не пускает. Я сказал рассеянно: ладно, завтра попробуем. А почему не сегодня? Потому что я занят. Он, должно быть, заметил, что я

избегаю смотреть ему в лицо и говорю с ним сухо и только по делу. При мысли о том, что он снова начнет приставать, у меня стыла кровь – не потому, что я боялся сам себя: с запретным вожделением я мог бы справиться, но мне было больно терять то хорошее, что я испытывал к нему. Я вновь увидел хладнокровную расчетливость, которая так неприятно поразила меня три месяца назад. Его нынешние мотивы мне были неясны, но я чувствовал, что мною пытаются манипулировать, и от этого делалось противно и горько.

На другой день после обеда мы вдвоем сели в машину. Я молча смотрел, как уверенно он выполняет все формальные процедуры, как крутит головой во все стороны, прежде чем тронуться с места. Он водил, на мой вкус, даже чересчур мягко – а может, просто хотел произвести на меня впечатление. «Куда ехать?» – нарушил он тишину. Прямо, сказал я мрачно. У перекрестка я потребовал свернуть направо, хотя магистраль была в другой стороне. Тебе надо учиться делать сложные маневры, добавил я и внутренне сжался: выехать без светофора на загруженную улицу – тот еще стресс для новичка. Но лицо Илая оставалось спокойным, и лишь по судорожному движению, которым он вытер о штаны правую ладонь, можно было догадаться, что он нервничает. Я никак не прокомментировал внезапный рывок машины на полметра и последовавшую за этим реплику «Да они кончатся когда-нибудь?» Мы стояли и стояли, пока в спину нам не загудел кто-то особо нетерпеливый. «Да пошел ты», – это тоже было адресовано мне, вернее, на меня рассчитано: он хотел казаться крутым и взрослым, хотя я чувствовал, что он выходит из равновесия. Ты уже дважды мог влиться, заметил я, когда он наконец вырулил на дорогу. Ответа не было. Я самодовольно усмехнулся и продолжил строить из себя инструктора: смени полосу, голову не повернул, тебя Дара не учила? Он молчал, плотно сжав губы. Тут направо. Мы углубились в лабиринты улочек, с обеих сторон забитых припаркованными машинами. Илай ехал аккуратно – я отмечал это про себя, но не хвалил его из странного упрямства, которое и сам ощущал как инфантильное и мстительное. Знак «сорок» для кого стоял? Школьное же время. «Выходной», – буркнул он, и был прав, для меня ведь все дни одинаковые. Но я даже не извинился, лишь моя напускная невозмутимость сменилась усталым безразличием. Я вывел его на главную дорогу, а оттуда налево, в сторону дома. Илай запротестовал: он ведь хорошо вёл, и это мало, полчаса не прошло... Нет, сказал я, ты не готов. Он проглотил обиду – я видел длинное движение вдоль его шеи, а вслед за этим плечи его поникли, и я почувствовал себя распоследней свиньей.

«У тебя что-то не в порядке?» – спросила Дара, когда мы ложились спать. Я ждал этого вопроса – пусть она рассудит нас, я так запутался, он себя странно ведет, Дара, ему что-то нужно от меня. Я покаялся ей, и она ответила с тихой укоризной: он так выражает любовь, Морис. Он по-другому не умеет. Чушь собачья! – я взвился, забыв о том, что у стен есть уши. Ты хочешь сказать, он Соню любил? Да у него просто спермотоксикоз – лезть на всё, что движется, он же сам говорил, а ты его защищаешь по до-

бrote душевной. Я так яростно открещивался от этого, будто ногами топтал его любовь, которой упорно не замечал все эти месяцы. Она была страшнее его робких домогательств, потому что тянулась, минуя сознание, к моему ответному чувству – противоестественному, думал я с ужасом. Порочная, постыдная, любовь эта была отвратительней, чем все извращения, о которых я когда-либо читал, потому что таилась не под обложкой книги, а во мне самом. Она долго рядилась в благопристойные одежды: умиление, симпатия, сопереживание – так денди привычно переоблачается из пижамы в сюртук, а затем в смокинг, и никто никогда не видит его настоящим. Но маскарад окончен. Признайся самому себе, как сильно ты хотел бы вернуть тот сентябрьский день и снова ощутить прикосновение его пальцев.

Что мне теперь делать с ним? Как я могу?

Расскажи ему про свои принципы, Морис. Про свою безупречную репутацию. Придумай что-нибудь, ты ведь находчивый. А можешь и вовсе ничего ему не объяснять, прикинуться валенком и жить, как жил. Он поговорит да и забудет тебя. А ты – ты никогда его не забудешь.

Теперь я, а не он прятал глаза и спотыкался на каждом слове. Разрубить узел одним махом – это было правильней, чем изо дня в день притворяться, но боже мой, как же это тяжело. Прости, Илай, я знаю, что ты чувствуешь, но и ты меня пойми. Я виноват, что допустил это недоразумение, что дал тебе повод думать, будто я... Он стоял бледный и не сводил с меня глаз, будто внезапно оглох и силился прочесть по губам свой смертный приговор. И я произнес это – самые грязные слова в моей жизни. Хуже любого ругательства, любого богохульства.

«Я не гей».

Его лицо разом повзрослело лет на десять, и горькая складка пролегла у рта. Он увидел то, чего сам я еще не осознал, – всю глубину моего падения в смрадный омут лицемерия, трусости и гордыни. А я-то думал, что спасаю свою бессмертную душу.

Он не хлопнул дверью, когда выходил, но дом задрожал, как в лихорадке – мой безопасный уютный мирок. С потолка сыпалась штукатурка, еще выше с грохотом обрушивались балки, и только подвал стоял невредимый, храня мою позорную тайну.

2

Не могу вспомнить, действительно ли я читал когда-то такой рассказ или сам сейчас придумал – о том, как человек лишился своей тени. Её, кажется, отрезали – провели волшебным ножом по земле, и герой обнаружил, что без тени жить нельзя, что даже худшее в нас для чего-то нам нужно. Не уверен, что запомнил правильно, но гуглить мне лень. Суть в том, что я превратился в этого героя, когда понял, что Илай больше не преследует меня. Я мог ходить с этажа на этаж, мог издавать самые невероятные звуки – моей тени всё это было до лампочки. Дара тоже иногда исчезала, но не говорила мне ничего и вела себя всё так же кротко, де-

монстрируя полное принятие всего, что я делал. Илай, должно быть, обрел в ее объятиях некое равновесие: он выглядел отстраненным, но не страдающим. Страна, страда – он даже играл с нами в настольные игры по вечерам, хотя и не приближался ко мне и перестал заговаривать первым. Я гадал, сколько продлится этот бойкот. До начала учебного года оставалось еще три месяца, и я чувствовал, что это крайний срок его пребывания у нас, несмотря на то, что Илай так и не придумал, куда поступать. Соня предложила ему поучиться конному делу, но энтузиазма он не выразил, хотя на конюшню ездил исправно – очевидно, затем, чтобы поменьше меня видеть. А я – я продолжал, как механическая шкатулка с фигурками внутри, исполнять свои нехитрые танцы под заезженную музыку: поднимал шторы, варил кофе, но всё это потеряло смысл, я отбывал срок в своей тюрьме, и что хуже всего – я знал, что сидеть мне не три месяца, что это пожизненное, если только кто-нибудь не сжалится и не даст мне по голове со всей дури, тогда дальше можно жить овощем или глухарем, как повезет.

Поначалу ночи приносили мне успокоение: ночью ведь вроде живешь, а вроде и нет, и если лечь пораньше, то срок уменьшится еще на час-другой. Перед сном я старался побольше читать, пока не начинали слипаться глаза – перечитывал всё самое любимое: «Конец игры», «Дело о разводе» – в книгах всегда найдется кто-нибудь несчастнее меня. В одну из таких ночей мне привиделось, будто Илай снова пришел к нам и пожаловался, что у него болит. Я видел белизну его кожи, обтянувшей тазовую косточку, – видел с нестерпимой ясностью, совсем рядом; пододвинулся к краю кровати и поцеловал то место, куда однажды угодил тяжелый ботинок. Кожа была шелковистой и теплой, и я ощутил, как боль перетекает из него в самую сердцевину, в географический центр меня, а потом провалился в черную дыру и выпал с другой стороны, мокрый и скрученный судорогой, как белье в руках у прачки. Тише, тише, шепотом сказала Дара. Кошмар приснился, Морис? Ты стонал. Я закусил палец и поискал глазами распятие на стене, но увидел лишь темноту.

Я решил уехать куда-нибудь – на неделю, дольше всё равно не вышло бы: у фрилансера с дамокловым мечом ипотеки не бывает отпуска. В октябре в Северном Квинсленде вполне можно отдыхать – сезон дождей еще не начался, а ядовитые медузы мало меня волнуют. Я позвонил маме, чем немало ее удивил, ведь мы разговаривали совсем недавно. Актерская выучка снова выручила меня – мама, кажется, ни о чем не догадалась, ну или сделала вид. Я пообещал, что перезвоню чуть позже, когда возьму билеты. Дару тоже надо было поставить в известность, что я и сделал, и тут же устыдился своей забывчивости. Ужасная память на цифры, прости, я же знал, что у тебя день рождения. Да ничего, – она улыбнулась, – я всё равно не праздную, так, схожу в кафе, если есть с кем. Ну зачем кафе, возразил я, мы и сами можем. Мне ведь необязательно лететь сию минуту. День рождения послезавтра, как раз успею пройтись по магазинам без спешки и что-нибудь соорудить. Я же твой должник. Мне самому был противен этот бодрый тон, насквозь фальшивый, но Дара тактично ничего не

заметила – женщины бывают невыносимо деликатными, чувствуешь себя рядом с ними подлецом, и ведь будут жалеть до последнего, вместо того, чтобы устроить обструкцию, абстракцию, бил дебила бодибилдер, языком ты трепать горазд, Морис, этого у тебя не отнять, а если отнимут – ничего от тебя не останется, ты весь звонкий, пустой и трухлявый, будто термиты сожрали. Мама ничем тебе не поможет. Раньше надо было думать.

Весь следующий день я провел на автопилоте. С утра зарядил дождь, и я не смог погулять, а за продуктами пришлось ехать на машине. Наверное, поэтому у меня разболелась голова, и я ушел к себе, чтобы не портить никому настроения своей кислой рожей. Я лежал на кровати, не сводя глаз с балконной двери, будто за ней мог кто-то появиться в такую погоду. Он сейчас, наверное, с Дарой. Ну и пусть, мне-то что. Всё равно скоро уезжать. Надо, кстати, посмотреть билеты. Я думал об этом, но не мог пошевелить и пальцем: что-то тяжелое навалилось на грудь, и я уснул до самого ужина.

Изначально я планировал заморочиться в Дарин день рождения с чем-нибудь фаршированным, но баклажанов нужного размера, как назло, не было, и правильных грибов я тоже не нашел. Взял курятины – потушу ее в белом вине, не кормить же девчонок стейками. К тому же Соня обещала привезти каких-то праздничных сладостей из хорошей кондитерской. Утром я сбегал подышать часа на полтора и немного пришел в себя, а на обратном пути сделал крюк и купил Даре цветов. Долго стоял, гадая, что ей может понравиться – когда-то у меня хорошо получалось: «Как ты узнал, что я их люблю?» – впрочем, девушки могли и лукавить, с них стает. Дара ничего такого говорить не стала, а только тихо расцвела, приняв букет у меня из рук; потянула носом, погладила пушистый оранжевый ёршик – прости за эклектику, хотелось чего-то аутентичного, а в Австралии ведь всего понамешано: английские розы, туземные банксии, а у других я и названий-то не знаю. Мне нравится, сказала она просто. Спасибо. У меня и правда настоящий праздник нынче, смотри: я прошел за ней в гостиную, где в прозрачной вазочке на столе уже стояли цветы – лиловые крылышки на длинных стебельках. Откуда это? Илай привез, сказала она со смехом, – представляешь, уехал на велике, минут через десять вернулся: говорит, они растут прямо тут, у нас в долине. Говорит, за автострадой их целое поле. Он ведь ездит теперь каждый день, ты не знал? Катается после работы и просто так. Я рада, что он начал собой заниматься. Молодец, сказал я рассеянно, глядя, как Дарины руки ставят на стол вазу с моим букетом. Рядом со скромными цветочками Илая он выглядел так безвкусно, что меня передернуло. А где он сам? – спросил я, чтобы не молчать. Вроде к себе пошел. Он сегодня работает во второй половине дня.

Я был уверен, что на работе он задержался исключительно затем, чтобы избежать готовки. Возни-то с курицей не много, но мне стало обидно, что он так демонстративно отказался от моего общества. Скрипнул калиткой, пристроил велик на заднем дворе и, не сказав ни слова, ушел в душ наверху. Спустился он лишь тогда, когда Дара позвала ужинать. Он

вымыл голову, но одет был, как всегда – белая футболка и джинсы. Я заметил, что лицо и руки у него слегка подгорели: кремом он, видимо, так и не мазался. А почему четыре бокала, Дара? Мне в его возрасте спиртного не давали. Соня фыркнула: ну ты и зануда, что ему будет с этого – что там, пино-нуар? Я пожал плечами и налил ему тоже – исключительно из уважения к имениннице. Я старался обращаться в основном к ней, но Илай сидел напротив меня, и мне приходилось смотреть на него, отмечая, как он хмурится и крутит в руках столовый нож. Сам он упрямо избегал моего взгляда; слипшаяся влажная челка падала сосульками ему на лоб, он встряхивал головой, но глаз не поднимал. Я еле сдерживался, чтобы не сделать ему замечание: в моей семье никогда не разрешалось ставить локти на стол. Он ничего не ел, ковыряя еду только для вида, зато бокал осушил почти сразу, будто мучился жаждой. За столом тем временем шли подходящие случаю беседы. Дара поделилась анекдотом-другим из своих рабочих будней, и Соня спросила, планирует ли она когда-нибудь завести щенка. Не знаю, ответила Дара, это же так серьезно – новый член семьи, и Морис, кажется, не горит желанием, – да я-то что, я разве против? Лишь бы не бульдог, или кто там самый слюнявый. А тебе как, Илай? Прости, Дара, – голос звучал хриловато, но твердо, – или я, или собака. Смотри-ка ты, – я не выдержал, – условия ставит. Он посмотрел на меня в упор; сжал нож в руке и провел большим пальцем по лезвию. Положи, сказал я. Илай не шелохнулся. Я повторил, повысив голос.

– Скажи, как Багира, – попросил он со странной интонацией: то ли искренне, то ли издевательски.

– Встань и выйди.

Я сам услышал бессилие в своем голосе, и Дара вмешалась: ну хватит, что вы оба, как мальчишки, в самом деле.

– Морис думает, что он взрослый.

Он несколько раз мучительно запнулся, прежде чем выговорил мое имя, будто сплюнул его.

– Как ты меня назвал?

Он откинулся на спинку стула, не спеша поднял свой бокал и, прищурив глаз, посмотрел на меня сквозь него.

– Ты слышал.

Повисла пауза. Лицо Илая изменилось: он дышал полуоткрытым ртом, всё чаще, прикрыв глаза – одна рука сжимала ножку бокала, другую он успел спрятать под стол, и мы потрясенно смотрели, как медленно запрокидывается его голова и лицо искажается спазмом облегчения. Он с шумом втянул воздух сквозь зубы и резко встал из-за стола – что-то с металлическим звоном упало на кафельный пол, и он кинулся вверх по лестнице, держа наотлет свою окровавленную руку.

Он хотел ранить *меня*, и ему это удалось.

Я взвился на второй этаж – площадка была пуста, дверь его комнаты приоткрыта, я распахнул ее – он обернулся через плечо, увидел мое

лицо – сделал шаг назад и раскрылся, словно уже знал, что я сделаю. И я сделал это.

Мне придется это признать.

Я ударил его. Сильно, наотмашь, раскрытой ладонью.

Через несколько ударов сердца он поднял руку, прижал к своей щеке и снова опустил, оставив красный след – будто подправил картину, сделав мазок кистью. Теперь картина была совершенной. Голова склонилась немного набок, ресницы были опущены, футболка казалась ослепительно-белой в лучах низкого солнца, глядящего в окно. Меня пронзило этой красотой – раскаяние накатывало мелкими волнами, мне казалось, я долго стоял так, пока очередная волна не поднялась выше головы, толкнув меня к нему. Я обнял его. Мокрые волосы пахли мятой, и во рту у меня стало холодно. Два слова льдисто бились о зубы: «Прости меня», – но он не шевелился, и у меня внутри всё застыло, будто я прижимал к себе тело, уже испустившее дух. Слишком поздно. Я всхлипнул, и тут он медленно поднял руки, повел ладонями вдоль моих бедер вверх, по бокам, по плечам, до шеи. Я разжал объятия, позволяя ему высвободить голову и посмотреть на меня. Какими прозрачными были его глаза. Это был ангел – как моя мама. Я склонился над ним, окончательно сдаваясь перед его чистотой, честностью и цельностью. Он потянулся мне навстречу. Он помнил каждое слово в моей давней исповеди, все мои неловкие признания – и поступил со мной так бережно, как не поступал никто. Прохладными губами тронул мои, всего на миг; мягко отстранился и вышел из комнаты навстречу Даре, которая стояла за дверью, держа наготове бинт и пластырь.

3

Он не пришел к нам в ту ночь. Если бы он и вправду был манипулятором, он непременно сделал бы это, чтобы получить свой приз. Но он лишь тихо, наедине попросил у Дары прощения и ушел к себе, чтобы там, за стеной, свернуться калачиком на кровати и думать обо мне, и, может быть, слушать в наушниках мой голос, рассказывающий ему на ночь сказки – как он делал много раз, никогда в этом не сознаваясь.

Если бы он был манипулятором, он бы не стал вырывать из своего рассказа самые пронзительные страницы, чтобы, смущаясь и пряча глаза, – он, который, не краснея, делился самым неприглядным – раскрыться передо мной позже, когда мы были уже по-настоящему вместе. Я не буду соблюдать тут хронологического порядка. В тот момент, на котором мы с вами остановились, я знал лишь отцензурированную версию его истории, иначе я бы сам пошел к нему, постучался в его балконную дверь и остался бы с ним до утра.

Он навел мосты заранее, чтобы не оказаться в свой шестнадцатый день рождения совсем один, но до последней минуты не был уверен, что затея сработает. Ему могли отказать – кому охота загреметь на десять лет: он же выглядел совсем желторотым и не мог соврать, что ему восемнадцать. Он страшно боялся и предчувствовал крах. Ей было немногим

больше, чем ему самому – может, поэтому она и согласилась остаться, раз уж приперлась в такую даль. Самоуверенности ей было не занимать. Чуть насмешливо изогнутые губы, грубые ботинки на платформе и гладкие, словно отутюженные русалочьи волосы, которые ему ужасно хотелось потрогать. Она была неуловимо похожа на Еву – и стала похожа на нее нестерпимо, когда произнесла нараспев: «Ой, какой хорошенький», – и сердце упало куда-то в живот, бедный маленький кусок мяса, не более романтический, чем любая другая страдающая плоть.

Увы, иллюзия растаяла в первые же минуты. Илай едва ли слышал о том, что нельзя войти в одну реку дважды, и потому пытался сделать это с отчаяньем безумца, вцепившегося в призрачную руку с ямочкой на запястье. Девушка, несомненно, готова была подыграть ему, но он не мог связать и двух слов и надеялся только, что она сама прочтет мольбу в его глазах. Она прочла – на свой лад, и он немного успокоился, и всё получилось, но его Ева умерла вместе с его невинностью. Он повзрослел в один день – точно по календарю – когда понял, что теперь стал более одиноким, чем прежде. Это не помешало им встретиться еще пару раз, пока не закончились деньги. После первой зарплаты он написал ей снова. Он хотел найти кого-нибудь еще, но у него не было сил. Всё свободное время он проводил лежа в постели и отковыривая краску со стены. Он механически вставал на работу, совершал немудрящие действия, которые от него требовались, потом механически ел, пересчитывал деньги и дни до зарплаты и, если всё сходилось, назначал очередную встречу. Он чувствовал всё меньше и меньше, и чем сильнее он вбивался в равнодушное чужое тело, тем сильнее разрасталась дыра внутри него самого. Когда она уходила, он выкуривал сигарету, вдавливал окурочок в свою кожу и засыпал.

Иногда он думал, что надо перестать спускать все деньги в презерватив, а скопить побольше и уехать. Он не знал, куда именно. Хотелось к морю – оно шумело иногда в голове, и от этого становилось хорошо. Он мог бы купить палатку и жить на пляже. К дому деда его тоже тянуло – даже просто взглянуть на него издали, а там – чем чёрт не шутит? – может, новые хозяева оказались бы добрыми людьми и пустили бы его во двор, как собаку. Может, он нашел бы и бабушку, и она бы даже узнала его. Он думал об этом и всё равно катился по наезженной колее. Лето сменилось осенью, контору закрыли на пасхальные праздники. Надо было как-то убить четыре дня. Он провалялся в постели до обеда, потом вытащил велосипед и поехал куда глаза глядят. Улицы были пустынными; где-то вдалеке резко и скрипуче кричали какаду. Илай последовал за их голосами и вскоре оказался на велодорожке. Она шла по самой кромке промзоны, вдоль глухих бетонных стен, изрисованных граффити, и углублялась в нетронутое поле, покрытое разнотравьем. Ехалось легко и бездумно, ветерок подталкивал в спину. Он заметил в стороне крутые склоны оврага и свернул в густую траву. На дне оврага протекала речушка, полускрытая деревьями. Илай бросил велик и пешком спустился к каменистому броду на излучине. Отсюда совсем не было видно города, и ни один посторонний звук

не заглушал журчания воды. Какаду улетели, проводив Илая. Серые камни вокруг казались древними, и он сам будто бы одряхлел, и захотелось лечь в эту исполинскую яму, вырытую неизвестно кем. Он растянулся на зеленом берегу и почти сразу провалился в сон.

Проснулся он вскоре после заката. Небо над головой было серым и гладким, как парусиновая крыша патио в доме у деда. Илаю не хотелось уходить, но он боялся заплутать в темноте по дороге обратно. Карабкаясь по склону, он задел ногой булыжник, и тот с тяжелым шумом скатился вниз. Велосипед был на месте. Илай вернулся на дорожку и вдруг увидел, что вдалеке тонко тлеет горизонт, как если бы с той стороны, на востоке, закатилось еще одно светило. Асфальтовая лента, еще различимая в ранних сумерках, уводила через поле навстречу этой заре, и он решил побыстрому сгонять туда. Откуда-то взялись силы, и он крутил педали до свиста в ушах, распугивая пасущихся кенгуру. Он быстро понял, что там, впереди – магистраль, и светится шумоподавляющий экран на другой стороне. Гул машин надвигался. Дорожка взобралась на изогнутый пешеходный мостик. Илай прислонил велик к перилам и, переводя дыхание, стал рассматривать вереницы разноцветных огоньков на полупрозрачной стене. Они то и дело принимались мерцать вразнобой, словно пытались сообщить ему послание морзянкой. Это было красиво. Илай долго стоял и смотрел; он ничего не снимал, ему не хотелось. Огоньки разговаривали с ним, и в какой-то момент он понял, что должен сыграть в орла и решку. Он больше не будет встречаться с не-Евой, а встретится с кем-нибудь другим. Если один раз не сработает – он уедет. На душе стало спокойно и легко. Он вернулся домой и в тот же вечер выбрал ту, чей профиль должен был украсить одну из сторон его монеты.

На фотографии с вебсайта был только анфас – как вскоре обнаружилось, самую малость подретушированный. Профиль оказался тонким и благородным, под стать всему облику, который был настолько несовместимым с родом ее занятий, что Илай подумал, что ошибся и это не она выходит из такси и ищет его взглядом – а затем предсказуемо хмурит брови. Её плащ и шарфик были серыми, но разного оттенка. Волосы уложены в строгий пучок. Глаза тоже были серыми – он увидел это, когда подошел к ней. Был дождь, она раскрыла зонтик, и они стояли под этим зонтиком на обочине дороги, как в кино.

Наверное, если бы не дождь, она сразу перешла бы на другую сторону, вызвала такси и уехала, не сказав ему ни слова. Она была осторожной, как и он сам. У нее с утра болела голова, и ей совсем не хотелось неприятностей в это ненастное пасхальное воскресенье. Он взял ее за руку и другой рукой показал на крыльцо ближайшего здания. Она, должно быть, что-то прочла в его глазах – а может, он напомнил ей кого-то, и ёкнуло сердце от его немоты. «Ты глухой?» – спросила она жестами. Он покачал головой. Потом, уже под крышей, дал ей листок с аккуратно выведенным текстом, организованным в виде списка.

«Мне больше шестнадцати. Я могу это доказать.»

Я делал это раньше.

Никто не узнает. Я обещаю».

Последние слова были с отчаяньем подчеркнуты несколько раз.

Она была, вероятно, ровесницей его матери или даже старше. Тело было молодым и гладким, лишь морщинки в уголках глаз выдавали возраст. Шея была длинной и жилистой, как у балерины. Он ярче всего запомнил эту шею – то, как она выгибалась ему навстречу в тот самый миг, когда он сам готов был откинуть голову назад, зажмуриться и впиться в ее плечи пальцами. Он видел себя в ней, будто в зеркале. Это было невероятно. Давно, еще в детстве, он испытал что-то подобное – с Джесси и потом с Евой. Тогда они стояли очень близко, разделенные только кожей, ловили свое отражение в глазах друг друга и смеялись, потому что им было хорошо. Это называлось быть вместе. Сколько лет он искал этого и не знал, чего ищет. Он хотел всего лишь быть вместе с кем-то – по-настоящему.

Он сказал бы это, сидя в нашей постели, и посмотрел бы на меня, и этого было бы достаточно, чтобы ввинтить мне прямо в мясо железный крюк и навеки привязать к нему чувством вины. Но он этого не сделал. Он дал мне свободу решать, хочу ли я быть с ним – и право отказаться от него.

4

Наутро все вели себя как обычно. После завтрака Соня ушла на работу, Дара тоже засобиралась, а я должен был идти гулять, но вместо этого сказал: хочешь, съездим потренируемся? Давай, согласился Илай без особого выражения. Уже в машине он попросил: ты только не разговаривай со мной так, как в прошлый раз. Как? Будто я насекомое. Лучше ори. Прости, сказал я. Но и ты тогда не называй меня, пожалуйста, Морисом. Договорились.

Мы для порядка покатались по улочкам, пару раз запарковались у обочины – он делал всё четко и аккуратно, и я похвалил его, а затем повел на автостраду. Утренний час пик давно закончился, но движение было активным, и я мысленно перекрестился, когда машина свернула на въездную рампу. Восемьдесят, напомнил я и, вывернув шею, оценил поток, в который нам предстояло вливаться. У тебя есть время, наша полоса – дополнительная. Если увидишь, что места нет, не паникуй, оставайся тут. Я подсказу. Мой голос звучал спокойно, но поджилки изрядно тряслись: ты, оказывается, боишься за свою жизнь, Морис – да фиг со мной, я за него боюсь. На пассажирском даже подушки безопасности нет, всё равно пропадать. Затикал поворотник; зазор в потоке был хороший, и я облегченно вздохнул. Слабо́ еще на один ряд или в аэропорт поедем? Окей, сказал он с плохо скрываемым удовольствием; перестроился еще раз и отдался ощущению полета – я видел это по выражению его лица, по тому, как расслабились его плечи, хотя руки продолжали слишком крепко сжимать руль: новички всегда так делают, я и сам так делал когда-то, – следи, пожалуйста, за скоростью, Илай. Как устанешь, скажи. Мне хотелось узнать, что он сейчас чувствует: гордость, удовлетворение? Радость оттого, что он – впер-

вые – стал частью потока? Я молчал, чтобы не мешать, но смотрел на него в открытую, невольно любуясь тем, как ему идет эта уверенность. Он, наверное, так же сидит и на лошади – я ни разу не удосужился съездить с ним. Я привык считать, что боюсь всего большого: лошадей, открытого пространства – не подозревая, что самым страшным для меня всю жизнь были сильные чувства. Привязанность делала меня уязвимым, и я научился не привязываться. Я думал, что хочу разделить себя с кем-то. Но прежде чем разделить, надо было себя собрать: найти недостающие кусочки мозаики и признать их подлинными – или навеки остаться недоделанным подобием себя.

Илай почувствовал мой взгляд, выпрямил спину и тряхнул головой. На бензин, наверное, дофига уйдет? – спросил он, полуизвиняясь. Да нет, копейки. Но надо бы и правда поворачивать, – я догадался, что он стесняется признаться в том, что устал. Давай в первый же выезд. Мы заехали на заправку, и я заодно показал ему, что куда вставляется и как платить. Он с трогательной настойчивостью попытался всучить мне десятку; правая рука была забинтована, и у меня заныло в груди, хотя я перестал думать о вчерашнем, да и о завтрашнем тоже. Мы поменялись местами; я отметил с оттенком неприятного удивления, что даже моя машина знает обо мне больше, чем я сам – недаром ведь она рассчитана на меня одного да, изредка, эпизодических пассажиров. Капризная велюровая обивка салона не выдержала бы ни детей, ни собак. Чистенькая и внутри, и снаружи, старомодная, но вполне функциональная: братцы, это ж я! – хотелось мне воскликнуть, но я только усмехнулся себе под нос, заезжая на рампу.

Уже на магистрали меня настигло еще более поразительное открытие: я ни разу не задумался об этом, пока возил Дару.

Неужели я и вправду был таким?

Мы оба ни проронили ни слова, пока ехали домой. Лишь когда я встал у обочины на нашей улице и заглушил мотор, Илай сказал: «Спасибо». Коротко взглянул на меня, осторожно протянул руку и тронул кончиками пальцев моё колено. Я едва ощутил это прикосновение, но белизны его бинта на темной ткани оказалось достаточно: в горле застрял комок, я отвернулся в тщетной надежде скрыть слезы – я сам не знал, что на меня накатило, было одновременно и горько, и как-то щемяще-радостно, и легко, как после исповеди. Я поглубже вдохнул и заставил себя успокоиться, чтобы сохранить остатки лица. Вытер глаза и улыбнулся Илаю, который сидел очень напряженно, стиснув руки у себя на коленях.

– Извини, меня просто триггернуло – знаешь, как бывает, когда что-то связано с местом или действием, какие-то воспоминания, ужасно древние, но всё равно дорогие.

Он нерешительно кивнул.

– Мне было столько же, сколько тебе сейчас. Я тоже учился водить и на магистраль выезжал всего пару раз, и только днем. А был вечер, зима. Холодно. Но дождя не было, а то мы бы точно убились, наверное.

Он не сводил с меня глаз. Я подумал, откуда бы начать.

– Я, конечно, не имел права водить самостоятельно. Но я сказал: давай я сам тебя отвезу. Мне в тот момент страшно не было, я только боялся, что упущу этот шанс, и другого такого не будет. Я ведь знал, что она уезжает, а мы и двух слов друг другу не сказали. Чудно, я же всегда умел говорить с кем угодно, и сцены не боялся, и микрофона, а ее боялся. И если ты думаешь, что она была какая-то красавица, то фиг. У нас были девчонки в сто раз красивее – в смысле, не у нас в классе, мы учились отдельно, но были всякие вечеринки, где разрешали встречаться и танцевать, и всё такое. Там обычно и знакомились. А она была нашей соседкой. Этот дом сдавался, и они там всего два года прожили. Я на нее смотрел в окно – она как будто нарочно не занавешивалась. Ничего особенного она не делала, в одном лифчике не ходила, но я всё равно пялился. Она была такая... другая. Как инопланетянка.

Я совсем не помню ее лица – какие у нее были губы, какой нос. Волосы были короткие, как у Дары, в одном ухе две серьги. Одевалась она, как пацан, и слушала какую-то странную музыку – странную, потому что иначе и быть не могло. Выходила на улицу со скейтбордом и плеером на поясе и каталась взад-вперед мимо нашего дома. А я, дурак, и не понимал тогда, что это было для меня.

– Ты, наверное, её стыдился, – предположил Илай. – Она как пацан, а вас бы увидели вместе. Смеялись бы.

– Не знаю, – сказал я с изумлением. – Никогда об этом не думал. Суть в том, что я так и глазел на нее, и меня это будоражило всё сильнее. Я мечтал, чтобы у них в доме случился пожар или грабитель залез, и я бы мог увидеть в окно и ее спасти. О таком, вообще-то, мечтают лет в десять, но я, видно, всегда был наивным романтиком. Просто так подойти или бросить записку в почтовый ящик – это с обычной девчонкой проканалом бы, а с ней казалось пошлым и мелким.

Потом я случайно узнал, что они не будут продлевать срок аренды и скоро съедут: кажется, моя мама случайно разговорилась с ее мамой, так-то мы не общались, они были замкнутыми, даже не здоровались никогда. Бельмо на глазу – мой отец так называл тех, кто жилье снимает. Раз не своё – можно газон не косить, не дружить с соседями. Арендаторов у нас не любили, прямо скажем. И поэтому для нее прийти и постучаться к нам – это был жест отчаянья. А я был дома один. До сих пор не знаю, считать это удачей или нет. Если бы отец открыл ей, а она стоит с этим кроликом на руках, и отец хмурится, ему неохота куда-то переться из-за соседской девчонки – я бы мог бросить ему вызов, заступиться за нее. Но я был один и молчал, как идиот. Даже в лицо ей боялся смотреть, а смотрел на этого кролика, которого она к себе прижимала и тискала правой рукой. На запястье была ямочка, и я подумал в тот миг, что ничего прекрасней в жизни не видел. Я даже не сразу понял, чего она хочет, и ей пришлось повторить: кролику плохо, надо к ветеринару, а в такси не берут с животными, и родители не могут прямо сейчас приехать. У тебя есть дома кто-то, кто отвез бы? Мы заплатим. Ну я и брякнул с перепугу: поехали. А ехать-то надо бы-

ло не в ближайшую ветеринарку, а в дежурную – не помню, почему. Мы сели в машину – она считалась маминой, но мама на работу ездила на трамвае, а у брата был мотороллер. И вот я выруливаю в сторону Хай-стрит, весь такой деловой, типа всё умею, а она и говорит: давай на магистраль, так будет быстрее, чем за трамваем тащиться в час пик. Магистраль тогда была еще совсем куцая: только заехал, и уже съезжать, и народ там не толпился, как сейчас. Я втопил, перед глазами огни, в ушах звон. Как-то встроился, слава Богу – и тут она, ни слова не говоря, кладет мне руку на колено.

Я умолк. Почему-то мне подумалось, что если он не сумеет вычитать всё сам из этой длинной паузы, ощутить, как мы летели в туннель влажной ночи с белым кроликом в руках – я ничем не смогу помочь ему. Я сказал что-то формальное – о том, каким внезапным и сильным оказалось это чувство, а еще о Даре, носившей на руке такую же ямочку. Представь, добавил я со смешком, что со мной было, когда она села в эту машину.

– Тогда это Дарино, – сказал Илай очень серьезно. – Я не знал. Прости.

Меня так поразила эта реплика, полная уважения и достоинства, что я отчетливо увидел, каким потрясающим человеком он вырастет. Да что я говорю – каким человеком он был всегда, и какими слепыми, глухими, эгоистичными мудаками надо было быть, чтобы не видеть в нем этого человека.

– Я тоже хочу что-то, чтобы было только мое, – добавил он. – Наше с тобой, Мосс.

Да, сказал я, и голос снова изменил мне, я будто бы вовсе его потерял и испугался, что так теперь и будет: Илай заговорил, а я замолчу навеки, отдав ему всё. Оно же и так принадлежит тебе, неужели ты не видишь? Неужели тебе нужны слова?

Вечером мне позвонила мама – я совсем забыл о своем намерении к ней приехать; но вместо того, чтобы устыдиться и рассыпаться в извинениях, я выдохнул в трубку: мама, я влюблен – так сильно, как не был влюблен еще никогда. Я был как пьяный, у которого что на уме, то и на языке, меня совсем не заботило, как я буду выкручиваться, задай она резонный вопрос про имя избранницы и тому подобное. Но вы же знаете, что моя мама – ангел. Я так и подумала, сказала она. Конечно, лучше приезжайте как-нибудь вместе, зачем тебе тащиться лишний раз в такую даль. А ведь и приедем, пронеслось в моей хмельной голове. Возьмем и приедем. Она ведь сказала однажды: что бы ты ни сделал, ты все равно останешься моим сыном. Даже если ты сядешь в тюрьму.

Так неужели *это* – хуже тюрьмы?

5

У писателей и сценаристов есть один трюк, я для себя называю его измененной репризой. Киношники особенно его любят как легкий и в то же время эффектный способ показать трансформацию героя и вызвать у

зрителя эмоциональный отклик. Здоровяк индеец пытается оторвать от пола мраморную колонну, чтобы выбить ею окно психушки, и только в финале ему это удается. Мальчик боится воды, а потом, пересилив себя, прыгает в озеро. Я вспоминал эти сцены, пока мои пальцы боролись с задвижкой, намертво застрявшей в своем гнезде. Никто не видел меня и не мог оценить моего героизма, и всё же я не сдержал порыва и, едва задвижка подалась, картинно толкнул плечом облупившуюся дверь и сделал шаг навстречу воображаемой кинокамере. Внутри, разумеется, было пусто, если не считать кучи барахла да паутины, которой за три месяца стало еще больше. С паутиной я справлюсь без труда, но что делать со всем остальным – заказывать контейнер? В нашем округе крупногабаритный мусор вывозят раз в год, и следующий вывоз будет нескоро. Я чуть было не поддался соблазну снова махнуть на всё рукой, но мне по-прежнему чудился насмешливый операторский глаз в глубине подпола – это был мой собственный глаз: моё новое альтер-эго, еще не дозревшее и по-юношески решительное, бросало мне вызов.

Я поднялся на веранду и заглянул в дом.

– Илай, не хочешь помочь?

Мы натянули садовые перчатки и стали вытаскивать и раскладывать на газоне отсыревшие картонные коробки, доски и обломки кирпичей – в одну кучу, всё потенциально нужное – в другую. Паутину мы собрали швабрами, а на прогнившие балки посмотрели очень внимательно и сошлись во мнении, что это дело лучше доверить специалистам. Я умел держать в руках разве что молоток, а Илай не мог похвастаться и этим. Мы отнесли шезлонги на веранду и тут же опробовали их. За этим занятием нас и застала удивленная Соня. Ну вы вообще, сказала она, увидев лежащие на траве старые сёдла.

– А надувной матрас мы так и не нашли, – сообщил я, устраиваясь поудобнее.

Поначалу я держался молодцом, но тени сомнения стужались и росли быстрее, чем тень от холмов по ту сторону ручья. Чего ты добился, Моррис, совершив этот символический акт, – стала ли чище твоя совесть? Что ты будешь делать, если он постучится этой ночью в вашу спальню? Как посмеешь коснуться его – ты, взрослый, так гордившийся своей высокоморальностью и готовый теперь уступить влечению плоти по той лишь причине, что влечение это обоюдно? И даже тут ты рисуешься – замечаешь? – даже тут ты литературничаешь, упиваясь звучанием собственного голоса, как токующий глухарь, которого ты, кстати, ни разу живьем не видел, как не видел живого некрофила – обо всем ты знаешь из книг. Этика, эстетика – всё у тебя перемешалось в голове, интеллигент ты хренов. Ты внутри весь как желе, твой моральный стержень давно прогнил, как балки у тебя под ногами. Дара говорила, что ты настоящий. Если бы она только знала, какой ты на самом деле.

Перед сном мы с ней обычно болтали, но в этот раз я сказался уставшим, и мы погасили свет. Я не хотел обсуждать эту тему – ни с Дарой, ни с

мамой, ни с кем бы то ни было другим. Мне важно было решить самому, как поступить.

Несмотря на моё, в значительной степени, религиозное воспитание, понятие искушения вызывало у меня какие-то несерьезные ассоциации вроде персонажа комиксов, у которого на одном плече сидит ангел, а на другом демон, или увиденного в гостях шутивого постера в рамке, гласящего «Умею противостоять всему, кроме соблазна». Я, в своих сияющих доспехах, был настолько недосыгаем для греха, что душевный мускул, отвечающий за это противостояние, полностью атрофировался. Отказать сомнительному клиенту, какие бы золотые горы тот ни сулил, задвинуть поглубже собственные потребности ради удобства других – для меня это даже не было моральным выбором, я просто знал, что должен делать так, а не иначе. И теперь, когда приспичило, я только и мог что наблюдать, как демон и ангел качаются на моих плечах – вверх-вниз – с невинной детской жестокостью терзая меня своим бесконечным диалогом: они даже не обращались ко мне напрямую, я был им неинтересен. «Подростки всегда страдают, – утверждал один, – что им ни дай, всё будет мало. Незрелая влюбленность прекрасна недосыгаемостью объекта, и конsummация...» – «Слушай, не умничай, а?» – «...и попытка утолить этот голод приведет к одному лишь разочарованию». – «Да ладно, это они сто лет назад тряслись, как бы не запятнать свою чистую любовь физической близостью. Сексуальная революция сделала свое дело». – «Всё равно, пусть страдают, им полезно». – «Но этот-то, сам-то, он имеет право на счастье?» – «Меня сейчас стошнит. Право на счастье – скажи еще, неотъемлемое. И, главное, речь-то о чем? Чего мужики так носятся со своей потенцией, как будто ничего важнее нет? И, обрати внимание, он озабочен не тем, что скажут другие, в том числе на самом верху. Единственное, чего он хочет, – обставить всё так, чтобы и рыбку съесть, и на ёлку влезть. Счастье. Тьфу». – «Дурак ты». – «Сам дурак».

Я хотел встать и выйти на балкон, чтобы эти двое заткнулись, но потом представил, как дверь соседней комнаты тоже приоткроется, и появится Илай в пледе и босиком, и мне придется, беззвучно замахав руками, загнать его обратно – только бы Дара не проснулась, – и войти вслед за ним, чтобы убедиться, что он лег и что не будет больше слёз и поисков бритвы, и присесть на краешек кровати, и убрать ему челку со лба, и – о господи, как же мне вынести это, ведь я даже в шестнадцать лет так не мучился, Господи, прости, я должен сейчас молить о вразумении, но откуда вдруг полезло это человеческое свободолюбие – почему мне так важно всё решить самому, своим убогим умом, не советуясь ни с кем, даже с Тобой?

А он – он бросил бы монетку, а то и вовсе отдался бы без страха той силе, что владеет им в этот конкретный момент, как делают дети и лошади. Он дитя, я за него в ответе. Как же мне спасти нас обоих?

Я проснулся с больной головой, и тут, как назло, мне в ящик упал емейл с предложением работы, и пришлось как-то функционировать, а потом еще позвонил Тони – в общем, я на время забыл о своих душевных

терзаниях, и даже про мусор забыл. А когда вспомнил, оказалось, что контейнера придется ждать еще с неделю, из-за праздников. Мы перетаскали весь хлам в палисадник, чтобы осталось только погрузить. Илай всё это время вел себя очень тихо, словно боялся попасть мне под горячую руку. Взбрыкнул он только один раз – в тот день, когда мы собрались, наконец-то, этот контейнер заполнить. В начале ноября пришла жара. Уже с утра припекало, как летом, и я напялил для прогулки шляпу и рубашку с коротким рукавом. По возвращении я решил сразу погрузить мусор, а потом помыться. Готов, Илай? – крикнул я в приоткрытую дверь его комнаты. Тот вышел в одних штанах и сказал, что готов.

– Э, нет, так не годится. Надень-ка что-нибудь.

– Не хочу, жарко.

– Тогда иди мажься.

– Это на пять минут, – сказал он негодуя. – Я не сторю.

– У тебя есть три варианта, Илай. Ты одеваешься, мажешься или сидишь дома.

– Ненавижу это всё, – буркнул он себе под нос и пошел в ванную.

Я последовал за ним, храня на лице выражение свирепой заботы, хотя в душе покатывался со смеху: в своем недовольстве Илай был похож на котенка, который таращит глаза и выгибает спину, чтобы напугать обидчиков. Я чувствовал, что он лукавит, едва ли осознавая это; что ему, на самом деле, приятно оттого, что он может возмутиться, а я могу его осадить, и всё это будет понарошку. Он достал из шкафчика солнцезащитный спрей, пару раз брызнул на руки и взглянул на меня.

– Лучше надень футболку, – сказал я сочувственно.

– Не буду.

Я ответил садистской ухмылкой. Взял у него баллончик и побрызгал на живот и на грудь. «Холодно!» – запротестовал Илай. Это пройдет, сказал я. Обошел его сзади, распылил сладко пахнущее облачко между торчащих лопаток и растер ладонью. Кожа у него была горячее – или мои руки были как ледышки? Он не вздрогнул и не издал ни звука. Я провел пальцами по круглым позвонкам – верхние были скрыты его каштановыми локонами, он так ни разу и не стригся с тех пор, как попал к нам. Не отрывая руки, я брызнул на поясницу – он шумно вдохнул, но не сдвинулся с места, позволив моей ладони скользить вдоль ремня. Длиннопалая лапа казалась медвежьей на его нежном теле, и это загасило едва вспыхнувшее возбуждение. Я выпустил его – как голубя, которого мне довелось когда-то подержать, и всё, что я тогда запомнил, – это боязнь раздавить его косточки, скрытые гладким опереньем. Вымыл руки и сказал: вот теперь пойдём.

Илай пересек верхнюю гостиную и открыл парадную дверь. «Смотри, Мосс!» – я вышел вслед за ним: весь наш палисадник, круто взбирающийся в горку, розовел и пушился, как сахарная вата.

– Они зацвели! А вчера тут было совсем чуть-чуть, в уголке – ты видел?

– А я говорил, что будет красиво.

Солнце почти отвесно падало ему на спину, лоснившуюся от спрея. Он прошел по бетонной дорожке к лестнице и медленно стал подниматься, повернув склоненную голову, – он смотрел на цветы, а я смотрел, как он воспаряет над вспененным цветочным морем, легкий и стройный – одинокая фигурка, увиденная глазами влюбленного за миг до его, влюбленного, смерти. Я с холодной отчетливостью ощутил, что умру за него. Чувство было спокойным и будничным, оно не потрясло и не испугало меня. Так было надо.

Илай повернул ко мне лицо, стоя на верхней ступеньке – и внезапно улыбнулся, не разжимая губ. Быстрая и робкая, почти спазматическая, эта улыбка была совсем не похожа на ту, какую нарисовал бы в этом месте автор книги или кинорежиссер, и в этой неприукрашенной реальности момента, в этой осознанности – я слышал все звуки вокруг, видел белевший за спиной Илая мусорный контейнер – мне открылся ответ. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Не буду скрывать, что я жульничаю, что эту цитату я читаю сейчас с экрана, а в тот момент я не помнил ее дословно, хотя она всегда меня восхищала – как прекрасная и таинственная вязь арабского текста, как журчанье чужого языка. Я не вдумывался в нее: мне было незачем вдумываться – а может, было попросту нечем.

6

Стоя под душем, я пытался занять свой мозг чем-нибудь другим, но ничего не получалось – потому, что он тоже стоял сейчас в душе этажом ниже; потому, что каких-нибудь полчаса назад я видел его руки – они поднимали другой край доски, которую мы бросали в контейнер, и у меня слабели колени. Я и прежде замечал, что в человеческом теле – в той угловатой, андрогинной разновидности тела, которую я считал привлекательной – меня больше всего волновали сочленения и шарниры: безупречная эластичность кожи, хранящей гладкость и тогда, когда эти сочленения двигались во всех степенях свободы; её, этой кожи, трогательная двойственность – шершавый локоть, только что с притворным гневом толкавший меня под ребра, доверчиво оборачивался своей внутренней стороной, и мне хотелось целовать беззащитную голубоватую впадинку на девчоночьей руке. Это было так же прекрасно, как наблюдать дружный полет птичьей стаи: густое темное облако, подчиняясь неведомой силе, вдруг перекручивалось и подставляло зачарованному зрителю свою изнанку, сотканную из белых брюшек и подкрылий; и я снова думал о птицах, сердце моё взлетало, когда мы поднимали с ним доски и ко мне поворачивались, попеременно, то твердое соленое плечо, то атласная подмышка. Я из всех сил старался не выдать себя и, закончив с контейнером, ушел на задний двор, чтобы подровнять траву. Минут через десять я заглушил газонокосилку и кинул взгляд на веранду – Илай лежал там в шезлонге, на столе поблескивал гра-

фин с водой. Он ничего не сказал, увидев меня; я ответил таким же смущенным молчанием – даже когда обнаружил, что рядом с графином стоят два стакана. Правильней всего было бы растянуться на соседнем шезлонге, но моя кожа, не любящая пота, уже начала болезненно зудеть. Я напился, вошел в дом и уже на лестнице услышал, как он тоже заходит и включает кондиционер.

А теперь, стоя под прохладными струями, я предался воспоминаниям, еще свежим и острым, и, елозя мыльной губкой по телу, которое отзывалось ноющим желанием, сонно размышлял, что мог бы сейчас набраться храбрости и избавиться от этого напряжения: вода всё замаскирует, сотрет следы прежде, чем подкатит тошнота. Как там было в его любимой песне – «Зимой легче плакать, чем летом: всегда можно притвориться, что это всего лишь капли дождя». Умеешь же ты все опошлить, Морис, ну и что теперь, он ведь не узнает об этом, никто не узнает – так я думал, выходя из душа и заворачиваясь в халат. Я постоял, решая, в какую дверь выйти: почему-то мне казалось, что я найду его сидящим на кровати в моей спальне. Он, так или иначе, должен был подняться за чистой одеждой, но я не нашел его ни в моей комнате, ни в его – дверь туда была приоткрыта, ни даже на балконе. Я переоблачился в условно домашнее, так как не делал особой разницы между тем, как выгляжу на людях и дома, и случайный визитер не имел ни малейшего шанса застать меня врасплох. С нижнего этажа тянуло холодным воздухом, и Илай, сидевший на кухонной стойке, был в футболке, за которой, судя по всему, успел-таки сходить. На этом поток моих мыслей иссяк, и мне сделалось до странности безразлично, те ли это джинсы, в которых он грузил мусор. Свесив ноги, он ел чернику из коробочки; я заметил, подойдя, что мелких, сморщенных ягод там уже не осталось – все были отборные, одна лучше другой. Он придвинул мне коробку, и с моих губ сорвалось: «Я не смею, они такие красивые» – это было сказано в шутку, но он так посмотрел на меня, что внутри будто лопнула струна. Я положил ладонь ему на щеку – его голова была на одном уровне с моей; а он, оперев в столешницу обе руки, подался вперед и обхватил коленями мои бедра, так что мне уже ничего не оставалось, кроме как стиснуть его в объятьях.

Он отдался мне с каким-то нечеловеческим облегчением, будто бы мучительная эта ноша копилась в нем годами, каждый день прибавляя грамм по сто. Я зажмурился; теперь весь мир был наполнен им: его прерывистым дыханием, слабым запахом медово-молочного геля для душа, острыми локтями и лопатками. Меня охватило странное чувство: так, наверное, сходят с ума. Так отправляются в путешествие, закусив сладкий кубик ЛСД. Я начал терять пол – и тот, что под ногами, и мой собственный. Я запускал пальцы в длинные волнистые волосы, целовал гладкую шею и не понимал, кто передо мной – мальчик или девочка, и кто я сам, и что нам делать, как пристроить друг к другу эти беспомощные, изнывающие тела?

А потом меня озарило внезапным осознанием нашей всеильности. Мы ведь сумели сделать невозможное: сочесь биение наших часов, свести

наши путаные тропинки. Оседлать попутный ветер и спрыгнуть с него в нужный момент. Повинуясь чутью, встать на страже. Если б я не вышел в ту минуту на балкон – где бы мы сейчас искали друг друга? Да неужели нам, всемогущим, не осилить теперь такой ерунды – сложить два физических тела плюсом к плюсу, минусом к минусу, чтобы вспыхнуло и закрутилось? Неважно, какого мы пола, какого цвета, размера и возраста. Мы были так долго разлучены и наконец нашлись.

Моё одурманенное сознание сохранило недостаточно деталей, чтобы воссозданная из них картинка имела бы художественную ценность. Помню только, что всё закончилось *молниеносно*, и мы опять – будто кто-то пустил кинолентку задом наперед – разошлись по ванным. Я остался наверху; выйдя на балкон, увидел через застекленную дверь, что Илай в одном полотенце пришел в свою комнату за новыми штанами. Я отвернулся и стал думать о том, что я скажу Даре и надо ли ей вообще знать обо всем. Если скрывать – значит, нам и дальше придется довольствоваться торопливыми встречами в том же духе: конфузливые сухие поцелуи, исступленное трение молнии о молнию. Но какими словами и под каким соусом я должен был ей это подать? Разве только она сама обо всем догадается. Наверное, поэтому я не стал сдерживать порыва, который охватил меня, стоило нам с Илаем сесть на заднее сиденье Сониной машины. Это было на следующий день – мы собрались ехать к Бадди в полном составе, как зимой, когда Илай был еще испуганным цыпленком – я с трудом мог вспомнить его таким: как он прятал под куртку воротник свитера и, излучая благодарность каждой клеточкой своего озябшего тела, кротко глотал бергамотовый чай – который, как я потом узнал, он любил не больше моего. Я коснулся его руки, и он развернул ладонь с уже знакомой мне готовностью; я с удивлением подумал, что никогда еще не трогал его шрамов, и тут же сделал это, а потом поднял глаза и увидел в зеркале заднего вида наши лица – свою глупую улыбку и румянец на его щеках. Я был уверен, что обе женщины тоже видели это, и сжал его руку. Мне хотелось, чтобы они знали.

В тот день меня штормило от избытка эмоций: я, что называется, раскачал себя и впадал то в одну крайность, то в другую. Вид Илая на лошади свел меня с ума – я и любовался, и переживал за него, хотя никаких кульбитов он не делал, просто трусил по кругу, без корды, привставая на стременах с удивительной грацией и гордо неся высоко поднятую голову в черном шлеме с козырьком. Соня не зря хвалила его. Расскажи им про наш проект, Илай. Тот смутился: это явно была их общая шутка, – но все-таки объяснил. Бадди танцует, и Соня говорит, что мы должны сделать номер – танцевать с ним вместе. Да, сказал я, это будет здорово, – а сам видел в тот момент только один танец: хрупкий подросток, миловидный, застенчивый, скользящей балетной походкой идет по канату, раскинув руки. Он ходил над пропастью всю жизнь: легкая жертва насильника, хозяина подпольного борделя. Как ему удалось избежать этого? Я спрашивал себя об этом раньше, но именно теперь, когда он с такой готовностью перешел

со мной черту, мне стало казаться, что он умолчал в своей автобиографии о чем-то очень страшном.

– Я? За деньги?

Он словно не верил, что за моим бессильным меканьем и беканьем скрывается именно этот вопрос. Мы сидели на кровати в его комнате – я зашел под предлогом пожелать спокойной ночи, хотя у нас это не было заведено, мне просто нужно было спросить, иначе я не уснул бы. Дару я в свои страхи решил не посвящать. Что ты, Мосс, – конечно, нет! Если хочешь знать – нет, это я бы так выразился, а он сказал просто: я ни разу не спал с женщиной. Клянусь. Он наморщил лоб, явно ища способы доказать мне это, и я поспешил перевести разговор в менее опасное русло.

– И не любил никого, кроме Джесси?

– Нет. Был один сон, давно уже. Я проснулся в слезах, хотя сон не был грустным. Помню, колодец какой-то, а там, внизу, лицо бородатого мужчины. Он был не старый, смотрел на меня без улыбки, но я знал, что ему есть до меня дело.

– Мне знакомо это лицо. Ты видел его в церкви.

– Нет, я никогда не был в церкви. Это был ты, Мосс. Я понял, что это ты, сразу как тебя увидел.

Он опустил глаза и помолчал, кусая заусеницу, а потом добавил:

– Мне было больно, так больно – вот здесь, как будто простужен и кашляешь и не можешь вдохнуть.

– Когда, Илай?

– Когда ты там, за стеной, а я тут. Я даже хотел уйти насовсем, но подумал, что больше тебя не увижу, и не смог уйти.

– Я знаю. Я тоже видел сон, как ты жаловался, что у тебя болит.

– Это же значит, что я не вру, да ведь?

– Ты никогда не врешь. Поэтому и говоришь так мало.

– Ты останешься?

– Дара меня потеряет, – я попытался рассмеяться, но он смотрел на меня серьезно и выжидающе. – Вдруг она что заподозрит...

– Я думаю, она уже знает.

– Хорошо. Я остаюсь.

И я остался.

7

На одной из съемных квартир, где я жил, моими соседями была молодая пара. Балкон у меня выходил во двор трехэтажки, построенной буквой Г, и я часто видел, как они паркуют под окнами свою «микру» и дружно несут в подъезд полиэтиленовые мешки с продуктами. Потом у женщины обозначилась округлость ниже талии, и её супруг всё чаще ездил по магазинам один. Как-то раз я заметил, что они садятся в машину – женщине это явно давалось нелегко – а на заднем стекле прикреплен желтый знак «Младенец на борту!» Прошло еще несколько дней, прежде чем я снова увидел соседку, с которой нам ни разу не довелось перекинуться словом.

Она выглядела изможденной – бледное заострившееся лицо, спутанные волосы. Её муж тоже мелькнул пару раз, но никаких колясок или свертков я не видел. Время шло, они всё так же оставались вдвоем, и увядшим листом глядело из окна «микры» желто-черное предупреждение о младенце на борту.

Вскоре я съехал, но эта история не давала мне покоя. Я рассказал ее Заку: тот не раз вдохновлялся подслушанным и подсмотренным – криминальной хроникой, обрывками чужих разговоров. В ответ он только хмыкнул, но при следующей встрече показал мне набросок сюжета. Именно в тот день, много лет назад, меня впервые посетило неуютное чувство, что друг мой, скажем осторожно, – личность крайне своеобразная. Я обещал, что не буду его компрометировать, и потому умолчу тут о своих сомнениях, а заодно о леденящем душу рассказе – который он так и не опубликовал, так что если кто-нибудь захочет воспользоваться идеей – дарю ее вам. У меня полно таких наблюдений, а то и полуготовых сюжетов, которые я никогда не запишу, но с которыми мне нравится играть, воображая себя немножечко творцом. Когда Дара рассуждала о модной нынче теории привязанности, пытаясь объяснить себе, почему Илай в детстве отгалкивал мать, мне представился рассказ под названием «Аттачмент» – ну, в смысле, приложение к письму, кто-то должен получить загадочный емейл и всё это должно быть как-то связано с маленьким ребенком, у которого нет рядом никого, к кому он мог бы по-настоящему привязаться. А гуляя в парке, в той его части перед эстакадой, где ручей превращается в озерцо, я часто думаю, что густые тростниковые заросли в человеческий рост – лучшее место, чтобы спрятать труп, который найдет ранним утром случайный собаковод. Вот, например, мистер Бэггинс – я называл его так за тряпичную сумку, которую он неизменно брал с собой, выгуливая рыжего пса с ушами до земли. Эту пару я встречал чаще всего: они гуляли в любую погоду, всегда на поводке. Пёс лаял, стоило подойти к ним ближе чем метров на сто, а я терзался любопытством, что же лежит в этой сумке. Как ты думаешь, Илай? Мы гуляли с ним вместе – он, оказывается, умел ходить быстро, вровень со мной, и мы карабкались на холмы и спускались обратно у самой автострады. За ней еще недавно синело цветущее поле – жалко, что ты не увидел, Мосс, было так красиво, особенно с той стороны, когда они на фоне бетона. Да, могу себе представить: контраст, игра фактур – а тебе не хотелось это сфотографировать? Зачем? У меня это в голове. Я рассказал тебе, ты понял. Вот и всё. Я подумал тогда, что он совсем не тщеславен: ангелы не бывают тщеславными. Так здорово было шагать с ним и болтать всякую ерунду – правда, эти башни ЛЭП похожи на скелеты рождественских ёлок, Илай? На них еще по шесть таких круглых – скелетов шариков, сказал он и поправился: нет, это внутри скелет, а снаружи – как назвать, Мосс? Контур, сказал я; абрис. Как это пишется? Я назвал по буквам, и он пошевелил губами, словно пытался запомнить новое слово и потом блеснуть перед нами в «Скрэббле».

В наших валяниях на диване появился теперь легкий эротический флер, из чего я сделал вывод, что обе женщины всё знают и не осуждают меня. Как-то вечером я, переключая каналы, наткнулся на старый фильм и, повинувшись ностальгическому чувству, прилег посмотреть. Дара растянулась рядом, Илай уселся с другой стороны. Соня, видимо, была у себя. В рекламной паузе я убавил звук, и Дара спросила: угадай, какая часть тела мне нравится больше всего? Я охотно включился в игру, начав с самых невинных вариантов и дальше по нарастающей, повышая градус так, чтобы уложиться в рекламное время. Нет, сказала Дара, не угадал. Сдаюсь. Она мягко коснулась моего живота – я скосил глаза и, не увидев ямочки, удовлетворенно отметил, что спокоен как удав и остаюсь таковым даже с учетом эскалации ее прикосновения. Повод я дал ей сам, попросив объяснить, что такого притягательного она находит в этом неэстетичном волосатом регионе. Дара углубилась в этимологию его русского названия, попутно углубляясь пальцами в щель между нижними пуговицами моей рубашки, а потом добавила, что всё это фигня, а на самом деле – это просто беззащитное и приятное на ощупь, особенно у собак (тут я соорудил на лице оскорбленное выражение). Если собака валится на спину и подставляет пузо – значит, она верит, что ее не обидят. Щенки так делают перед взрослыми собаками. Это называют позой подчинения, а я называю позой доверия. Диван рядом со мной дрогнул, и Илай ушел наверх, ничего не сказав. Бедный мальчик, вздохнула Дара, я, кажется, его смутила. А я подумал, что он и сам был не прочь коснуться меня так, как Дара.

Хотите – верьте, хотите – нет, но в ту первую ночь между нами ничего не было. Он не лгал, сказав, что никогда не спал с женщиной, и, вероятно, ждал первых шагов от меня, но я сам робел, и если в прошлый раз мне помогла подъемная сила накопленного возбуждения, то вот так, с места, я взлететь не мог. Пристроившись на своей половине – все кровати у нас в доме были полуторными – я неловко молчал, и Илай начал рассказывать, словно продолжая всё ту же историю неожиданным флэшбеком лет на десять назад. В тот вечер я и узнал, что для него значит «быть вместе». Какая-то часть меня – еще недавно заполнявшая весь доступный объем, а теперь оттесняемая всё дальше в угол – цинично заметила, что я в хорошей компании: педофил и проститутка. Но меня это совсем не задело, моя респектабельность стала мешать мне, как мешала пижама летними ночами – пижама, которую Илай даже не попытался на мне расстегнуть, а вместо этого признался, что всё детство был уверен, что он один умеет испытывать чувство сладостного полета от интимного взаимодействия с самим собой. Он прятался от матери не потому, что боялся ее порицаний: она, судя по всему, была достаточно слепа, чтобы не замечать таких вещей – а потому, что чувствовал свою непохожесть на других. Джесси оказался таким же, и это Илая поразило. Он что, тоже, начал я, но вопрос повис в воздухе, меня по-прежнему слегка мутило от несоответствия реальных событий и того, как их воспринял мальчик – так бывает, когда видишь оптическую иллюзию. Трогал себя, подсказал Илай. Да, он это делал.

Чтобы отвлечься, я стал спрашивать его о девицах, которых он снимал, и он поведал мне всё то, что вы уже знаете; а потом, будто обессилив от долгого монолога, внезапно уснул – совершенно по-детски, закинув на меня ногу, так что я не смел пошевелиться и долго лежал так, думая обо всем, что услышал.

Кто из нас был теперь тенью другого? Я радовался, что он снова ищет моего общества, и сам звал его на прогулки, и охотно открыл ему дверь, когда он пришел полюбопытствовать, как я работаю. Он сидел не дыша, пока я наговаривал какую-то мелочевку: работать всерьез я бы при нем, разумеется, не смог. Когда я закончил, он принялся рассматривать мой стеллаж с книгами, занимающий полстены. Покупая новый томик на антикварном развале или в маленькой пыльной лавке, я клялся себе, что это в последний раз, а перед очередным переездом честно разбираю свою разбухшую библиотеку и отношу в комиссионку всё, что удавалось оторвать от сердца. Но теперь, когда я окончательно укоренился в своем постоянном жилище, книги начали прибывать стихийно и неостановимо, как вода во время потопа. Новый шкаф уже просочился в мою спальню, здесь же, в студии, всё было давным-давно забито. Смотри, это про тебя, – Илай уже нашел моего потрепанного «Мориса»; первое издание, представь себе, семьдесят первый год. Тот пожал плечами: не такое уж и старье, дед вполне мог застать его свеженапечатанным. Да, но ты хоть знаешь, когда это было написано? В начале двадцатого века! Если быть точным, в девятьсот тринадцатом. А почему раньше не публиковали? Автор сам не хотел, объяснил я. Бережно взял книгу с полки – американское издание в строгом и тревожном черно-желтом переплете; открыл послесловие и прочел ему вслух: «Я придерживался того мнения, что хотя бы в художественной прозе двое мужчин должны влюбиться друг в друга и сохранить свою любовь на веки вечные, что художественная проза вполне позволяет»⁵. Понимаешь, Илай, он хотел, чтоб его герои были счастливы. Вот, слушай: «Имей она [история] несчастливый конец, болтайся парень в петле или ещё как-нибудь наложи на себя руки – вот тогда всё в порядке». А так, как он её написал, опубликовать её было бы невозможно. И даже потом, когда в шестидесятые всё стало меняться, он боялся, потому и завещал издать книгу после его смерти.

Помолчали.

– А ты её тоже записывал?

– Увы, не довелось.

– Почитаешь мне?

– Тебе будет скучновато, тогда ведь писали совсем иначе.

– Но я хочу, чтобы ты мне читал. У тебя хорошо получается.

– Я же наговорил на целую библиотеку – выбирай что хочешь, – Он не ответил, понурясь. – А, понимаю: тебе нужна *эксклюзивная* авторская версия, верно, Илай? И чтобы как в 3D-кино, со спецэффектами.

⁵ Здесь и далее: цит. по: Э.М. Форстер. Морис (перевод с английского А. Куприн) – «Глагол», 2000.

– Какими еще спецэффектами?..

– Ну, в кино же сиденья ходят ходуном и воздухом дует, когда надо. А ты, я так понимаю, алкаешь живого человеческого прикосновения, коим я мог бы проиллюстрировать происходящее на страницах этой книжки.

Щеки Илая полыхнули, и я добавил голосом Багиры:

– Ты, помнится, спросил меня однажды, как играют на терменвоксе. Ну теперь-то понимаешь?

– Ух ты, – выдохнул он. – У меня даже мурашки, смотри.

И не только мурашки, отметил я и счел за благо отвлечь его какой-то ерундой, ведь мне надо было сделать еще кучу дел, прежде чем я мог, наконец, дать себе право забыть обо всем, кроме него, забраться с ним под одеяло и открыть на заложенном месте старого, доброго, трогательного «Мориса».

8

Я уже слышу разочарованные вздохи тех моих слушателей, кого заманил на огонек один лишь факт наличия в этой истории столь непопулярного ныне (но весьма распространенного, к примеру, во времена Платона и Анакреонта) мотива возвышенной любви старшего к младшему, так проникновенно описанной Оскаром Уайлдом в знаменитой речи на судебном процессе. Ну, вы помните: «Она светла, она прекрасна, в ней нет ничего противоестественного» – но всё равно торопливо листаете вперед, пропуская заумные отступления. А рассказчик подсовывает вам невинные сценки, где герои читают в постели викторианские романы.

Признаюсь, я это не со зла. Я сам ненавижу клик-бейты и прекрасно понимаю, что в наше развращенное и при этом лицемерное время приходится балансировать на лезвии бритвы, дабы не быть уличенным в старомодности, с одной стороны, и порнографии, с другой. С третьей же стороны, мне важно описать всё именно так, как было, а реальность была такова, что по вечерам я теперь приходил к Илаю с книжкой и читал ему – кусочки из «Мориса», стихи, свои любимые рассказы. После этого я мог пожелать ему спокойной ночи и уйти к себе, а мог остаться – в зависимости от моего самочувствия, планов на завтра и того настроения, в каком мы оба находились. Потом мы засыпали – вместе или порознь. А потом наступало утро.

То первое утро, которое мы встретили с ним, останется в моей памяти, покуда сама эта память не покинет меня. За окном светало, в парке пошвыстывали птицы. Уснул я поздно и теперь чувствовал, что не успел как следует отдохнуть: и тело, и голова оставались размякшими, я с трудом мог пошевелиться и решил полежать еще немного. Мысли текли сами собой – простые будничные мысли: надо ли будить Илая или лучше тихонько уйти, не обиделась ли Дара и чем бы позавтракать. Пока я размышлял, Илай проснулся – скорее всего, не вполне, всего лишь пауза между фазами сна. Он вздохнул и пошевелился, и я отважился сунуть руку под одеяло и дотронуться до него: наружу торчал только лохматый затылок. От его ко-

жи шел жар – так почудилось моим пальцам, тут же отстранившимся: он с живостью повернул голову, на сонном лице отразилось смятение; я понял, что он дезориентирован, поскольку не привык спать с кем-то вместе. Ш-ш-ш, это всего лишь я. Он зажмурился и вздернул уголки рта в полуулыбке. Я обнял его; меня поразила мягкость его тела, состоящего при свете дня из одних углов. Это была особенная, райская, младенческая мягкость, в которой смешались доверие и нега; мягкость библейской глины. Моя рука с жадным восторгом пустилась изучать его сверху донизу – упоение слепца, впервые познавшего красоту. Равнины сменялись долинами и пригорками, безупречная гладкость кожи уступала место бархату бесцветного пушка над копчиком и на внешней стороне бедер. Он был податливым и теплым, как тесто, но не пах, как тесто – он будто бы вообще ничем не пах, я отметил это с удивлением, зарывшись носом ему в подмышку, а ведь все говорят про феромоны, но я и без всяких феромонов сделался пьяным, меня охватила истома, и когда я прильнул к нему всем телом, уже свободным от искусственных покровов, я почувствовал не возбуждение, локализованное в центре, а головокружительную сладкую слабость. Я целовал его и сплетался с ним в каком-то неземном пространстве-времени: потом оказалось, что с момента моего пробуждения прошло больше часа, а мне чудилось – минуты.

Он сказал: я больше не могу, Мосс, – даже в таком состоянии он ухитрился помнить о моей психофизиологии и боялся вызвать у меня рефлекс отвращения. Он скатился с кровати и ушел, в чем был. Вернувшись, доложил, что ванная свободна и остальные уже внизу. Я вошел в душ, открыл оба крана и дождался, пока вода смое с меня остатки стыда, после чего неловкой рукой открутил третий кран и содрогнулся от быстрого и мощного спазма, окончательно меня пробудившего.

К тому времени, когда я вышел, Илая наверху уже не было – не потому, что он стеснялся появиться прилюдно вместе со мной: напротив, он не замедлил признать нашу близость первой же репликой – «Дара печет олады, ты будешь, Мосс?», ничего более нежного я до той поры от него не слышал, он так это произнес, будто спрашивал, выйду ли я за него замуж. Он спустился один потому, что не любил демонстративности – а может, просто был ужасно голоден и счастлив и не мог усидеть на месте. В гостиной были подняты шторы, я никогда не видел утреннего света, стоя на ступеньках лестницы, и это было так странно, куда более странно, чем всё, что случилось перед этим.

Так и повелось: вечером – книжки и разговоры, утром – беззвучная возня, изумление первооткрывателя, благоговейный трепет перед красотой. Без смущения позволить ему расстегнуть и развязать то, что служило мне прежде кольчугой; перецеловать все его раны и в один прекрасный день обнаружить, что и мои собственные понемногу заживают, будто этим действием я врачевал и другого мальчика – моего внутреннего ребенка. Щекотка больше не мучила меня: колючки пригладились и истончились, тело отзывалось на ласку с дурашливой благодарностью блохастого пса,

подставляющего пузо, а вместе с ним и другие, крайне уязвимые места, которые Дара постеснялась упомянуть, хотя, несомненно, имела в виду. Я не питал надежды исцелиться полностью, но даже крошечные шажки в этом направлении чрезвычайно меня волновали.

Ну и кто из нас бурят, смеялась она, глядя на мои перемещения между спальнями. Её мама выросла в сибирском поселке и рассказывала, как буряты, жившие там, кочевали из одной пустующей избы в другую, сублимируя таким образом свою исконную тягу к скитаниям. Я оправдывался тем, что для троих наша кровать слишком мала, скрывая от Дары, что Илай больше не хочет к нам приходить. Понять этого я тогда не мог, мне казалось, что причина в его ревности, но говорить на эту тему мне не хотелось. Их физические контакты друг с другом тоже сошли на нет, хотя сам я, скажем откровенно, представлял собой весьма бледную альтернативу: никаким сексом в нашей постели и не пахло. Мы оставались в плоскости викторианского романа – каковым, по форме, и является запоздало изданный «Морис» с его целомудренными описаниями. Но при этом – и чем больше фрагментов я читал Илаю, тем сильнее становилось это чувство – старомодный Форстер оказался храбрее, чем иной современный автор. Взять хотя бы моего друга, который в своих рассказах, ни много ни мало, поощряет наши низменные инстинкты, заставляя нас вести себя как посетители балаганчика с выставкой уродов. А мы и рады, это ведь зашито в людях – стереотипные реакции, позволяющие не тратить каждый раз время на принятие решений. Одна из башен ЛЭП в нашем парке (вы обращали внимание, что они все разные?) всегда напоминала мне человеческую фигуру с руками, сокрушенно разведенными в стороны – что я могу поделать, я негибкий с моим железным каркасом, мне отвратительно всё непонятное. Вот тут-то литература и может помочь нам расшатать этот каркас. Понимаешь, Илай, художественный текст на то и художественный, что в нем возможно всё, в том числе визиты инопланетян, путешествия во времени и счастливая любовь между двумя мужчинами. Если читатель, повинаясь мастерству автора, хотя бы на миг проникнется симпатией к бедняге-маргиналу – он, быть может, не плюнет ему в лицо, если встретит в жизни. Понимаешь?

– Это то же самое, что с твоими пауками, Мосс. Конечно, понимаю, я же не идиот. Почитай мне еще.

Я открыл «Мориса» на следующей закладке и прочел: «Они играли друг ради друга, ради их хрупких отношений – если один падал, бежал другой. Они не замышляли миру никакого вреда, но, поскольку тот атаковал, они должны были отвечать, они должны были стоять на страже, а затем громить со всей силой, они должны были доказать, что когда двое соберутся вместе, большинство не восторгается».

9

В те утренние часы, которые мы с Илаем проводили вместе, я сделал еще одно открытие. Как-то раз, едва разлепив глаза, он начал расска-

зывать мне сон. Я пытался вникать, но очень скоро меня отвлекло осознание того, что он совсем не заикается. Ты замечаешь, Илай? Ну-ка давай за мной: «Геолог Георгий – герой гей-оргий». Зачем это? Он насупился, и я примирительно взъерошил ему челку: ладно, проехали. Ты так легко говорил, что я подумал – чем черт не шутит, но если не хочешь, так и не надо. На следующее утро он сам попросил: Мосс, скажи скороговорку, только не-сложную. О любви не меня ли вы мило молили? А любви не меняли, начал он и споткнулся. Я не понял, в чем смысл. Да забей на смысл, о любви вообще не надо молить, это глупо и жестоко. Почему жестоко? По кочану. Я не хотел разговаривать – я и так занимался этим с утра до ночи, а сейчас мне хотелось только быть с ним, и всё кончилось тем, что он опять ушел в ванную, а, вернувшись, произнес эту фразу о любви – чисто и правильно.

– Илай, ну-ка признавайся, что ты там делал в ванной?

– Что обычно, – Он пожал плечами. – А что?

– По-моему, тебе надо делать это чаще.

Он разжал губы и так, с полуоткрытым ртом, издал на выдохе звук, которого я никогда от него не слышал и принял бы сейчас за кашель, если бы не видел его лица. Выражение улыбки уже почти истаяло, но не было сомнений в том, что только что произошло.

Он засмеялся.

Конечно, я не спешил вопить обо всем на весь дом, предоставив ему право самому решать, на что он способен и надо ли развивать эти способности – мы-то были готовы любить его любим, без мольбы, без болтовни, а вам слабо произнести это вслух? И как же я гордился им, когда он выбрал более сложный путь и в один прекрасный день присоединился ко мне в нашем стенд-ап дуэте.

– Илай, как там у терминатора с температурой?

– У терминатора температура субфебрильная, – отрапортовал он, и у обеих женщин с грохотом упали челюсти.

Чудеса бывают только в сказках, и большую часть времени он говорил с запинками, но они становились всё реже, а когда ему удавалось ослабить свой речевой аппарат, судороги не возникали вовсе. Помнишь, спрашивал я его, пока моя рука совершала утренний обход его тела, помнишь ведь, что всё это мышцы и их надо тренировать? Хочешь, подышим вместе? Я покажу тебе. Мы дышали, а после завтрака отправлялись лазить по холмам и играли в игру «Что на что похоже» – у тебя тоже образное мышление, Мосс? Наверное, хотя и не такое хорошее, как у тебя. Мне уже никогда не стать ни писателем, ни художником, я просто люблю искать необычное в обыденном. Вот этот мост автострады – видишь, он как будто разграфлен, потому что состоит из множества панелей? У меня в детстве была линейка, очень крутая, между прочим, кто-то мне подарил; она тоже была из оргстекла, как эти панели, а внутри налит подкрашенный глицерин – такой же синий. Там плавал кораблик, но я могу легко представить, что это машинка, и тогда метафора будет идеальной. Не такой уж идеальной, возразил Илай. С кровью было лучше. Или река, например. Чтобы

было вечное движение, и всегда в одну сторону. Вот видишь, сказал я. Ты гораздо талантливей меня. Мы спустились к ручью. По дорожке наяривал велосипедист в лайкре, а навстречу ему шагала, ссутулившись, знакомая фигура в трениках. Сперва я решил, что обознался – я ведь ни разу за три года, что живу здесь, не видел мистера Бэггинса без собаки. Но это был, несомненно, он. Мне всегда хотелось узнать, что у него в сумке, а теперь и сумка отсутствовала, и у меня не было повода с ним заговорить. Мы поравнялись, я хотел ему улыбнуться, но он смотрел себе под ноги, отрешенный и помятый, будто с похмелья. Когда мы разминулись, я вполголоса произнес: интересно, что случилось с его собакой? Илай промолчал.

На следующей прогулке мы его не встретили, и я перестал о нем думать. Поэтому, когда Дара вернулась с работы расстроенной, и я спросил, в чем дело, и она, часто смаргивая, стала рассказывать – я поначалу не связал ее случайного собеседника с мистером Бэггинсом. Он сидел на скамейке, она шла мимо с Локи, и он вдруг сказал: будьте осторожней, кто-то травит в парке собак. Он позавчера гулял со своим спаниелем, а тот всю жизнь был как пылесос – мигом сжирал с земли что ни попадя, глаз да глаз за ним, тут у заборов все время хлеб валяется, люди бросают птицам по доброте душевной. Но это валялось у самой дорожки – не успел разглядеть что, мелочь какая-то. А минут через двадцать собаке стало плохо. До ветеринарки довез уже мертвую.

Голос у Дары сорвался, и она прижала ладонь к губам. Ну что ты, сказал я, не надо, – а что я мог еще сказать, у меня самого похолодело внутри, хоть это была всего лишь собака. Если по соседству срубят дерево или снесут дом, сразу ощущается пустота. А тут – живое существо. Я сделал шаг навстречу Даре и неловко обнял ее; искал глазами Илая, который стоял так тихо, будто его не было. «Нелюди, – донеслось до меня сквозь рыдания. – Как так можно?» Я дал знак Илаю, чтобы принес воды; он не сразу сдвинулся с места, а потом, протянув мне стакан, отступил назад. Мне показалось, что он хочет уйти, но тут на лестнице появилась Соня – вопросы, восклицания, и он обошел нас и встал спиной к застекленной двери, обратившись в немой силуэт. Чокнутые, говорила Соня, кто бы это ни был. Надо быть чокнутым, чтобы такое сделать. А ты лучше не гуляй пока в этом месте, мало ли что. Ты обедала? Я бы съела что-нибудь.

Я убедился, что Дара в надежных руках, и ушел работать – вернее, я думал, что буду работать, но в итоге проторчал на балконе минут десять, будто надеялся засечь отравителя. В сознании всплывали недавние сценки: день рождения соседки, куда мы ходили вдвоем с Соней; нежное прикосновение к моему незащитному животу. Извини, Дара, или я, или собака. Пальцы настойчиво просили сигареты или смычка. Я вынул четки и сел читать – нет, не Розарий: я всю жизнь был неправильным католиком, моя вера была детской, маминой. Это она когда-то научила меня Молитве о мире, *Прегьера семпличе* – самый длинный текст на итальянском, который я до сих пор помнил. Я всегда читал его с четками в руках, нанизывая ритмизованные строфы на нить внутренней тишины. Мама хотела, чтобы

я вырос хорошим человеком – чтобы туда, где ненависть, я вносил любовь, – и я старался изо всех сил, – туда, где оскорбление, я вносил прощение, – ведь как бы я помог слепому, если сам слеп, – туда, где разлад, я вносил единение, – как бы вытащил из огня слабого, если сам слаб? Ибо отдавая, мы получаем. Он дитя, я должен его спасти. Умирая – воскресаем к жизни вечной. Мои пальцы больше не дрожали. Я прочел еще Фатимскую молитву, за себя и за него, и спустился в гостиную спокойным и твердым.

– А где Илай?

– Уехал на велике куда-то, – сказала Соня. – На работу, наверное.

Дара сказала, что тоже сейчас уходит, у нее еще двое клиентов сегодня. Я присел рядом на диван – Соня, очевидно, сделала ей успокаивающий массаж, и лицо ее посветлело. Береги себя, сказал я; пригладил ершиком темных волос на ее макушке и ушел на веранду ждать Илая: он должен был скоро вернуться, ведь никакой работы у него сегодня не было.

Прошло, наверное, минут сорок. Я уже собирался ему звонить, тревога подступала всё ближе, и я отгонял ее, как мог. Он появился со стороны автострады – северный ветер нес его, как пушинку, он опять был без шлема, маленький паршивец, где твоя голова, Илай? Его глаза не улыбнулись в ответ, и сам он ничего не сказал. Постоял, не зная, куда девать руки, и ушел в дом. Меня охватило острое желание последовать за ним – шум воды всё ближе – открыть дверь душевой кабинки и мыльной губкой провести по его спине и плечам, по груди, по животу, чтобы грязь стекла с него и ушла в землю – навсегда.

Если бы это было так просто.

В ожидании, пока он выйдет, я сидел на диване – как в тот вечер, когда он попал к нам, только теперь я был с ним наедине, а он был в одних джинсах, но я до странности ясно вспомнил его именно тем, прежним. Он сел рядом и обхватил себя руками за бока.

– Мне нужно с тобой поговорить. Это будет нелегко, но нам придется это сделать. Ради тебя.

Кивок.

– Ты трижды солгал нам, Илай. Ты сказал, что тебя зовут Леон и что твоя мать умерла. Но осталось что-то еще. Что-то очень важное. Ты должен мне рассказать.

Длинное движение вдоль шеи, попытка облизать сухие губы.

– Я, – Голос сиплый, судороги, короткая фраза выматывает до предела, – был у дяди. Недавно.

– В тот вечер, когда упал?

Кивок. Он не лгал. Всё сходилось.

– Когда Дара рассказывала про собак, как они переворачиваются пузом кверху, ты ведь ушел не потому, что возбудился.

Опущенные ресницы.

– Ты плакал.

Ни звука, ни движения. Возможно, он не плакал, ведь сегодня он сумел ничем себя не выдать, и только я заметил, что при слове «нелюди» у него побелели губы.

– Ты ведь убил ту собаку, верно, Илай?

Кровь отливает от щек.

– Ты отравил ее.

– Я не хотел. Я хотел только деньги взять.

Он вспомнил о дяде, когда совсем приперло – вскоре после визита матери. Каждую пятницу дядя ходил в паб, где проводил два-три часа, возвращаясь глубоким вечером. Зимой темнеет рано, на велодорожке нет освещения, и ничего не стоит открыть калитку и прокрасться к дому через задний двор. Если б не собака. Судя по голосу, она была одна – Илай понял это, когда приехал на разведку, и тут же покатил дальше, чтобы не привлекать к себе внимания. Дома он почитал в интернете, как травить собак. Проще всего было купить в хозяйственном яд от улиток – семь долларов за мешок. Но куда ему целый килограмм? К тому же симптомы отравления этим ядом выглядели так ужасно, что его самого затошнило. Он хотел, чтобы собака просто уснула. Снотворных таблеток деда ему было жаль, к тому же он не был уверен, что они сработают на собаке, но быстрый поиск показал, что небольшой дозы будет вполне достаточно. Он занял на работе двадцатку до зарплаты, купил мяса, чтоб наверняка. Он был очень осторожным и старался всё предусмотреть. Перед тем, как ехать к дяде, он принял душ и сменил одежду, чтобы не вонять на всю округу машинным маслом. Вечер был холодным и дождливым, но он не хотел ждать еще целую неделю. Ему нужно было обязательно её увидеть.

Всё произошло легко, как во сне. Он бросил кусок мяса через забор и, едва собака смолкла, открыл калитку. Велосипед он спрятал в кустах. Фонарик в телефоне осветил задний двор и лестницу на террасу. А потом случилось то, чего Илай не сумел предвидеть.

– Ключ не подошел, – сказал я. – Он сменил замки.

У тебя внутри всё оборвалось. Ты снова и снова терзал замок, попытался открыть дверь прачечной, поддеть оконную раму – ничего не получалось. Растерянный и злой, ты спустился во двор и нашарил лучом фонарика собаку, лежавшую на боку. Подошел к ней и наклонился, чтобы проверить, сдохла ли она; а собака вдруг перевернулась на спину и, беззубо улыбаясь, стала лизать тебе руки. Ты кинулся прочь. Ветер был такой, что ты едва мог крутить педали и потому на развилке у эстакады повернул налево, еще не зная, что там, впереди, для тебя горит маячок, полускрытый пеленой дождя и слёз.

– Ты расскажешь ей? – Плечи поникли, голос дрожит.

– Даре? Нет. Она не простит. Есть вещи, которых не прощают.

– Что мне делать?

– Ты взрослый. Решай сам.

– Ты ненавидишь меня?

– Нет. Я люблю тебя. Но я не могу ничем помочь. Как ты решишь, так и будет.

Долгий-предолгий вздох, белоснежная спина, шаги по лестнице наверх. Десять минут спустя – его комната, готовая осиротеть, спортивная сумка на полу, раскрытые шкафы.

– Я всё ей расскажу. А потом уйду. Навсегда.

– Может, подождешь хотя бы до завтра?

– Я не смогу посмотреть ей в глаза.

Боже, благослови родителей подростков! Как вы терпите столько лет – этот максимализм, это неумение видеть дальше собственного носа? Неужели я сам был таким? Господи Иисусе!

– Послушай, Илай. Я понимаю, что ты чувствуешь; мне тоже жалко эту старую, никому не нужную собаку. Тебе сейчас больно, а ей уже нет. Она просто уснула. Назад ее не вернуть, но я придумал, что мы сделаем. Мы заведем щенка, маленького и теплого, и Дара научит тебя любить его. Если ты сейчас уйдешь, то сделаешь несчастными, по меньшей мере, трех человек. А если останешься – будет трое счастливых.

– И собака.

– И собака.

10

У Соллимы ад – трагичен и прекрасен, как искусство романтизма. Темная спина одинокого путника, стоящего над туманной бездной. Слышишь, как клубятся тучи? А в начале было безветрие, помнишь – когда виолончель только начала рассказывать. Потом она разволновалась и стала заламывать руки. Я видел руки, говорит Илай с удивлением, они торчали из болота, остальное уже засосало, а руки всё хватались за воздух, рывками, вот так. А почему болото, Илай? Ну ты же сам сказал насчет ада. Почему, кстати, эта вещь называется «Ад номер один»? Наверное, он хотел написать девять пьес – по одной на каждый круг. Но пока написал только две.

У Соллимы любовь – это танец. Илай кивает, ему известно, как танцуют о любви: даже пауки это умеют. А знаешь, почему у него это похоже на разудалую пирушку в кабаке, а не на чинный вальс? Смотри, в этом месте даже смычок подпрыгивает, этот штрих называется рикошет. И ритм – чувствуешь, какой тут сложный размер? Безумная любовь, сметающая все преграды. погоди, я покажу тебе. *Amor vincit omnia* – так это называется. Амур Всепобеждающий. Караваджо так назвал свою картину, а Соллима – свою пьесу. Да не гугли, это надо смотреть на бумаге. У меня где-то был альбом... Вот. Илай разглядывает обнаженное мальчишеское тело с оттенком неодобрения, Амур вызывающе ухмыляется в ответ. Как живой, правда? Толстый, отвечает Илай. Ну да, херувимчики всегда с жирком, не то что вы, балетные.

Следующая сцена – Илай перед зеркалом своей спальни, в костюме Амура, но без крыльев, хмурит брови и рассматривает себя с ног до головы так, будто оценивает лошадь на выставке.

– Я ничего выгляжу, Мосс?

Нашел кого спросить.

– Да, Илай. Ты красивый, хоть я и не должен тебе этого говорить.

– Почему?

– Потому что ты зазнаешься.

– Это всего лишь тело.

«Всего лишь», господи боже мой – неужели он до сих пор хранит в себе это восприятие тела как инструмента: идея, которую ему вбивали изнуряющими часами в балетном классе? «Всего лишь» – косо́й разлет ключиц, длинная тень в ложбинке, стекающей от груди к животу. Я боюсь опустить глаза, мне совершенно не нужна сейчас эта дрожь в ногах и помутнение разума, мне нужно успеть завести новый день, и поэтому я бесшумно ухожу, оставив его любоваться своим отражением в широкой винтажной раме.

Тем же вечером я слышу знакомую музыку, летящую из его комнаты. У меня подпрыгивает сердце в радостной надежде, но Илай всего лишь валяется на кровати, глядя в телефон. Заметив меня, он прижимает палец к губам, будто Соллима, коротко стриженный, седой, как лунь, сидит перед ним на табурете и корчит рожи, извлекая из своего инструмента то чирканье птичек, то ослиный рев. Я устраиваюсь на краешке кровати, Илай кладет голову мне на колени и продолжает смотреть, как маэстро признается в любви Луиджи Боккерини – другому великому итальянцу, подарившему виолончели крылья.

Когда на следующий день до меня снова долетает музыка, сквозящая через щель его приоткрытой двери, я прохожу мимо, но тут по полу пробегает легкая дрожь, и скрип половиц вплетается в ритмический рисунок пьесы – мерный, на две четверти, дискотечно-электронный, с пылающей поверх него виолончелью. Я заглядываю в щель всего на миг и тут же отступаю, чтобы он не заметил меня, как будто у него есть глаза на спине, как будто ему вообще есть до меня дело, пока он, стоя в одних трусах, держась руками за спинку кровати, мерно приседает, разводя колени под непостижимо широким углом. Я продолжаю идти, куда шел – по лестнице вниз, но уже не помню, что я хотел там найти, а сердце колотится как сумасшедшее. Я понятия не имею, что ему сказать; как вообще об этом говорят, чтобы не спугнуть новое и хрупкое? Он спускается и пьет воду, шея блестит от пота. Я хочу произнести мамину фразу – «У тебя получится», но в его глазах такая боль, что я осознаю себя полным идиотом. Я ни хрена не понимаю, что он сейчас испытывает. Всё, что я могу, – достать инструмент и сыграть эту пьесу так, чтобы кровь брызнула из пальцев, чтобы отчаянный визг моей виолончели сказал ему больше, чем все слова.

– А что означает это название?

– *Terra fuoco*? Земля огня.

– Значит, вот это будет «Земля танца»?
– Ну да, что-то вроде. А что у них еще общего, Илай, кроме названий?

– Это одна и та же мелодия.

– Умница.

– Разный ритм.

– Именно.

– Но обе танцы, и та, и другая. Их можно станцевать.

– Конечно, можно. И ты сможешь.

До начала календарного лета оставались считанные дни. Рождественские украшения в витринах уже успели примелькаться, Сонин отпуск был давно распланирован, а для Дары, напротив, приближалось самое горячее время, когда приходится присматривать за собаками, чьи хозяева разлетаются на отдых в разные концы света. Только для нас с Илаем ничего не менялось – точнее, мы с ним делали вид, что ничего не происходит, хотя я догадывался, что он наводит справки и мосты, готовый в любой момент откреститься: да нет, я просто хотел поболтать по телефону с бывшим преподавателем – поболтать, как же, я ведь слышал, как он волнуется, будто все наши с ним упражнения для дыхания и дикции пошли прахом в один миг. Но сейчас ему не так нужна была эта чертова дикция, как его тело, за два года забывшее всё, утратившее эластичность и выносливость, и я сколько угодно мог доказывать ему, что тело его прекрасно – для него это не имело значения, он сам знал, каков он – знал всегда, в свои лучшие и худшие дни. Меня он не слушал, он слушал Соллиму, и, странным образом, это словно помогало ему нащупать тонкую нить надежды. А может, ему просто хотелось танцевать под эту музыку – хотелось так сильно, что боль и страх казались преодолимыми.

На прогулках мы теперь забирались на холмы наперегонки, спускались и забирались снова. Потом мы ложились в траву, и он мерил свой пульс и мой пульс, переворачивался на живот и болтал ногами в воздухе. Иногда он обнимал меня или запускал руку мне под рубашку, и тогда я опасно оглядывался вокруг. Обычно мы были одни на этом незастроенном склоне, но как-то раз я заметил пожилую пару, идущую по тропинке, и сказал, не надо. Илай прищурил один глаз, свободной рукой подпирая голову.

– Стыдишься меня?

– Нет, просто нехорошо их смущать.

– Пусть смущаются. Что они нам сделают?

– Могут пожаловаться куда следует.

– И что? Я в возрасте согласия. И меня больше никто не побьет.

– Боюсь, побьют меня, причем камнями.

– Как это?..

– Ну, я в фигуральном смысле. Если поднимется шум, мать может тебя забрать. По закону.

– Пусть попробует. Я ювенальной юстиции про нее такое расскажу...

– Перестань, это мерзко.

– Мерзко меня у тебя отнимать.

Я сел; его рука соскользнула на траву и обиженно отдернулась.

– Ты меня стыдишься, – с горечью заключил он. – Это всё отговорки. Вы так и будете всем врать, что я Сонин племянник. Всегда.

– Не всегда. Еще год с небольшим.

Он поджал губы.

– Илай, послушай... Я тебя понимаю.

– Ты все время так говоришь.

– Но это правда.

– Толку-то.

– Чего ты хочешь?

Он молчал.

Илай хочет каминг-аут, сказал я за ужином. Женщины переглянулись, на их лицах было написано, что мы чокнутые. Я и сам это знал. Разумнее всего было и правда подождать, пока Илаю исполнится восемнадцать, но то, что мне казалось ерундой, для него было мукой: один к почти семнадцати – сколько это будет в процентах? Немалый срок для человека, у которого, если верить ученым, еще не все участки мозга сформировались до конца – в особенности те, что отвечают за взвешенность решений. И каково же ему было терпеть, если он так долго мечтал – я вдруг понял это – принадлежать, быть своим, быть частью чего-то большего, чем сумма слагаемых. Прежде он виделся мне самодостаточным, этаким сферическим интровертом, который счастлив в своем вакууме. Но он же человек, лягушонок Маугли. Он ведь и в самом деле уйдет, если почувствует, что его место – где-то еще.

И что же мне теперь – держать его насильно в нашем странном домохозяйстве, где люди живут вместе потому, что им так удобно? Никто не назвал бы нас семьей, а ему, быть может, это и нужно – в большей степени, чем открыто признать себя геем, балетным танцором или Бог знает каким еще чудиком. А я – готов я назвать его своим... кто он мне?

Тем же вечером – телефонный звонок, и Кикка, со своей фирменной грубоватой нежностью (индийский слон в посудной лавке), интересуется, как у меня на любовном фронте – знаю-знаю, мама мне шепнула, хочешь, как-нибудь посидим в кафе все вместе – сколько мы уже не виделись? Да, конечно, мямлю я в ответ, а сам придумываю отговорки – заяц бежит по минному полю, прижимая уши, он думал, что худшее позади, глупый зайчишка, беги, Морис, беги.

11

– Мосс?

– М-м?

– Я тут подумал... Если они и правда захотят меня отобрать, они смогут использовать против тебя эти рассказы про маньяков?

– Нет, это же просто книжки, дурачок.

– Ну-ка повтори.

– А что? – Я оживился. – В морду мне хочешь дать?

– Да нет, это просто звучит не так, как у других. Не обидно.

– Ну конечно, это звучит иначе. Язык – подвижный инструмент, можно гнуть его, как угодно. Да, примерно так, – Илай высунул язык и свернул его в трубочку. – Слова, это же тебе не кубики Лего. В частности, поэтому (возвращаясь к твоему вопросу) литература – такая мощная штука: всё вроде понарошку, но может вломить так, что не разогнешься. А вообще, ты не очень далек от истины. Одному писателю пришлось оправдываться в суде из-за своих цитат о любви к мальчикам. Но это было сто лет назад.

– Значит, это не страшно, что ты там везде говорил «я»?

– Ну, а что поделать, если автор так написал? Понимаешь, Илай, в этом, наверное, есть даже свой героизм – произнести все слова, ничего не запикивая и не краснея, потому что сразу будет слышно, если ты покраснел. Честно-честно.

А ведь бывает и другой героизм, подумал я, – подвиг молчания, отказ диктора прочесть в прямом эфире лживый текст. При этом и мятежный диктор, и я имеем дело с фикцией. Мы решаем, станет ли эта фикция реальностью. Вот до чего можно додуматься, валяясь вдвоем в постели и выдумывая всё новые способы не спать, даром что мы оба клюем носом.

– Ты не ответил. Это не страшно, что ты говорил «я»?

– Нет, конечно. Все же понимают, что это просто книжки. Искусство. Там всё иначе, чем в жизни. Например, герои там страдают по-настоящему, но никогда по-настоящему не умирают.

– Значит, если я попаду в книжку, я буду жить вечно?

– В каком-то смысле, да. Я бы хотел спрятать тебя под обложкой – так, чтобы никто тебя больше не обидел.

– Только надо, чтобы ты тоже там был.

– Обязательно. И Дару возьмем, и Соню – она ведь тоже соучастница.

– И Бадди.

– А он-то в чем провинился?

– Ни в чем. В этом и суть.

– Хорошо, и его тоже. Спи, Илай.

Видимо, этот разговор и натолкнул меня на мысль – не сразу, сначала я все-таки уснул, а потом было утро, и я ни о чем не думал, словно младенец, у которого есть только его хватательные рефлексy и отчаянная потребность быть рядом с самым близким, напиться им, издавать нечленораздельные звуки, и тому подобное – но позже, на прогулке, мысль явилась мне, удивив своей простотой. Кто, как не Зак – самый странный из всех, кого я знал – мог бы нас понять? Кому еще я мог признаться? Найти повод было несложно, мы ведь так редко виделись, так редко играли вместе. Я позвонил ему, он оказался свободен. Мне почудилось, что он удивлен моей пылкостью и прытью. Я сам был виноват – вы ведь уже догады-

ваетесь, правда? Нынешний читатель, повидав так много, весьма искушен в сюжетных поворотах, и никого уже не удивишь, к примеру, детективом, где убийцей оказывается персонаж книги, которую читает убитый. Поэтому я не буду доить эту хиленькую интригу. Зак приехал, мы с ним чудесно посидели и помузицировали. Женщины не тревожили нас, они были в курсе, что мой друг не любит больших компаний. Илай показался на лестнице и снова исчез, будто бы подыгрывая мне, хотя мы с ним ничего не планировали – но, видно, так и работают хорошие стенд-ап дуэты, делая именно то и именно тогда, когда нужно, потому что Зак клюнул, и мне не пришлось придумывать, как завести об этом разговор. «Он снова у вас гостит», – это было сказано утвердительно: какие тут могут быть сомнения, но нет, друг Горацио, он тут не гостит, а живет на правах своего. Вежливое удивление за стеклами очков, моя ответная улыбка – разве я не говорил тебе? Прости. Это мой партнер – как странно сделалось во рту, я ожидал привкуса металла, но мне совсем не страшно, я повторил бы это еще раз, если бы он сделал вид, что не расслышал, – мы совсем недавно вместе. М-м-м, отозвался Зак понимающе; заглянул в свой стакан и одним махом допил остатки виски. А я не знал, что ты гей. Да я сам не знал. Так бывает. Он рассеянно кивнул – не мне, а своим мыслям; лицо его при этом оставалось непроницаемым – за все годы нашей дружбы я так и не научился угадывать, что у него на уме. Сколько ему лет? Почти семнадцать. Надо же, сказал он безо всякого выражения и перевел беседу на что-то другое. Минут через десять он откланялся: надо ехать, чтобы успеть до часа пик, ты ведь знаешь, наверное, – он вдруг осекся и махнул рукой: ну неважно. Спасибо, что позвонил, старина.

Я поднялся с ним на второй этаж. В верхней гостиной он задержался, рассматривая фотографию на стене – это был один из моих маратусов, я когда-то распечатал их сразу десяток, и ко мне в спальню они все не влезли, а прятать такую красоту было жалко.

– Прости, Морис, – вдруг сказал он, обернувшись через плечо, – но мне иногда кажется, что ты теряешь чувство реальности. Это очень опасно.

– Что же мне, по-твоему, угрожает?

Он снова обратился ко мне безупречно гладкий затылок – ему было легче смотреть в паучьи глаза, чем в мои.

– У него есть семья, у этого мальчика?

– Есть.

– Будет лучше, если он туда вернется. Поверь мне. Лучше для тебя и для него.

– А ему не нужно никуда возвращаться. Его семья здесь.

Он кивнул очками в сторону спален:

– Ты называешь *это* семьей?

– Да, называю. Почему тебя это так беспокоит?

Он вздохнул.

– Я всегда думал, что ты...

– Что я?..

– Нет, ничего, – он пожевал губами и сказал другим тоном: – Прощай, Морис. Береги себя.

Когда за ним закрылась дверь, я постоял, давая остальным возможность выдержать паузу, прежде чем выйти – как по команде – из своих спален, как из театральных кулис.

– Ну?

– Что он сказал?

– Он сказал, что мы больные.

– Он больше не придет? – спросила Дара.

– Пусть приходит, – отозвался Илай, не дав мне раскрыть рта. – Я его с лестницы спущу.

Мое ухо с гордостью отметило, что он произнес эту фразу без единой запинки.

– Боюсь, ты не сумеешь сделать это так же интеллигентно, как он это сказал.

– Я сумею. Я танцор.

Я ощутил еще большую гордость: у нашего мальчика было чувство юмора.

– И что нам теперь делать?

– А вот что.

И на следующий день мы втроем с Илаем и Дарой поехали в магазин и купили самую большую кровать, какую сумели найти. Мы не спеша ходили по рядам, без стеснения щупали спинки, а Илай плюхался на матрасы, измеряя их своим ростом: «Класс! Вдоль как поперек». Продавцы смотрели на нас и, должно быть, гадали, почему мальчик не унаследовал от родителей ни одного доминантного признака. Старую кровать мы отдали «Армии спасения», и моя комната перестала выглядеть недоспальной, недокабинетом, где мебель стыдливо жметя к стенам вместо того, чтобы гордо заявить о себе. Даже пауки, казалось, с одобрением наблюдали, как мы осваиваемся в нашей новой среде обитания. Мы еще не решили, будем ли спать так постоянно – нужен был опыт, и этот опыт мы тут же стали приобретать, ведь одно дело – читать об этом, и совсем другое – вдруг обнаружить себя поутру рядом с ними обоими. Шепнуть Илаю: перестань, Дару разбудишь. Ну и что? Она увидит. Пусть видит. Сдаться, представив с замиранием сердца, как он улыбнется мне. Отправить свою руку блуждать по его телу и губами ловить вибрации стога на его горле, а потом повернуть голову и увидеть другую улыбку в длинных глазах, похожих на иероглифы.

Вы думаете, я прячусь за вереницей инфинитивов потому, что мне стыдно сказать «я»? Мне, который говорил «я» столько раз, давая свой голос маргиналам, рожденным под пером моего – бывшего теперь уже – друга? Я готов перефразировать эти строки, повторить «я» столько раз, сколько вам понадобится, чтобы поверить мне. Я не боюсь – не боюсь даже того, что Зак может мне отомстить. Тебе ведь ничего не стоит вывести нас в своей очередной книге, Зак. Валяй, нам это не причинит вреда. Ты хоро-

шо пишешь, но ты плохой писатель. Ты как собачий заводчик, который хочет срубить бабла, а не улучшить породу. Тебе кажется, что ты понимаешь психологию этих несчастных, но ты ни хрена не понимаешь. Ты заложник нормы, которой не существует. Ты не даешь своим героям даже надежды на счастье. Ты трус и не скрываешь своего гомосексуализма только потому, что сейчас быть геем не опасно. Свой единственный рассказ с хорошим финалом ты даже опубликовать побоялся, прикрывшись липовым поводом, – и даже там ты струсил, потому что твои герои в финале становятся просто гейской парой, а девушка улетучивается из сюжета в стиле «а это была просто метафора». А мы – мы останемся вместе, нравится тебе это или нет.

12

У моей работы – как, наверное, у любой – есть свои негативные стороны: никакого тебе стабильного оклада, больничных и отпускных, крутись как можешь. Но у конторских служащих и наемных работяг вряд ли есть такой приятный, хоть и нематериальный бонус: благодарность тех, что потребляет плоды твоего труда. Может, разве что врачам везет так же, как и мне: время от времени им дарят цветы и пишут трогательные отзывы в соцсетях. А если ты, к примеру, водитель автобуса и годами исправно доставляешь пассажиров из пункта А в пункт Б по извилистой горной дороге – никому и в голову не придет послать тебе открытку с сердечком. Иное дело я: в мой электронный ящик регулярно сыпятся письма от любителей аудиокниг. У меня есть настоящие фанаты, готовые слушать всё, что я читаю – тут просится расхожий пассаж про телефонный справочник, да только сами эти справочники уже канули в Лету. Очередное письмо с незнакомого адреса меня не удивило. Начиналось оно вполне обычно: «Дорогой Морис, я много раз собиралась с духом, чтобы сказать Вам спасибо» – и так далее, очень грамотно, тактично и мило, а дальше: «и вот теперь у меня появился повод», и внезапно – предложение поработать. Она заканчивает бакалавриат на отделении журналистики, а для души сочиняет истории, и коль скоро человек нынче так занят, что ему легче послушать подкаст, чем прочесть даже коротенький рассказик, она подумала, что стоит попробовать, ведь сюжет там такой, что озвучка просится сама. «И я сразу вспомнила о Вас, ведь Вы когда-то приняли участие в дипломной кинорработе». Вот, значит, как: много лет назад я помог друзьям, которым нужен был ископаемый диктор шестидесятых, а теперь сам стал таким бронтозавром, и на меня охотятся уже прицельно. Я тут же написал ей в ответ, что мне интересно, и я готов попробовать, и спасибо за ваше спасибо. Декабрь – короткий месяц, и мне надо было еще сдать текущую работу, но неужели вы бы отказались на моем месте?

Мы встретились в студенческой столовке – я сам настоял, любопытно было посмотреть, как всё изменилось, и я, конечно, ничего не узнал; а вот такие девчонки учились со мной и тогда, без малого двадцать лет назад: неброская одежда, хвостик на затылке. Они стеснялись ко мне подходить, и теперь она тоже волновалась и крутила на пальце колечко, но ей

была крайне важна её Цель – с такой большой буквы Ц, какие бывают только в юности, – и она готова была всё стерпеть. Да это же очень круто, сказал я искренне, и васильковые глаза за стеклами очков застыли, боясь моргнуть и проснуться. Представляете, я всегда жалел, что меня не приглашают объявлять станции в вагоне метро. Не знаю, почему мне так этого хотелось. А у вас-то всё интересней в сто раз! Я тут же стал думать, как можно сыграть этот постепенный переход от безликого голоса, который ежедневно слушает героиня рассказа по пути на работу, к голосу живому, сочувственному – к незримой субстанции, которая становится для нее единственным собеседником, а затем и другом. Это вы здорово придумали, повторил я; и вы молодец, что не боитесь поднимать сложные темы и вставать на сторону маргинализированных меньшинств. Меня самого передернуло от этой канцелярщины, но так трудно было найти слова, чтобы выступить от своего имени, окончательно признав себя таким же маргиналом, как эта бедная персонажица; мне почему-то представилось, что у нее длинные волосы и феньки на руках, как у бабушки Илая, которая страдала от той же болезни. Вы потом скажите, куда приезжать записываться, у меня гибкий график. Её лицо лучилось, а я думал, как же здорово, что она может вот так запросто найти актеров для своего проекта, насобирать пожертвований, чтобы оплатить студию и прочие расходы, а потом выложить в сеть плоды своего творчества, ни с кем их не утверждая и не боясь начальства. Жалел ли я, что не родился ее ровесником? Хотел бы я вернуться в свои студенческие годы? Нет и нет. Я ощутил это с удивительной ясностью, пока прогуливался по университету после нашей встречи; я ни на что не променял бы жизнь, которую прожил. Я был счастлив, что застал теплое ламповое время с телефонными будками и уличными регулировщиками в белых перчатках; я был счастлив, что легко влился в новые реалии, но что важнее всего – я нигде не чувствовал себя лучше, чем в своем почти-что-сорокалетнем теле, с мозгами взрослого, способного любить и поддерживать. Я радовался за эту беззаботную цифровую молодежь, за Соню с Илаем, которые что-то там мутили втихаря – я видел только краем глаза, Илай показал мне запись, как танцует Бадди: будто игрушечная лошадка на подпружиненных ногах. Мы найдем профессионального оператора, чтобы нас снял, говорила Соня, и музыку наложим, а потом запузырим это куда-нибудь и прославимся. Ты нам сыграешь? О, я знаю, встрял Илай, мы его тоже посадим в загон с его виолончелью. Я отмахивался, но уже видел и связку бананов, которых у нас прежде никто не покупал, и валявшиеся на кровати тренировочные штаны – и, как моя новая знакомая, боялся ненароком сморгнуть видение.

«Ты не поверишь, Морис», – Соня протянула мне телефон. Видео сперва было невнятным: темно, всё трясется, и я слышал только ее голос за кадром: «Илай, сделай так еще». Экран посветлел, и уже можно было разобрать, что они стоят друг против друга – мальчик и конь, один отнекивается, другой терпеливо ждет, «ну сделай, пожалуйста», – Илай приближает лицо к лошадиному носу и дует в него, а Бадди в ответ принимается

кивать, а Илай – боже мой, он смеется, он и в самом деле умеет дурачиться? Они друг друга стоят, отвечает Соня, два балбеса.

Солнце катилось к самому длинному дню в году, а когда оно пряталось за холмами напротив, на вершине их начинали перемигиваться огоньки гирлянд – это напоминало мне о детстве: на нашей улице все старались перещеголять соседей, украшая палисадники кто во что горазд. Мы с Соней елку не наряжали, но всегда вешали фонарики на веранде и на балконе, чтобы прохожие могли любоваться. А куда же вы кладете подарки? – спросила Дара. Я и сам уже подумал, что в этом году нам понадобится ёлка – пусть самая простецкая, из супермаркета, такая, что сама светится, ведь дело не в ней: главное – чтобы мы собрались вокруг нее все вместе. И мы пошли и купили ее, она была белая, а по мягким пластиковым иголочкам бегали огоньки – как мурашки, заметил Илай с неизменной своей наблюдательностью. Что, и подарки будут? А как же. Я не ждал от него особого энтузиазма: в его возрасте я уже тяготился семейными посиделками – но Илай воспринял наши приготовления всерьез и несколько раз уточнил, надо ли ему быть с нами двадцать четвертого весь день – ведь правда надо, Мосс, мы же будем готовить? Сперва я отвечал ему машинально, а потом заподозрил неладное в этой настойчивости и в том, как он прятал глаза при попытках вывести его на чистую воду: а что, тебя кто-то пригласил в гости? Долго отпираться он не стал – да, мать звонила, он отбивал звонки, и тогда она прислала смс-ку, но он, конечно, никуда не пойдет, он ужасно занят и вообще. А почему, Илай? Если всего на часок, то ничего страшного, мы тебя подождем. Он ответил со злой усмешкой: обойдется. Она даже про мой день рождения в этом году забыла, а теперь зовет отмечать с ними сраное Рождество. Дара мягко упрекнула: ну зачем такие слова, но я сказал: оставь, он всю жизнь молчал, пусть говорит, как умеет. Меня больше волнует другое. Послушай, Илай, твоя мать могла тогда сделать аборт. Допустим, было поздно. Но она терпела всё это, терпела как могла, пока ты был маленьким. По-своему старалась дать тебе всё, что нужно. Это стоит хотя бы уважения. Ты можешь жить с нами, мы только рады. Но я хочу, чтобы ты вел себя с ней – не скажу «как мужчина»: будь ты женщиной, я сказал бы то же самое – а как взрослый человек. Потому что иначе ты признаешь нас с Дарой грязными извращенцами: мы спим с ребенком или со слабоумным.

Я знал, что поступил правильно; он тоже знал это и не перечил мне, и теперь я никак не мог отыграть назад, мне нужно было пережить эти несколько дней, насмотреться на него, начувствоваться, будто в последний раз. С самого утра в Сочельник я был подавлен и с трудом это скрывал, и когда он наконец уехал – на велике до станции, оттуда на поезде с пересадкой, всего часа полтора, но не мог же я, в самом деле, везти его на машине и нервничать там – когда он уехал, я понял, что вот и всё, я своими руками его отдал. Он, конечно, проболтается, нас найдут, будет скандал. Он же врать не умеет. Подкатила тошнота; видеть в углу гостиной нашу одноразовую елку было невыносимо, но признаться другим я был не в состоя-

нии, мне казалось, что если я заговорю об этом, у меня начнется истерика, а надо было готовить, и прибираться, и делать что-то еще, что враз потеряло смысл, потому что без Илая ничто на свете не имело смысла, и он знал об этом и потому не хотел идти. Я поступил неправильно, и назад дороги не было.

– Ты бледный, Морис. Всё в порядке?

Я перехватил Дарин взгляд – она смотрела на мои руки, державшие нож, и я заметил, что они дрожат.

– Я не должен был... я должен был его отвезти.

– Не будь глупым. Он прекрасно доберется, он же столько лет жил один.

Я покачал головой. Ты не понимаешь, Дара.

– Ты ведь не собираешься возить его в училище, или куда там он поступит? Он не будет сидеть тут всю жизнь. Дай ему дышать.

Ты не понимаешь, упрямо повторил я про себя, хоть и знал, что она права, а я паникер. Не уйди он сейчас, мать нашла бы другой повод, чтобы с ним повидаться: она имеет право, и чему быть, того не миновать. Я должен научиться с этим жить. Так я когда-то мучился с этим виолончельным штрихом – *сальтандо*, рикошет. Преподаватель сказал, что надо держать смычок так легко, будто вот-вот готов выронить; набраться храбрости, чтобы отпустить его – и тогда всё получится.

Он вернулся через три часа сорок минут – стукнул боковой калиткой, затащил велосипед и протопал по веранде. Не сказав ни слова, открыл на кухне кран и долго пил.

– Ну?

– Всё, – Он вытер губы, – отвязался. Им это нужно было только для очистки совести.

– Сколько же ты у них пробыл?

– Полчаса; может, меньше. Не веришь?

Он достал из кармана штанов телефон, потыкал в экран и повернул ко мне. Он не старался, когда делал это селфи – никто из них не захотел или не успел улыбнуться: ни сестренка, ни мать, ни сам Илай, и при его аккуратности так завалить горизонт было знаком протеста. Манифестом свободы.

– У твоей матери черные волосы?

– Крашенные.

Сколько раз я пытался представить ее, но даже и помыслить не мог, что она окажется похожей на мою маму – я даже вздрогнул, увидев это стильное каре до подбородка, красную помаду и слегка поплывшие от возраста, но еще привлекательные черты лица.

– Я знал, что без фотки ты не поверишь, Мосс. Потому, что ты занудда. Самая занудная из всех зануд.

Он положил телефон на кухонную стойку и подошел вплотную, не сводя с меня глаз, но я сказал: слушай, очень жарко, сходи в душ, пожа-

луйста, – и он со вздохом подчинился, а я полез зажигать духовку, чтобы поджарить каштаны и похрустеть ими до ужина, заедая стресс.

13

В ту рождественскую ночь мне приснилось, что я снова жду возвращения Илая, – приснилось с леденящей душу отчетливостью: все мы знаем, какими реалистичными бывают кошмары. Я помнил, что он у матери, и волновался, и смотрел на часы, а они почему-то показывали не то полночь, не то полдень, было темно и дождливо, я думал, что зря отпустил его на велосипеде, что он снова упадет и разобьет коленку. Когда кто-то позвонил и сказал, что он в больнице, я кинулся к машине, но она не заводилась, и я долго искал расписание поездов – вам, должно быть, не раз снились такие бесконечные запутанные перемещения из одной точки в другую; обычно сон на этом обрывается, но я, на свою беду, выпил лишку и уснул так крепко, что досмотрел до конца это дьявольское кино, созданное моим мозгом с непонятной целью, бессмысленно жестокое и полное невыносимо правдоподобных деталей. Я всё еще надеюсь когда-нибудь забыть этот сон, лишь один момент я должен здесь упомянуть, чтобы было понятно, зачем вообще весь этот абзац. О, как бы я разошелся, пиши я роман, но хватит об этом, я сам себя утомил, у меня разболелась голова, и придется сейчас нажать на паузу, налить стакан воды и выпить таблетку, но прежде я договорю: мне приснилось, что Илай лежит на больничной койке весь в крови и шепчет мне в ухо, чтобы я не боялся – нас больше никогда не разлучат, он всё продумал и в кухне не было никого, кроме них двоих, и никто не видел, как Илай бросился на нож, зажатый в руке отчима, никто ничего не докажет, и теперь они сядут – оба, потому что мать тоже соучастница, и они не смогут меня отобрать – правда же, Мосс?

Вот я принял таблетку, постоял на балконе, глядя в парк: на исходе лета пригорки напротив – сухие и бледные, как год назад, когда началась эта история. В том, художественном времени Земля уже успела облететь Солнце, листья успели облететь и вырасти снова, а в моей реальности очевидца и участника прошло чуть больше трех недель. Я начал записывать эту историю в день рождения Илая. Он не знает об этом; во всяком случае, если он и подслушивает за дверью, то никак себя не проявляет. Быть может, ему приятно, что он попадет в книжку; я же, со своей стороны, убеждаю себя, что должен опередить Зака, не дать ему нас оболгать, но чем дальше, тем сильнее меня захватывает сам процесс кристаллизации моих воспоминаний. Все эти три недели я живу одновременно здесь и там, тогда и теперь, постепенно догоняя реальное время, которое всё равно будет хоть немного, хоть на десять минут впереди – на те десять минут, которые мне нужны, чтобы заполнить, с передышками, пару страниц этой истории. А вы, мои читатели и слушатели, живете в вашем собственном времени, где можно заглянуть в конец книги и узнать то, что еще с нами не произошло и о чем мы даже не подозреваем.

Я не сомневался, что на свое семнадцатилетие Илай хотел бы получить в подарок что-то особенное, а не просто велосипед, ноутбук и что там еще можно было купить за три наших зарплаты. На человека, который будет в восторге от сюрприза вроде оплаченного прыжка с парашютом, Илай не был похож, и мне ничего не оставалось, кроме как спросить его напрямую. Ты не согласишься, ответил он тихо. Хм, дай-ка подумать: хочешь, чтобы я сел с тобой на лошадь? Научился вальсировать? Он качал головой и хмурился. А что, Илай? Я хочу проколоть ухо, и чтоб ты тоже это сделал. Тогда мы сможем носить одинаковые сережки. Да ты посмотри на меня: я же буду вылитый цыган. А я говорил, что ты не согласишься.

Он и в самом деле видел меня насквозь, но про мой сон не знал ничего, и кончилось тем, что мы пошли и совершили ритуальное самоубийство пистолетом для прокалывания ушей. Соня сказала, что в таком случае и носить надо не бижутерию, а как минимум серебро, и они с Дарой купили нам сережки, которые Илай выбрал самолично, волнуясь и розовея от удовольствия: простые колечки, без камешков и прочей ерунды. Он сказал очень серьезно, что если мы когда-нибудь расстанемся, то их надо будет вынуть, чтобы заросло, а если кто-то из нас умрет – пусть другой носит своё колечко всю жизнь. В тот момент я готов был проколоть себе любую часть тела, лишь бы не испытывать боли, которую мне причинили эти слова.

Иногда я думаю, что хорошо быть как все: целовать по утрам жену, сидеть в офисе с девяти до пяти, развозить детей по кружкам, плавать в бассейне, заниматься сексом и делать множество других, самых обыкновенных вещей, не чувствуя себя недоинвалидом, симулянтом, ведь если что-то выглядит как утка и крикает как утка – это, конечно, может быть макетом утки, нашпигованным электроникой, но мало кто из нас склонен фантазировать на пустом месте, и если незнакомец в вагоне метро выглядит здоровым и адекватно себя ведет, мы вряд ли станем предполагать, что в его голове прямо сейчас звучат голоса или что он влюблен в соседскую собаку, или в ботинки сотрудницы, или в несовершеннолетнего – что в сознании многих суть явления одного порядка, а точнее сказать, беспорядка, и этот беспорядок следует либо устранить, либо держать в тайне, продолжая делать вид, что ты утка, точно такая же, как другие. Именно так я всю жизнь и поступал, и моя тонкокожесть доставляла страдания лишь мне одному. А уж в тот день мне и вовсе нельзя было нюнить, как бы ни саднило ухо и ни болела душа. Маме я обычно звонил ранним вечером, до ужина. Я закрылся у себя в спальне; во время телефонных разговоров я всегда хожу взад-вперед, и моя прежняя кровать оставляла мне достаточно места, теперь же я чувствовал себя как медведь в тесной клетке. Вы знаете, что на звучание нашего голоса влияет абсолютно всё – не только настроение и самочувствие, но и поза, и даже одежда? Нелегко изобразить светского джентльмена, стоя в одних трусах, а если предстоит откровенная сцена, я как минимум снимаю пиджак, в котором приехал в студию. Дома, конечно, и стены помогают, и все-таки я нервничал, слушая в

трубке длинные гудки, и больно ударился ногой об угол кровати, так что пришлось сесть, потирая ушибленное место, и в этот самый миг мама ответила. Что случилось, почему ты кричишь? Я всегда таял, когда она так со мной разговаривала: ей удавалось сочетать иронию с теплотой в такой аптекарски точной пропорции, что даже сверхчувствительным подросткам это было по нраву. Я сказал весело и бездумно: ты же знаешь, какой я неловкий, а у меня тут еще новая кровать – и захлопнул рот, но было поздно. Чуткий мамин слух был настроен ловить легчайшие обертона моей речи – так космические антенны ждут сигналов от братьев по разуму, отделенных от нас сотнями световых лет. Ей не нужно было видеть, как к моему лицу приливает кровь: она прекрасно слышала это. Упаси вас боже думать, что она стала бы сально шутить по этому поводу – напротив, она сама сменила тему, а потом благосклонно выслушала мои поздравления с днем ангела, и уже под конец, когда я готов был поверить, что в этот раз пронесло, она спросила о моей девушке – так она выразилась: не женщина, не пассия, не подружка, словно мне было двадцать пять, а она уезжала на другой конец страны, так и не дождавшись для меня счастья. И сразу пересохло во рту, я понял, что не смогу ей солгать, даже в такой день, когда я меньше всего хотел бы ее огорчить.

Мама, я гей.

Что-то прошелестело в трубке, словно ветерок пробежал по листьям. Я гей, мама. Я слышу, сказала она спокойно. Мне почему-то представилось, как она отводит глаза и смахивает со стола несуществующую пыль. Так значит, это мальчик. Она выразилась именно так: не мужчина, не парень, не «друг мужского пола». Я весь сжался, будто она вдруг обрела способность видеть на расстоянии, будто она давно обо всем знала и ждала, когда я скажу ей правду. Да, ответил я и сам поразился, каким горьким было это признание. Я сожалел – не о том, что я гей, но о том, что наш мир устроен так жестоко, что приходится выбирать между двух зол и причинять боль своим близким. Что ж, сказала она, видно, этому суждено было случиться. Тут-то я и понял, почему «мальчик»: эти игры в школьном туалете были неспроста, червячок порока уже точил меня изнутри, а она ничего не замечала, и только ее вина в том, что она не сумела вовремя предотвратить мое падение. Поздно лить слезы. Ты мой сын, и останешься им, что бы ни произошло. Мама, я ведь никого не ограбил, не убил. Я влюблен – почему же об этом надо говорить, как на поминках? Мы оба счастливы. Я никогда не был так счастлив. Ну хочешь, я приеду? Хочешь, я расскажу тебе о нем? Он тебе понравится, мама, и Дара тоже. Ты должна их узнать, обязательно, – я мысленно твердил эти слова, всё еще сжимая в руке умолкший телефон, я так и не собрался с духом сказать всё это маме, и, наверное, это и было настоящей причиной, почему я пошел к себе в студию и записал первый кусочек нашей истории.

14

Я вижу себя маленьким; вокруг много людей, все оживленно болтают, пахнет чем-то вкусным, мы в тенистом дворике у кого-то из моих родных, и я сижу на чьих-то коленях – приходится использовать все эти неопределенные местоимения, вместо имен, вместо названий, потому что так уж устроена наша память: она хранит какие-то обрывки, клочки смятой бумаги, некогда покрытой текстом, но чернила от времени расплылись, ключ к шифру потерян, и даже сам я не в силах разобрать каракулей, которые проступают на внутренней стороне век. Может, это и вовсе мои сны, ложные воспоминания, фрагменты фильмов. Я только помню, что в этом дворике, на этих коленях я чувствую себя в безопасности: я слышу мамин смех совсем рядом и знаю, что эти люди вокруг – свои, и все они обожают меня, показывают козу и треплют за щечку. Такого больше не повторится: в более поздних картинках, которые мне удастся выудить из глубин сознания, я вижу себя подростком, которому ужасно хочется побыстрей слинять с этих еженедельных посиделок, где всё время одни и те же лица и разговоры о футболе и машинах – в одной части стола и о младенцах – в другой и где приходится потеть в этом дурацком пиджаке и сносить бесцеремонное любопытство малолетней кузины с брекетами на зубах. Я знаю, что это не навсегда, но не догадываюсь, как быстро всё закончится: посиделки станут реже, привычные лица будут меняться и исчезать совсем, кузина с брекетами попадет в дурную компанию, и на долгие годы ее имя станет в семье нарицательным – будешь плохо себя вести, кончишь как Джованна, а потом она всех уделает, слезет с иглы и попадет в телевизор. Всё, что останется во мне от этих картинок из прошлого, – не всегда осознаваемая, но прочная почти до незабываемости (запомним это «почти») вера в то, что семья – одна из важнейших ценностей в жизни. Именно семья – не друзья, не государство – станет для тебя, оболтуса, страховочной сеткой, простыней, натянутой под окном горящего дома. Пусть она, эта простыня, заштопана и заляпана там и сям, но без нее тебе хана. Признаться, в моменты эйфории я воображал себе, что Илая это тоже теперь касается, что если мы вдруг попадем в катастрофу – я, Дара, Соня – он не останется один в целом свете. Но еще до того, как я решился познакомить их с Киккой, этот розовый туман развеялся – достаточно было вспомнить моего отца, такого же неприкаянного, даже внешне не похожего на мамину родню: они хоть и были чужаками, но брали числом, и белой вороной стал отец. Как бы то ни было, встреча была назначена: после разговора с мамой играть в прятки и дальше казалось глупым, а Кикка, с ее хипповым прошлым, с ее цыганскими юбками и презрением к конформистам, вполне могла встать на мою сторону, когда в семье поднимутся обсуждения, осуждения и прочий остракизм. Даже тот факт, что мы спим втроем, вряд ли удивил бы ее, хотя я бы предпочел не усложнять объяснений и не смущать ее дочку. Дара, узнав о моих планах, тут же замахала руками: конечно, идите вдвоем, мне вечером работать.

Я разыграл для сестры маленький спектакль по телефону, сообщив ей о том, что я гей, с нарочитой безмятежностью, будто так оно и надо; Кикка ответила мне в тон, что всегда что-то такое подозревала, но при встрече, конечно, слегка обалдела. В кафе, куда она нас пригласила, я прежде не бывал: длинный ряд складских зданий вдоль железной дороги, стены густо покрыты граффити, гаражная дверь гостеприимно поднята, внутри – разнокалиберная мебель, стопки книг на грубо сколоченных полках. Я редко запоминаю визуальные детали, будь то лица или одежда, но тогда, в этом хипстерском логове, сидя на диване, обтянутом тканью с сюрреалистическим рисунком, я затравленно озирался по сторонам, заранее готовый к косым взглядам, к перешептываниям, к непристойным жестам; весь мой прежний умозрительный опыт, понимание того, что мы живем в относительно безопасном месте в эпоху развитой толерантности – всё пошло прахом, стоило мне выйти под свет софитов вместе с Илаем, щеголяя неброским, но не допускающим двояких толкований кольцом в ухе. Как и многие чрезмерно впечатлительные люди, я был уверен, что все вокруг только и пялятся на нас: вон тот мужик на ядовито-зеленом барном стуле, стайка девчонок в углу, завешанном постерами с картинами авангардистов, – я сидел и психовал, пока до меня не дошло, что нет на свете лучшего места, чтобы затеряться, что моя сестра умница, она и правда всё понимает и, возможно, даже не осуждает меня за этот преступный мезальянс. Я наконец-то сумел немного расслабиться, и бесцеремонность Кикки, громкость ее голоса, которую мне хотелось слегка прикрутить даже в прежние времена, не смущала меня, благо сестра не выказывала желания нас уколоть. Задав Илаю – который, к слову, чувствовал себя на этом кислотном диване гораздо лучше меня – прямой вопрос о его возрасте, она тут же перевела разговор на тему учебы, куда вырливалась с неизменным постоянством в каждую нашу встречу. Успехами дочери Кикка могла хвастаться бесконечно; Лиля, должно быть, давно привыкла к этому и только зябко поводила плечами, чью смуглость подчеркивала белизна спортивного топа. Я слушал сестру, кивал и поддакивал, радуясь, что можно оставаться в тени, и не сразу заметил, что глаза ее светятся особым, чуть лихорадочным блеском, а в голосе проскальзывают новые нотки, как если бы она за беседой смачивала горло дешевым вином, к которому питала слабость в годы своей богемной юности. Но из нас четверых вино пил только я, перед остальными же на лакированном журнальном столике стояли кофейные чашки. Я стал слушать внимательней, пытаюсь понять, что заставило сестру так горделиво расправить плечи, налиться чувством превосходства – смешно было бы думать, что пятерки, которые приносит моя племянница, могли как-то меня уязвить. Очень скоро я выцедил из этого вдохновенного монолога достаточно ключевых слов, чтобы догадаться, в чем именно меня упрекают, и как-то сразу стало ясно, что наша встреча не имела значения, хватило бы и телефонного разговора – Кикке, наверное, было любопытно взглянуть, кого подцепил ее непутевый братец, но главное уже сказано: я гей, а значит, моё существование бесполезно, я не оставляю после

себя следа – неважно, сколько книг я успею начитать за свою жизнь, это не сравнится с ее собственным вкладом в будущее. Я смотрел ей в лицо и не верил, что Кикка, которой всегда было плевать на условности, на мнение родни, окажется встроенной в эту систему кровных связей, в эту грибницу, тесно сплетенную корнями, гораздо сильнее, чем я сам с моей любовью к маме и наивной верой в то, что семья – мой надежный тыл. А Кикка отвечала мне насмешливой улыбкой: в ее глазах я так и остался инфантильным, ни на что не годным болтуном. Я не удивляюсь, что тебя тянет к молодым, Риц, сказала она тем же тоном, каким поддразнивала меня в детстве; ну-ка вспомни, сколько тебе лет на самом деле? Девять с половиной?

Риц? – переспросил Илай, и меня поразило интонационное богатство, с которым он произнес это дурацкое прозвище: чуть брезгливое изумление, смешанное с недоверием, и при этом – ни малейшей запинки, и такая пленительная хрипотца, придававшая ему уверенность в себе и даже наглость. Она меня когда-то так называла, объяснил я, сокращение от «Мориц», это тоже форма моего имени, ей просто хотелось соригинаничать. Тебе не идет, сказал он, не меняя позы: обутая в кроссовок выворотная ступня, лежащая на другом колене, руки вытянуты вдоль спинки дивана. Ты слышала? – сказал я Кикке. Устами младенца глаголет истина. Они скрестили взгляды, холодно и спокойно; я оказался на перекрестье этих взглядов – тут просится ремарка вроде «и это заставило меня поежиться» – но нет, ничего такого я не ощутил, зато в лице моей чернобровой неразговорчивой племянницы что-то дрогнуло – я готов был поклясться, что она подумала в тот миг: «Как жаль, что он гей, этот мальчик», и у меня защемило в груди от горько-сладкого чувства, в котором была и печаль, и радость, и гордость, и что-то еще, чему я не знал названия.

15

Быть может, она права, думал я, сидя на пассажирском сиденье своей машины, ползущей по самой загруженной в наших краях артериальной дороге: домой можно было бы и в объезд, но парню надо учиться аккуратно обгонять тихоходные трамваи и велосипедистов-камикадзе. Передача опыта – то, что так ценилось в традиционном обществе – теперь происходит быстрее и проще, и вовсе необязательно от старших к младшим. А что еще я могу ему передать? Что изменилось бы, будь он женщиной? Моя сестра, сама того не зная, наступила на мозоль, о которой я и думать забыл. Совесть уже шептала мне однажды, что моё отвращение к телесным жидкостям – не что иное, как бегство от истинной близости, которая предполагает ответственность как последствие смешения этих жидкостей. Много лет назад я видел в каком-то фильме, как двое мальчишек решили стать кровными братьями и порезали себе пальцы, как это принято в подобных ритуалах. Я тогда подумал, что если лучший друг предложил бы мне такое, я бы струсил. Со временем я научился утешаться тем, что жизнь – не искусство, где в каждой детали заложена, подобно детонатору, функция ме-

тафоры, работающей на общий сюжет. Моя психофизиология – не более чем результат травмы, и она не может меня очернить. Я всего лишь жертва обстоятельств. А теперь, когда я гей, с меня и взятки гладки. Почему же мне так паршиво при мысли о том, что сейчас мы вернемся домой, и Дара спросит, как всё прошло, и будет так нежна со мной, и ляжет со мной в постель, зная, что я не коснусь ее. Вскоре после того, как мы начали спать втроем, я спросил Илая, почему он больше не занимается сексом с женщинами: если это из-за меня, то не нужно, я не требую верности, тем более что от меня никакого проку. Здесь только одна женщина, ответил он с недоумением; Соня асексуальна, она мне сама сказала. Ну, а Дара, она ведь тебе – ну, нравится? Я почувствовал себя идиотом, когда это произнес: весь мой идиотизм отразился в глазах Илая, как в самом честном из зеркал. Ей нужен ты, сказал он тихо. Со мной – это совсем другое, ты что, не понимаешь?

Ей нужен был я. Хотя бы мельчайшая частица меня, которую она могла бы сохранить на память. В глубине души я знал об этом, но делал вид, что всё это мои домыслы, и если бы она и правда хотела, то завела бы разговор или дала понять каким-то иным способом, а раз не проявляет инициативы, значит, сама виновата. Я ведь ничего ей не обещал.

А Илай – ему тоже нужен был я, ему хотелось разделить со мной каждый миг блаженства, которое он умел ощущать так полно, как никто другой; а я ни разу не воспротивился его уходам в ванную, принимал как должное его зрелую не по возрасту деликатность. Если бы они только знали об этом – все, кто успел навоображать себе бесстыднейших сцен с моим участием. Моя сестра не желала мне зла, просто язык у нее как помело, это у нас, должно быть, семейное, и вот уже меня склоняют на все лады, не прошло и пары дней, и Тони называет меня ублюдком, которому он больше никогда не подаст руки. Его старшему сыну семнадцать, и я, конечно, могу их понять, моих родных – тех, кто должен был выручать меня в случае беды и на кого я уже вряд ли смогу рассчитывать. Лишь одно меня терзает: что будет, когда вся эта грязь докатится до мамы?

«Как ты мог нас так опозорить?»

Мне очень жаль, сказала Дара, и мне почудилось, что она вот-вот заплачет. Родичи все такие, сказала Соня, уж я-то знаю. Добро пожаловать в клуб. Илай ничего не сказал, но когда я вышел на веранду с пачкой сигарет в кармане рубашки, он сел в плетеное кресло рядом со мной. Будешь? Да я же бросил, – в голосе слышался упрек; и тебе не надо бы, дикторам вредно курить. Я помял сигарету в пальцах и сунул обратно.

– Давай куда-нибудь уедем, Мосс.

– Куда?

– Всё равно. Снимем дом на берегу озера, все вместе.

– И что мы там будем делать?

– Всё, – ответил Илай с уверенностью. – На лодке кататься. Рыбу ловить. Жечь костер. Всё, что хотим, и чтоб никого вокруг.

Да, подумал я, это хорошая идея. Жить так, как живут собаки и лошади – текущим моментом, без планов, без сожалений и стыда. Но вслух сказал:

– Тебе учиться надо. Тебя же взяли, правда?

– Условно. Препоод думает, что я перспективный. Но я не знаю, догоню ли, я много пропустил.

– Догонишь, куда ты денешься. А потом, на каникулах, поедем на озеро.

– Обещаешь?

– Обещаю. Телефон с собой? Давай прямо сейчас поищем.

Я стал тыкать в экран, щурясь от закатного солнца. Илай придвинул свое кресло и склонил голову мне на плечо. Теперь весь парк мог видеть нас, будто бы специально подсвеченных прожектором. Я обнял его свободной рукой и, пока мы пытались разобрать мелкие буквы в строке результатов, гладил его волосы, которые он вечно забывал расчесать. Тронул пальцами проколотую мочку: не болит? Нет, а у тебя? Немножко. Он выпрямился и стал рассматривать моё ухо, обдавая его щекотным дыханием. Солнце ослепляло меня, я положил телефон на стол и зажмурился – и, должно быть, невольно улыбнулся при этом, потому что Илай поцеловал меня в щеку. Не открывая глаз, я повернул голову и позволил его губам коснуться моих, и ответил ему, неумело и поспешно, чувствуя одновременно красноватый свет по ту сторону век и твердый краешек устричной раковины – я решил, что если буду думать про устриц, мне будет легче себя обмануть, но ничего не происходило, он боялся, и мне стало почти больно от его невозможной, подаренной ему природой на вырост, никем не замечаемой и не ценимой нежности. Да, знаю, я сентиментальное трепло, язык – моё главное оружие, и что мне еще оставалось, кроме как сделать этим языком всего одно движение и войти в него. И в этот самый миг солнце погасло, стало темно, тесно, горячо и ужасно волнующе; он обвил меня руками, и мы сидели и целовались как ненормальные на виду у всех, и это было так здорово, так сладко.

Я чувствую, как время замедляется по мере того, как я догоняю этим рассказом прожитые дни. Мне всё труднее спрессовывать события в форму законченных главок: между ними остается слишком много воздуха, и я еще слишком близок к ним – художники знают, что надо отойти от полотна, чтобы оценить картину во всей ее полноте, увидеть, как объекты складываются в диагональные линии или ритмические структуры. Фиксировать события сами по себе, еще не зная, как они отзовутся в будущем, значило бы для меня вести дневник, а я никогда этого не делал. Да и странно было бы сейчас произнести что-то вроде: пятое февраля, ночь была ужасно жаркая, кондиционер не справлялся, и мы встали разбитыми, и Илай опаздывал на поезд, так что пришлось везти его на станцию. Я поставлю точку и зависну в ожидании следующего фрагмента. В этом есть какая-то фальшь – не потому, что эти повседневные детали кажутся мне несущественными, напротив: я так и не научился принимать свою новую жизнь

как должное; я продолжаю дышать каждым мгновением, я просыпаюсь на рассвете и смотрю на его спину с выступающими позвонками, молочно-белую, без единой родинки, и думаю, как же мне повезло – я, должно быть, одним махом выгреб всю удачу, отпущенную на мой век. Нет, причина тут в другом: я почти бессознательно, на одном чутье, опасаясь нарушить целостность этой истории, её безупречную литературную форму, которая служит для читателя обманкой, вынуждая его забыть о том, что все события в ней реальны, что мы, ее герои, стоим перед вами в чем мать родила, с настоящими именами и деталями биографий. Это *trompe l'oeil* наоборот – наберите этот термин в поисковик прямо сейчас, и вы поймете, как старательно я ухажу от такого жизнеподобия, как незримо течет кровь моей истории, оберегаемая венами и артериями жанра фикшен в его традиционной разновидности. Никто не осудил бы меня за невинный постмодернистский трюк, за фонтан бутафорской крови, брызнувшей якобы из артерии, а на деле – из запрятанной мною резиновой груши. Но я хочу остаться верным себе: вы ведь помните, я обещал рассказать обо всем так, будто вы сидите в плетеном кресле у меня на веранде, с чашкой чая или с бокалом вина. Я обещал нигде не привирать и весьма в этом преуспел, ну разве что поменял имя-другое, исключительно из уважения к людям, которых могло бы скомпрометировать даже такое мимолетное соседство с нами. Я всё еще не знаю, где поставить точку; я жду какого-то события, которое могло бы послужить символом, или красиво закольцевать мой рассказ, или оставить вас на перепутье, сымитировав тщательно продуманный открытый финал. Я хочу, чтобы мы с вами разошлись довольные друг другом: вы – в свою жизнь, а я – в свою, никем не срежиссированную, непредсказуемую, полную печалей и радостей, конечную земную жизнь.

16

Я знал, что он удивится, когда я представлю их, – а может, это будет не удивление, а какое-то другое чувство, недоступное мне. Как бы то ни было, по лицу Илая было трудно что-либо угадать; он только сказал: «Я думал, это мужское имя», и Джесси объяснила, явно не в первый раз, что пуристы и в самом деле так считают и размахивают Библией перед носом у невежд вроде ее родителей, но что поделаешь, она всегда чувствовала себя Джесси, а не Джессикой или Джесс.

Я знал, что она удивится, когда я представлю их, – но она не удивилась, будто бы не заметив нашей с Илаем разницы в возрасте. Показала ему студию и оставила в комнате звукоинженера – глядеть на все эти провода и кнопки, пока мы готовились к записи. История о художнице, чьи картины иллюстрируют ее постепенное погружение во мрак безумия, многим пришлась по душе, и рассказ превратился в минисериал. Я так привык каждую неделю приезжать в эту неприметную с фасада, а внутри навороченную студию, с репетиционной комнатой, баром и клубной сценой, что вымышленная жизнь героини стала казаться мне реальной; я не хотел, чтобы она заканчивалась – пусть даже хэппи-эндом. Это признак мастер-

ства, сказал я Джесси: всем ведь нужна поддержка, одобрение – не только таким молоденьким творцам, но и опытным зубрам, хоть они и любят это скрывать. Джесси смущенно ответила, что до мастерства ей еще далеко – хотя бы потому, что настоящий писатель должен знать, чем и когда закончится его история, а она пока что не придумала, где поставить точку. У меня ёкнуло в груди, потому что эти самые слова я произнес пару дней назад, сидя перед микрофоном своей домашней студии. Ерунда, сказал я, все пишут по-разному: один строит схемы, а другому нужно войти в состояние сна, в медитацию, чтобы рука строчила сама собой; не нырять в пучину текста, а выкапываться из него, как из норы, к финалу, потому что финал – это свет, а не жирная точка, вбирающая в себя этот свет, будто черная дыра. И я тут вовсе не про то, что все непременно должны пожениться.

Илай не мог слышать наш разговор: он так и просидел всё это время в контрольной комнате, откуда потом наблюдал, подойдя вплотную к стеклу, за тем, как мы записываем очередную серию. Он никогда не видел меня за работой, и, конечно, ему было любопытно, но первый вопрос, который он задал мне по пути домой – «А чем всё кончится, как думаешь?» – укрепил мою веру в то, что мои мысли так же прозрачны для него, как это оконце в студии. Ну, по законам жанра, мой герой должен убедить ее броситься под поезд. А ты можешь её попросить, чтобы придумала хороший конец? Я хотел сказать ему, что так не делается, что творчество – вещь интимная и что никто, кроме автора, не должен решать, с чего ему начать и чем закончить; и, тем не менее, я отчего-то знал, что Джесси была бы рада, если бы я написал ей об этом, или позвонил, или позвал ее в кафе – я чувствовал, что она неслучайно обратилась именно ко мне и что она, возможно, сама мечтала, чтобы однажды с ней заговорил незримый, неосязаемый и пока что незнакомый друг, заговорил участливо и тепло – я читал это на ее лице, когда улыбался ей или задерживал взгляд дольше, чем требовалось для поддержания зрительного контакта. Мне не стоило бы ни малейшего усилия уломать ее на что угодно, но я уже понимал, что не буду вмешиваться, потому что какой бы конец она ни выбрала – он прозвучит честнее и громче, чем все финальные строки, когда-либо написанные моим бывшим другом.

Я подумал, что вернусь к этой теме чуть позже, чтобы не отвлекать Илая от дороги, и спросил только: а что, тебе жалко героиню? Это прозвучало, пожалуй, чересчур легкомысленно, и Илай насупился. Не обращай со мной так. Как? Будто мне пять лет. Извини. Мы просто никогда не обсуждали с тобой такие вещи, и я совсем не знаю, что тебя трогает в книгах. Он великодушно принял мои извинения и продолжил разговор своим обычным тоном, но я не мог не заметить, что он стал другим, что между мальчиком, разбившим коленку у нашего дома, и юношей, который сидел теперь за рулем моей машины, лежит пропасть намного шире, чем можно было бы ожидать, пересчитав на пальцах все дни, недели и месяцы нашей с ним общей жизни. У него не было больше никаких прыщей, он вытянулся и окреп, он многому научился, но самое главное – он стал соразмерен

себе, врос в свою природную уверенность, в чувство собственного достоинства, которое так раздражало тех, кто считал его ни на что не годным неблагодарным вырожденком. Я поймал себя на том, что хочу сказать это вслух, при всех: «Смотри, Дара», – как будто мы имели на это право, как будто мы девять месяцев ждали его, не высыпались, радовались первым улыбкам и словам, или бились с бюрократами за право его усыновить, чтобы однажды произнести это, – «смотри, Дара, какой он у нас большой».

Я знал, что она ответит: это только твоя заслуга, Морис, я-то не сделала ничего особенного, – и мне опять будет стыдно. Поэтому, когда выпал подходящий момент, я сказал ей совсем другие слова, волнуясь, как юнец. А она только и спросила вполголоса: «Ты правда этого хочешь?» – риторический вопрос, я мог ничего не говорить, только улыбнуться или кивнуть, но я сказал «Да», так твердо, будто стоял с ней перед алтарем. Мне было важно озвучить свое решение, позволить этому «да» всколыхнуть воздух нашей спальни – мне почудилось, будто ветерок пробежал наискось через всю комнату, заставив трепетать бахрому по краям покрывала, и выскользнул на балкон, а оттуда – в комнату Илая, который теперь тоже знал о нашем разговоре; стоит ли удивляться, что он воспринял как должное то, что произошло через неделю.

В ту ночь наша кровать была как никогда похожа на бескрайнее поле, по которому бежит заяц. Я уже забыл, каково это – видеть раскрывшееся навстречу женское тело, совсем близко, осталось пробежать еще немного, чтобы спрятаться наконец в спасительную темноту: что я могу поделать, зайцу нужна нора, и мне волей-неволей приходится балансировать на грани пошлости, рассказывая об этом, хотя с Дарой всё было иначе – мне не хотелось прятаться, я не закрывал глаз, как делал прежде, и вскоре заметил, что Илай наблюдает за мной с большим интересом. Я сказал, что меня это смущает; он лег на живот и спрятал лицо в согнутые руки, но продолжал исподтишка подглядывать. Это было так смешно, что я фыркнул.

– Я так не могу. Ничего не получится.

Сконфуженный и поникший, я сел, подобрав под себя ноги. Ночь была теплой, но меня охватило желание прикрыться: нагота делала моё бессилие еще более постыдным. Я подумал, что надо сказать Илаю, чтобы выключил ночник, но он уже сам начал шепуршиться, зачем-то убрал скомканное одеяло, лежавшее между нами, – я ждал, что он поймет меня, за что мне такое унижение, ну выйди, пожалуйста, Илай. Я с надеждой посмотрел на него, он ответил мне долгим полувопросительным взглядом; тронул языком нижнюю губу, словно собираясь что-то сказать, убрал со лба длинную прядь и подался ко мне, опершись на руку – я ощутил его свободную ладонь у себя на колене, увидел у самого живота его макушку, похожую на глаз урагана, и меня обожгло его дыханием, обожгло этой непрошеной, чрезмерной близостью. Он поймал меня – в третий раз, будто в сказке, вобрал в себя целиком, и я мог только зажмуриться и слушать трепыхание заячьего сердца – глупого влюбленного сердца, которое сперва

ушло куда-то в пятки, а потом стало разгораться и расти, и я успел почувствовать, что еще немного – и со мной случится удар, как внезапно всё оборвалось

а потом он просто взял и соединил меня с ней.

Я познакомился с ней в парке, а его нашел полгода спустя и чуть южнее. Теперь они моя семья. Любое слово несет то значение, которое мы в него вкладываем. Чем богаче наш читательский опыт, чем шире кругозор, тем охотней нам открываются новые смыслы привычных понятий.

Где-то тут я и хотел закончить. Нажал на паузу, чтобы перевести дух и придумать финальную фразу, но сходу ничего путного не нашлось, и я сохранил файл, чтобы вернуться к нему завтра. А наутро я получил емейл от Джесси – она вынуждена отложить нашу запись, сидит дома с гриппом и не хочет никого заражать, но это даже кстати, ведь она так и не решила, где поставить точку, ей надо набраться мужества, чтобы сделать это. Письмо довольно сумбурное – трудно соотносить с температурой, уж я-то знаю; а в конце приписка, чтобы я в следующий раз приводил Илая, если он захочет, и передавал ему привет, и что мы с ним красивая пара.

Мы красивая пара.

Я сижу и улыбаюсь, как дурак.

Я не знаю, что еще к этому добавить.

Новый_файл.wav

Я не знаю, что сказать. Я должен сказать что-то. Мне нечего больше делать, я должен сидеть и ждать. Время – время почти одиннадцать вечера. Вот тут у меня телефон, но еще никто не звонил. Буду сидеть, пока не позвонят. Надеюсь, они правильно записали номер. Дара сказала, что да. Я всё время забываю цифры.

Я не знаю, как об этом говорить, потому что если я начну вспоминать, как я в последний раз сидел тут и записывался – я не могу, если я буду думать об этом, ничего не поможет, я ничего не смогу изменить. Это кажется так давно. Еще два часа назад всё было как прежде. Если бы можно было вернуться, я бы ничего больше не попросил, ничего никогда. Я бы его никуда не отпустил, или встретил бы его на станции. Почему я ничего не почувствовал заранее, даже и мысли не возникло, он ведь уже возвращался домой по темноте, у него часто дополнительные занятия, мы привыкли, и тут всегда было безопасно, и почему именно сегодня, именно там, какой-то мудака, нет, это не поможет, что толку себя накручивать, пусть полиция разбирается

а они всё не звонят, сколько же это занимает? Я никогда не был в реанимации. И я совсем ничего не помню, что они говорили. Я кричал, как во сне, но, наверное, я в самом деле кричал, раз они меня увели. Соня села за руль на обратном пути. Я вообще ничего не помню.

И какое у него было лицо. Крови не помню, кажется, не было крови. Голос, да, до сих пор в ушах. Такой сдавленный голос, от боли, это же очень больно, Господи, я не могу, ну пожалуйста, он же ничего не сделал, он столько уже натерпелся, ну какого чёрта! Почему, блядь, нельзя сделать, чтобы эти уроды не ходили по улицам? Даже если его поймут, какое мне дело, если что-то случится, и его не спасут –

тихо-тихо-тихо, всё хорошо, дыши, дыши – конечно, спасут, и не таких вытаскивали. Центральная больница, хорошо, что так близко ехать, и трафика не было. Казалось, что очень долго, но так всегда бывает, как в ночных кошмарах, будто время тянется, а я вот смотрю сейчас – он позвонил в девять ноль две, мне ехать минут пять, и до больницы минут пятнадцать. Совсем быстро, это хорошо. При потере крови главное успеть.

А они всё не звонят, уже скоро полночь. А если они все-таки не тот номер записали, но Дара вроде тоже давала им свой, и ей не звонили, она тоже не спит, наверное. Полчаса назад я спустился, они сидели там на диване, телек работал без звука. Спросили, не нужно ли мне чего-нибудь. Сказали, чтоб ложился. Я вышел покурить, и не смог. Пачка была в кармане, как тогда, и я достал сигарету и услышал, как он говорит: «Тебе же вредно». Это было давно, в январе еще, и мы хотели на озеро поехать

Господи, он же ни в чем не виноват, ну как же так

мы ведь даже не видели, как он танцует, неужели всё так и закончится, я же хотел сам поставить точку, чем же я прогневал Тебя, прости нас, Господи, мы ведь просто хотели быть вместе, я хотел, чтобы он был счастлив. Он еще совсем не жил, пусть он живет, пожалуйста, ну что мне сделать? Если б можно было, я бы принял любое испытание, самую страшную болезнь, только пусть он живет.

Половина первого. Меня знобит, но я всё равно не усну, если лягу. Не могу ничего ни читать, ни смотреть. Девчонки внизу, кажется, задремали, и мне не с кем поговорить, нет ни одной живой души, кому я мог бы позвонить в это время. Мама ложится рано. С Джесси мы совсем недавно знакомы, странно было бы искать поддержки у человека, которого не знаешь толком, к тому же она болеет, небось только задремала, а тут – я, она спросонья подумает, что это герой ее рассказа, голос из громкоговорителя. Так что мне остается только сидеть тут и бухтеть в микрофон. Если бы я не начал записывать эту историю тогда, в январе, я бы, может, попытался сделать это сейчас – просто чтобы делать что-то, сидеть тут и говорить о нем. Я бы, наверное, рассказал всё иначе – лучше ли, хуже, кто знает. Не хочу переслушивать всё с самого начала, боюсь показаться самому себе легкомысленным бодрячком, который всегда рад схохмить и скаламбурить, который еще не знает, что случится дальше – вернее, думает, что знает, и оттого кажется самому себе хитрецом, обманувшим судьбу. Я там где-то сказал, что мы всеильны – это было не для красного словца, я и в самом деле испытал это чувство, так неужели за это меня наказывают сейчас – нет, я

не верю, я никогда не верил в предопределенность. Мне не страшно расплачиваться за свои ошибки, но пусть это буду я, почему же должен страдать он, ведь не из-за собаки, ерунда какая, но тогда почему? А если это была случайность, если всё на свете – результат случайных комбинаций, и твои поступки ни на что не влияют, и мир – это хаос? Зачем мне такой мир? Во всяком случае, я знаю, что я должен сделать, если они позвонят и скажут, что Илай...

Я подумал, что не буду создавать новый файл, или, может, разделю их как-нибудь потом. Семь утра, уже светло. Мне удалось поспать часа два, точно не помню, как я уснул, мне казалось, я так и провалялся, башка пухла от мыслей. Сперва позвонили из больницы, потом мы сидели все втроем внизу и говорили, я хотел поехать сразу же и ждать там, но Соня сказала, ты что, дурак, всё равно не пустят, лучше приляг хотя бы на часок. Меня так трясло, они мне хотели дать капель каких-то, но я сказал, что никогда ничего не принимаю, мне от лекарств еще хуже. Потом я долго лежал, а потом вдруг оказалось, что уже шесть. Я встал и сварил кофе, а пока варил, думал о маме, пытался сообразить, сколько у них времени, они же вроде часы не переводят. Сидел с кофе на веранде и думал о ней, а девчонки еще спали наверху. В полседьмого я все-таки решил ей позвонить. Я столько раз будил ее по ночам, когда был маленьким, она так намучилась со мной, что мне было совестно тревожить ее в такой час, а с другой стороны, я же знаю, что она всегда рано встает, и она меня простит, что бы я ни сделал. Я набрал ее номер, она очень быстро ответила. Голос был тревожным, и я не стал делать вид, что всё в порядке. Сказал ей, что мальчик, которого я люблю, сейчас в больнице, он шел вчера вечером со станции, и кто-то ударил его ножом в живот. Он потерял много крови, задело печень, врачам пришлось часть ее удалить, но обещали, что она восстановится. Мне было так страшно, я хотел тебе сразу позвонить, но было еще слишком рано, вернее, поздно, и ты уже спала... Бедный мальчик, сказала мама, – так нежно, что я сперва подумал, это она мне, а она спросила его имя, чтобы за него помолиться. И вот тут я наконец заплакал – не так, как ночью, когда перед глазами у меня была черная яма, и чем сильнее я плакал, тем делалось темнее, будто меня хоронили заживо; а сейчас мне полегчало от слез, и я готов ждать, сколько понадобится, прежде чем к нему пустят. Надо бы уже ехать, пока нет пробок – лучше посидеть там, вдруг удастся их уломать, чтобы пустили, хотя бы меня одного. А они спросят: кто вы ему? А я скажу – что же мне сказать, не могу же я говорить им правду, еще выгонят с позором. Если бы они только знали, как мне важно быть с ним, убедиться, что у него всё хорошо, что ничья жестокая рука еще не поставила точки в нашей истории, и что он *есть*, а не *был* – мальчик, который любит песню про дождь и слезы и когда целуют в шею. Они должны меня понять.

Совсем недавно я утверждал, что никогда не писал дневников и не хотел бы превращать в дневник эту историю, и вот теперь именно этим и занимаюсь. Только что вернулись из больницы. Сначала сидели в комнате ожидания, потом пришла медсестра и сказала, что Илая час назад перевели из послеоперационной палаты в обычную, и сейчас он опять спит, он пока будет много спать, но кто-то один может пойти в отделение и посмотреть на него.

Он лежал в маленьком боксе, отделенном от коридора занавеской. Лицо было ужасно красивым – а может, я просто забыл, какой он красивый. Из-под одеяла тянулось много трубок, к капельнице и куда-то еще, и тонкая прозрачная трубочка под самым носом. Мне до сих пор не верилось, что всё это был не сон, и я еще много ночей проведу без него, и наверняка придется поволноваться – вся жизнь изменилась в одночасье, но главное, что она есть, эта жизнь. Я стоял и смотрел на чуть заметные движения его груди, укрытой одеялом, на его светлое, безмятежное лицо. Он был похож на ангела. Мама за него помолится, она тоже ангел, и уж её-то Бог наверняка услышит.

За спиной у меня проехала каталка, донеслись чьи-то голоса, и ресницы Илая дрогнули; он вздохнул, шевельнулся и поморщился от боли. «Мосс», – я скорей догадался, чем услышал это; склонился над ним – его губы были сухими, он попытался их облизнуть и шепотом сказал:

– Ты классный, как в то утро, помнишь?

– Когда, Илай?

– Ты кофемолкой жужжал. Я проснулся...

Конечно, помню. Я тогда впервые увидел его глаза.

– Мосс, они сняли сережку... Скажи им, чтоб вернули.

Его лицо снова исказила страдальческая гримаса. Он повторил: скажи им, и я тронул пальцами его губы: тише, Илай, не надо волноваться. Я понял – он боится, что ухо зарастет, а этого ни в коем случае нельзя допускать, ведь у нас уговор, – я помню, Илай, я всё сделаю, они просто убрали ее куда-то с твоими вещами. А если вдруг потеряли, мы купим новые. Я возьму тебя в книгу, чтобы ты никогда не умирал, и мы всегда будем вместе.

– И на озеро поедем?

– Обязательно поедем.

Вы, наверное, думаете, что я обманываю вас, что я сам придумал для этой истории счастливый финал – ведь есть такие книги, где автор нас дурачит. Но я точно знаю, что Илай поправится, и мы снова будем жить вчетвером, а может, и впятером, и у нас будет собака, озеро, лодка, и мы, вероятно, прославимся, а, может, и нет, но мы непременно будем счастливы.

Вы верите мне?

Сентябрь 2020 – июнь 2021, Мельбурн